

ИЛЬЯ ШАТУНОВСКИЙ



ИЛЬЯ ШАТУНОВСКИЙ

ХОДЯЧИЙ  
КОЛОДЕЦ







ИЛЬЯ ШАТУНОВСКИЙ

**ОЧЕНЬ  
ХОТЕЛОСЬ  
ЖИТЬ**



ПОВЕСТЬ

МОСКВА  
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1990

ББК 84Р7  
Ш29

Редактор Ю. Г. Мошков

**Шатуновский И. М.**

Ш29 Очень хотелось жить. Повесть. — М.: Воениздат, 1990. — 318 с.

ISBN 5—203—00650—4

«На войну меня разбудила мама» — так начинает свою повесть известный журналист и писатель Илья Шатуновский. А в ту летнюю пору, когда началась война и когда он ушел добровольцем в армию, ему было всего семнадцать лет...

Курсант, отправленный вместе со своим училищем на фронт: уличные бои в Воронеже, госпитальные койки. Потом стрелок в задней кабине штурмовика Ил-2: воздушные бои в небе Украины, над Будапештом, Братиславой и Венной, гибель друзей и радость Победы...

Эта книга — документ Великой Отечественной войны, без выдумок и прикрас.

Ш  $\frac{4702010201-012}{068(02)-90}$  456-90

© Воениздат, 1990

ISBN 5—203—00650—4

Вот уж никогда не думал, что мысль написать эту повесть придет ко мне в то самое утро, когда, открыв свой почтовый ящик, я увидел военкоматовскую повестку. Событие, казалось бы, совсем не такое, чтоб на долгие месяцы приковать себя к письменному столу.

И в самом деле, что тут особенного? Повестка как повестка. Форменная открытка серого цвета. Сколько же я получал таких вот повесток, начиная с той первой, которая поступалась ко мне на седьмой день войны!

Кажется, это было вчера. Но как давно это было!..

Но и потом, когда я демобилизовался в сорок пятом, военкомат не забывал обо мне, а я — о военкомате. Приглашали на лекции, посылали на сборы, проходил медицинские комиссии, получал удостоверение участника войны, послевоенные юбилейные медали и нашедший меня спустя много лет боевой орден...

Я любил бывать в военкомате, наполненном строгим, деловым ритмом. Он будил во мне дорогие воспоминания об армейской юности.

Но вот сейчас, быстро пробежав текст, вдруг со всей остротой понял, что мне пришла последняя повестка, больше не будет:

«Предлагаю прибыть в военкомат по вопросу исключения с воинского учета. При себе иметь... Райвоенком... Число... Подпись...»

Да, меня звали в последний раз. Оставалось совершить лишь один формальный акт: мне — положить военный билет на стол военкома, ему — проставить в нем штамп, означающий, что Вооруженные Силы в моих услугах больше не нуждаются...

Грустно стало на душе, горько. Я достал красную книжицу с Гербом СССР на обложке, которую хранил вместе с паспортом гражданина своей страны и билетом члена Коммунистической партии. До сегодняшнего дня я чувствовал себя солдатом, хотя демобилизовался спустя пять месяцев после войны и больше уже никогда не надевал армейских погон. Но, должно быть, оттого, что

я ушел в армию семнадцати лет, а вернулся домой двадцати двух, вся моя воинская служба навсегда врезалась в память. Правда, до войны были школа, Дворец пионеров, футбол, ласковые руки моей мамы. Но все это ушло без возврата вместе с листком отрывного календаря, помеченным двадцать вторым июня сорок первого года. В армии мне открылась совсем другая жизнь, которую я, конечно, не мог увидеть из окна родительского дома и из-за школьной парты. Я познал настоящую цену куска хлеба, кружки ржавой болотной воды и плеча товарища, на которое можно было опереться в дальнем походе.

Но счастье моих сверстников или, наоборот, беда (кто знает) заключались в том, что мы слишком рано попали на войну. У нас не было забот и переживаний, как у тех, кто оставил дома жен, детей. А мамы, что ж, мамы! Кто в семнадцать лет понимает их тревоги! Восторженный паренек просто не замечал той смертельной опасности, что кралась рядом. Много — и цветистые, в полнеба ракеты, которыми немцы по ночам освещали свой передний край, и оранжевые облачка снарядов, разорвавшихся за хвостом самолета, — казалось мне какой-то удивительной озорной игрой.

Из тех мальчишек, которые в сорок первом шагнули прямо в огонь, не очень многим суждено было вернуться домой. Я читал, что из ста моих сверстников, побывавших в настоящем деле, в живых осталось только трое. Они — и те, кто пришел домой, и те, кто не пришел, — отстаивали Родину и победили врага.

Но в те грозные годы собственная роль на войне представлялась мне и моим товарищам незначительной, мелкой. В газетах, которые доходили к нам в окопы и землянки, писали о летчиках, сбивших десятки самолетов, о бронейщиках, легко поджигающих «тигры», о снайперах, сделавших на прикладах своих оптических винтовок уже сотни зарубок. Но все это происходило где-то в другом месте, в других частях. А что уж там мы? Сидим в обороне, роем окопы, ходим в атаки... Так...

От сознания собственной малости, а скорее всего, от того, что были слишком молоды, поначалу мы вынесли об армейских водах ничем не омраченные воспоминания. По вечерам, оторвавшись от студенческих конспектов, веселили друг друга рассказами о педантичном старшине, придравшемся к плохо заправленной койке, о незадачливом курсанте летной школы, которого потехи ради послали на склад ГСМ с ведерком за компрессией, о первых



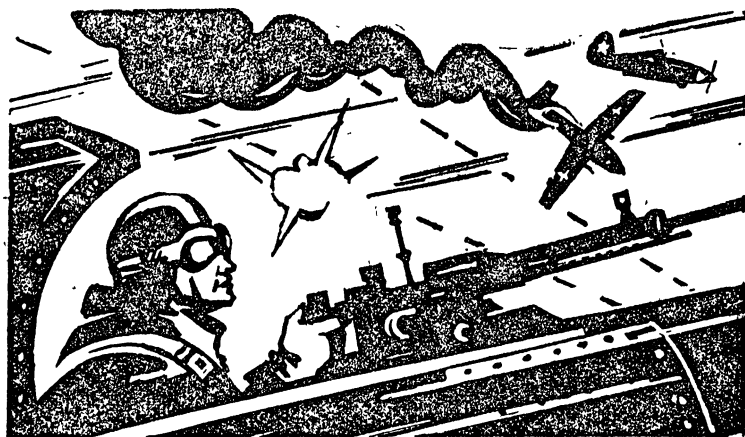
*романтических похождениях в участии медсестры из санбата.*

*Серьезные раздумья о войне пришли значительно позже, на склоне лет, и неведомая сила потянула руку к бумаге, захотелось пережить вновь щемящую боль и светлую радость тех далеких дней.*

*«Я должен написать, что было, рассказать о себе, о своих боевых товарищах — живых и мертвых», — окончательно решаю я, подходя к военкомату.*

*У самого порога достаю свой военный билет: НМ № 60667936, листаю дорогие для меня странички...*

*И оживает память...*



## ГЛАВА ПЕРВАЯ, ЗАПИСЬ ПЕРВАЯ...

«Фамилия: Шатуновский, имя: Илья,  
отчество: Миронович. Время и место  
рождения: г. Ашхабад, 1923, ноябрь».

На войну меня разбудила мама...

Сквозь сон я услышал ее тревожный голос:

— Вставай, сыночек, война!

Мне показалось, что продолжается сон. Но мама тронула меня за плечо:

— Ну, вставай же, война!

Протирая глаза и раздумывая, что же делать дальше, я сидел на длинном деревянном сундуке, заменявшем мне кровать. Каждую весну, просушивая одежду, мама разбирала сундук, и тогда на свет являлись удивительные вещи: старая отцовская гимнастерка, его же испорченный ржавый наган, кортик, декоративная бомба из свинца, голубое стеклянное яйцо, побывавшее в руках императрицы Александры Федоровны — в шестнадцатом году, посещая солдатские лазареты, она раздавала раненым всякую дребедень, и это яйцо досталось в подарок маминному дяде. Мы вместе с братом Борисом играли в войну, по очереди надевали гимнастерку, шли в атаку, размахивая наганом и метая бомбу, а потом, воображая себя ранеными, лежали в густой траве, ожидая явления императрицы с дарственными яйцами...

Был жаркий ашхабадский день. Ослепительное солнце заливало нашу небольшую комнатку обжигающим пламенем. Под потолком жужжали сварливые мухи. К распахнутому настежь окну тянулись ветви абрикосового дерева, усыпанные оранжевыми плодами. На улице соседские мальчишки, Жорка и Радик, пытались снять с телеграфных проводов бумажного змея. Вздывая столбы пыли и монотонно звеня колокольчиками, по дороге вышагивал караван верблюдов. На горбу вожатого сидел босой аксакал в высокой бараньей шапке — тельпеке и стеганом красном халате. Ватный барьер спасал его от жары. Аксакал тыкал короткой палкой в шею неторопливого верблюда и больше для порядка, чем для дела, покрикивал:

— Қ-хе! Қ-хе!..

Все еще не понимая, что случилось, я переспросил:

— Мама, ты сказала: «война»? Как же так — война?

Со стены черный бумажный репродуктор, величиною с блюдо, хрипловатым голосом распевал военные песни.

— Передали, что немцы перешли нашу границу в четыре часа утра, — сказала мама. — По ашхабадскому времени — в шесть.

Я подумал о том, что Толька Вайнер, Меред Мередов, Колька Правдин — ребята, окончившие школу годом раньше и служившие на границе, уже приняли первый бой. А я в это утро возвращался с выпускного вечера. В ушах еще звенела радиоло: «Осень. Прозрачное утро. Небо как будто в тумане. Вдаль из краев перламутром солнце холодное тает. Где наша первая встреча? Милая, нежная, тайная...»

Я танцевал это танго с Зоей. Она смотрела на меня снизу вверх широкими голубыми глазами. И ждала. А я молчал.

Только что мы играли в почту: посылали друг другу записки, шутливые, полусерьезные и вполне серьезные. Старая игра — «Флирт цветов». Девушки ходили по залу, прикрепив к блузкам бирочки из цветной бумаги: «Роза», «Незабудка», «Орхидея», «Магнолия»... Ребята считали, что цветами им быть несолидно даже в этой веселой игре. Они выступали под псевдонимами, грозными, как названия боевых кораблей: «Стальной», «Стремительный», «Смелый»...

Почтальоном был Вовка Куклин — Ходячий Логарифм. Это прозвище он получил недавно. Но с младших классов, когда мы не знали еще таблиц Брадиса, Вовка

выделялся своими математическими способностями. Полгода назад Вовка вышел победителем городской математической олимпиады и получил рекомендации на физмат Среднеазиатского университета. В Ташкент он поедет, но только не в САГУ, а в пехотное училище имени Ленина. Курсанта Владимира Куклина убьют под Москвой на Волоколамском шоссе. Но это случится через пять месяцев.

Ну, а пока почтальон Куклин, посвященный в мою тайну, понес конверт «Незабудке». В конверте лежал акростих, который я сочинял полночи. Не помню сейчас текста, но первые буквы строк составляли фразу: «Зоя, я люблю тебя!» Наверное, это были самые лучшие слова, которые я написал в своей жизни. Уж если не самые лучшие, то, во всяком случае, самые искренние. «Незабудка» догадалась, чья это работа, и тут же почтальон Вовка принес мне ответ: «Смелый», пригласите меня на танго».

И вот я танцевал с Зоей. «Не уходи, — надрывалась радиола, — тебя я умоляю. Слова любви сто крат я повторю. Пусть осень у дверей, я это твердо знаю. Но все же не уходи, тебе я говорю...»

Я цепенел от теплого присутствия Зои, ощущая на груди ее дыхание. «Ну что же ты молчишь, «Смелый»? — лучились озорными искорками ее глаза. — Ведь я разгадала твою тайнопись. Ну, что ты скажешь мне, «Смелый»?»

А на «Смелого», наверное, было больно смотреть. Он съезжился, раскис, покраснел, язык его присох к горлу, а сердце стучало так сильно, что казалось, вот-вот вырвется из груди и расколется на мелкие кусочки.

Помощь пришла неожиданно. Наш классный руководитель учитель истории Владимир Григорьевич Спиридонов (он пропадет без вести весной сорок второго года в харьковском котле) отвел иголку радиолы, хлопнул в ладоши:

— В танцах объявляется перерыв. Просим всех к столу.

Несмотря на летнюю духоту, учитель был в сером коверкотовом костюме, при галстукe, который тогда носили еще немпогие.

В вестибюле на столах были разложены домашние пироги и печенье, виноград «дамские пальчики», яптарные персики из поселка Вановский, инжир из Фирюзинского ущелья, коричневые ломтики ароматной чарджуоской

дыни «гуляби», колотые грецкие орехи, Отец Артема Саркисова, работник пицеторга, раздобыл для вечера большую бутылку пива. Я пил его первый раз в жизни, хотя бы потому, что этот напиток в городе был большой редкостью. Пиво показалось мне горьким, противным. Но, чтобы выглядеть настоящим мужчиной, я улыбался во весь рот и изображал на лице райское наслаждение.

Справа от меня сидела Зоя, слева — ее лучшая подруга Клава. Как каждый кавалер за столиком, я должен был ухаживать за двумя дамами: наш десятый класс заканчивали семь ребят и четырнадцать девушек.

Еще два года назад нас было поровну. Но многие парни ушли в военные училища еще из девятого и даже восьмого класса. Теперь же, когда аттестаты зрелости лежали в карманах, шестеро наших ребят ждали вызова из военкомата. Лишь победитель математической олимпиады Вовка Куклин готовился в университет и, словно оправдываясь, говорил:

— Я бы рад с вами. Но какой же из меня командир с очками минус четыре? Кому я нужен?

По законам мирного времени для воинской службы он действительно не годился.

Закусив и выпив пива (слабый пол пробавлялся чайком), все поднялись из-за стола. Ребята вышли покурить на лестничную клетку. Собственно, курящим был только один Артем Саркисов. (Его заживо сожжет фашистский миномет под Моздоком.) Ну, а на выпускном вечере он вытащил из кармана коробку дорогих папирос «Борцы», на которой, заняв боевую стойку, приготовились к схватке два рисованных монгольских богатыря.

— Закуривайте, — небрежно предложил он.

Вступление в полосу взрослой жизни накладывало на нас определенные обязанности. Отказываться было уже несолидно. Мы принялись выпускать дым через нос, задохнулись, закашлялись, побросали окурки в урну...

Немецкие артиллеристы уже выкатывали орудия на огневые позиции, цепи пехотинцев в мундирах мышинового цвета залегли у самого пограничного столба, бомбардировщики с желтыми крестами выруливали к взлетной полосе... А мы с Зоей неторопливо брели по улицам давно уснувшего города. За бежаистской мечетью на проспекте Свободы мы повернули по Гоголевской к Ленинскому скверу, постояли у памятника Владимиру Ильичу, обли-

цованного плитками коврового орнамента, и кружным путем, через площадь Карла Маркса, направились на Багирскую, где жила Зоя.

В песках Каракумов высветился край неба, с гор Копетдага струилась прохлада, воздух был тугой, как парашютный шелк, по арыкам, отделяющим тротуары от дороги, перебирая камешки, бежала прозрачная вода.

На Зое был морской костюмчик. Ее бюст ладно облегал белая блуза с широким голубым воротником. Из карманчика синей юбки выглядывал мой злополучный конверт.

— А если мои стихи увидит твоя мама? — спросил я совсем некстати. — Что тогда?

— Ничего. — Зоя была спокойна. — Ведь мы теперь совсем уже взрослые. И потом, мама — вполне современная женщина, без этих самых пережитков.

Умные мысли мне в голову никак не приходили, и, боясь брякнуть какую-нибудь нелепицу, я молчал. Быть может, мы с Зоей думали об одном и том же: что совсем недолго нам осталось гулять по этим улицам. Это московские, ленинградские, киевские ребята и девчата остаются у себя дома. А молодые ашхабадцы обычно уезжают искать свое место в жизни в другие края.

В ту пору Ашхабад был совсем маленьким, тихим городком. Одноэтажные домики из кирпича-сырца стояли в глубине зеленых дворов, скрытых от улиц глинобитными дувалами. Весною из-за дувалов выглядывали гроздь чудесной персидской сирени, легкий ветерок кружил по улицам яблоневый цвет. Жители знойного, бесснежного городка большую часть года проводили во дворах: в тени деревьев, в густых виноградных беседках, у журчащих арыков. Тут же в тамдырах пекли чурек, на мангалах готовили пищу. Многие держали коров, овец, коз.

Два маленьких автобуса, ходившие навстречу друг другу по единственному кольцевому маршруту, не пользовались вниманием жителей. Пока их дождешься, можно было пройти весь город из конца в конец. Зато в каждой семье было по одной, а то и по несколько машин. Только машинами тогда назывались не легковые автомобили — на весь город было три-четыре «козла» со складывающимся брезентовым верхом да цеховская эмка, казавшаяся нам пределом комфорта и совершенства форм. Машинами назывались велосипеды, и весь город крутил педали. На велосипедах ездили на работу, в гости, на базар. У всех наших ребят тоже были машины,

и по воскресеньям, собравшись вместе, мы мчались на Золотой ключ, родничок у аула Багир, из которого даже в сорокаградусную жару вытекала ледяная вода, или еще дальше — в горное ущелье Фирюзу, с нависшими скалами над быстрой горной речкой. За Фирюзой ущелье сужалось, дыбилось камнями и переходило почти в непроходимую «Чертову дорогу». Там уже можно было встретить наряды пограничников: «Чертова дорога» вела в Иран.

У северных окраин города, за железнодорожным полотном, начиналась бескрайняя пустыня Каракумы. Там на машинах ездить было невозможно. Мы уходили в пески пешком, захватив воду в бутылках, ароматные лепешки, овечий сыр. Ранней весной пустыня была необычайно красива. На барханах распускались маки и ромашки, песчаная акация и тюльпаны, ирис и малькольмия, белый и черный саксаул. Под палящим солнцем быстро жухли травы, исчезало зеленое покрывало. Но жизнь продолжалась. Заметив нас, из-за куста яндака — верблюжьей колючки — взлетала птица, не торопясь убежала огромная ящерица — варан, в камнях шипели змеи. Мы взбирались на осыпающиеся гребни ползучих барханов и воображали себя красноармейцами из кинофильма «Тринадцать», задержавшими ценой собственных жизней банду басмачей Шермет-хана у пересохшего колодца...

И вот теперь рождался новый день, и вместе с выпускным праздником таяли, уходили в прошлое детство, школа...

Всю дорогу я держался от Зои на расстоянии, вздрагивал, когда невзначай касался плечом ее волос. И только у калитки со всей неотвратимостью понял, что Зоя сейчас уйдет, исчезнет, и, может быть, эта прогулка никогда уже не повторится. Полагая, что мне что-то надо предпринять, я схватил Зою за плечи. Не ожидавшая от меня такой прыти, девушка вздрогнула.

— Ты в уме! — охнула она, отводя мои руки. — Что же теперь делать, если ты раздумывал целый год и все решил оставить на последний день и последний час. Завтра, вернее, уже сегодня я уезжаю в Одессу, там у меня тетя. Буду поступать в университет. А ты так и пойдешь в летнюю школу?

— Да. Я решил давно. Ты же знаешь.

— Знаю. Только не пойму, зачем тебе это надо. — У Зои в голосе появились повелительные нотки, будто она говорила с младшим братом. — Ты же отличник.

Правда, принято считать, что Вовка Куклин — математический гений. А ведь на контрольных ты частенько решал задачи раньше него. Ты можешь стать даже профессором.

— Может, могу.

— Вот-вот. Ты, конечно, хорошо играешь в футбол, даже писали в газете, что ты забил гол не то алмаатинцам, не то ташкентцам. Но зачем тебе опускаться до уровня оболтусов с «Камчатки», соревноваться с ними в грубой физической силе? А вдруг они будут проворнее тебя крутить баранку, эти заднекамеечники?

— А вдруг не будут? — улыбнулся я, потому что подобные рассуждения слышал не раз от мамы и привык к ним относиться спокойно. — А потом баранку крутят шоферы. Летчик держит штурвал.

Зоя раздраженно передернула плечами:

— Ну, как знаешь.

Открылась калитка, появилась женщина в полосатом халате и чувяках на босу ногу. Видно, она услышала наши голоса.

— Mamочка, видишь, я уже пришла, — сказала Зоя.

— Наконец-то! Где же ты пропадаешь всю ночь? Папа пошел тебя искать в школу. Глаз ни на минуту не сомкнули.

— Это Илюша, мой одноклассник, — представила меня растерявшаяся Зоя.

— Охотно познакомлюсь со всеми твоими товарищами. — Мама посмотрела на меня с любопытством. — Только не в такую рань. Чтоб сейчас же была в постели!

Зонна мама ушла, нервно хлопнув калиткой.

— И в самом деле она у тебя без этих самых пережитков, — напомнил я Зое ее слова, пытаюсь удержать за руку. — Ты еще появишься в Ашхабаде?

— Конечно. Я вернусь к восьмому августа. Девятого у мамы день рождения.

— А я буду болтаться здесь все лето. Занятия в летней школе начинаются в сентябре. Давай встретимся десятого на тащплощадке.

— Давай! — едва слышно ответила Зоя. Она поцеловала меня в щеку и, не оглянувшись, убежала.

Я долго стоял у калитки, надеясь, что Зоя вернется. Увы...

Это было всего несколько часов назад...

Хриплый репродуктор продолжал исполнять военные песни. Я вышел во двор к разогретому солнцем рукомай-



нику, плеснул себе на лицо горсть горячей воды. В виноградной беседке сидели наши соседи счетовод Ораз Клыч и столяр Игнат. Они тоже только что услышали о начале войны и теперь обсуждали правительственное сообщение. Впрочем, говорил только Ораз Клыч, а Игнат курил самокрутку и раздумчиво кивал головой. Счетовод строил прогнозы. Они были крайне пессимистическими. Игнат докурил, сплюнул, поднялся с топчана и сделал для себя главный вывод:

— А воевать мне все равно придется. Пойду искать покупателя на верстак.

Умывшись, я вернулся в дом:

— Мам, я в школу.

— Погоди, а кушать? Сейчас соберу на стол.

Завтрак у мамы был давно готов. Кастрюлька гречневой каши, чтоб не остыла, хранилась под двумя ватными одеялами. Кусок сливочного масла, чтоб, наоборот, не растаял, плавал в алюминиевой миске с водой. На блюде, покрытом марлей от мух, лежали огурцы, лук.

Я схватил свой велосипед.

— Что-то не хочется есть, мама. Вечером много кушал, поздно лег.

Соседские мальчишки, Жорка и Радик, отчаявшись спасти воздушного змея, сидели теперь у арыка, опустив ноги в воду. Караван верблюдов прошел, растаяв в облаке оседающей пыли, и наша улица Кемине, расплавленная нещадным солнцем, была пустынной. Только на углу, укрывшись в кущей тени молодой акации, бабушка Радика, почталыонша тетя Настя, беседовала с двумя женщинами. Могла ли тогда знать эта добрая толстая старушка, что четыре долгих года в каждом дворе при ее появлении матери будут хвататься за сердце и многим из них ей будет суждено вручить открытку с казенным текстом: «В бою за Советскую Родину пал смертью храбрых...»

Я затормозил возле тети Насти, попросил достать из сумки нашу «Комсомолку» и, приклонив велосипед к забору, стал просматривать страницы. Страна еще жила мирной жизнью: центральные газеты приходили в Ашхабад на седьмой день. В Москве с большим успехом гастролировал украинский театр имени Франко. На спектакле «В степях Украины» присутствовал товарищ Сталин. С наступлением теплых дней начался массовый выезд детей в пионерские лагеря. Московский «Спартак» проиграл ленинградскому «Зениту». Единственный гол забил

правый край Левин-Коган. В Самарканде в знаменитом мавзолее Гур-Эмир началось вскрытие древних склепов, где похоронены грозный владыка Востока Тимур, его дети и внуки. Раскопками руководил профессор Толстов. О войне говорили пока лишь западные сводки. Телеграмма из Лондона сообщала, что германская авиация проявляла лишь незначительную активность. Шли бои в Сирии. Англичане и деголлэвцы сражались с французами. Французами называли солдат изменнического правительства Петэна...

Вернув газету тете Насте, я помчался дальше. Мой закадычный дружок Колька Алфёров (он окончит авиатехническое училище и здесь же, в учебных классах, готовя курсантов, проведет всю войну) жил от меня за два квартала. Позавчера, на выпускном экзамене, у него никак не получался алгебраический пример. Он до красноты тер лоб, стараясь найти правильное решение.

— Написать тебе на промокашке? — предложил я.

— Не надо. Допру сам.

И допер. Я знал, что Николай никогда не пользовался чужими конспектами, сочинениями, чертежами. Такой уж он был упорный, всегда надеялся только на себя, на свои силы.

В комсомол Алфёров вступил позже других, у него возникли осложнения по линии деда, раскулаченного в рязанской деревне. Отец Николая несколько раз писал в Москву, в том числе и Всесоюзному старосте — Михаилу Ивановичу Калинин. И получил наконец справку, что хозяйство старика было не кулацким, а образцово-середняцким. Тогда-то у Николая и приняли заявление.

Перед собранием он сказал Куклину, Саркисову и мне:

— Вот будет скучища, если мне, как и всем вступающим, зададут простейшие вопросы. Ну, например, из чего состоят денежные средства комсомола? Имею просьбу: полистайте газеты, журналы, брошюры, найдите поваковыристой вопросы по международному положению.

— И сказать тебе, о чем мы тебя спросим? — удивился Вова Куклин, не совсем понимая, к чему клонит наш друг.

Николай вспыхнул

— Да за кого вы меня принимаете?! Я полагал, что вы обо мне лучшего мнения. Вы считаете, что я затеваю спектакль?

— А если мы тебя завалим на глазах у всего собрания? — спросил Артем Саркисов. — Что тогда?

— Тогда, значит, я не созрел для комсомола, — спокойно ответил Алферов. — Придется готовиться еще раз.

Я увидел Кольку у ворот, когда он выкатывал свой велосипед.

— А я к тебе собрался! — крикнул он. — Ты уже слышал?

— Слышал. Давай-ка лучше в школу. Наверняка там все соберутся.

По случаю воскресенья парадные двери школы были закрыты. Я дернул за ручку, поддал плечом — никакого впечатления. Мы объехали двухэтажное здание и через калитку провели велосипеды на школьный двор. В дальнем углу игровой площадки стоял староста нашего класса Виталий Сурьин, который беседовал с хромым школьным сторожем, дворником и истопником Алексеем Даниловичем. Одной рукой старик держался за волейбольный столб, другой — накручивал пуговицу на рубашке Виталия. Алексей Данилович был без дворницкого фартука, а это означало, что сегодня он не находится при исполнении своих многогранных обязанностей. На нем была синяя, только что выстиранная косоворотка, полотняные брюки и густо смазанные зубным порошком парусиновые полуботинки, какие носило тогда все мужское население Ашхабада. На груди школьного сторожа виднелись Георгиевские кресты. Я слышал, что Алексей Данилович был георгиевским кавалером, но кресты видел у него впервые: царские награды были в ту пору не в чести.

Сейчас, услышав о германском вторжении, Алексей Данилович вновь почувствовал себя солдатом. Ему потребовался собеседник, и он его нашел в лице Виталия Сурьина, который появился в школе первым. Сейчас ветеран рассказывал старосте о преимуществе германских частей перед австро-венгерскими.

— Если супротив тебя будет стоять австрияк, то, почитай, все в порядке, — поучал сторож Виталия. — Когда под Перемышлем генерал Брусилов пошел в наступление, то австрияк побежал без оглядки, пока не подоспели германские войска. А германец — солдат сурьезный, почти что как наш.

Сторожу наконец-таки удалось открутить пуговицу на Виталькиной рубашке, и он сконфузился.

Во дворе показались два Артема — Саркисов и Абрамов, жили они за школьным забором и были неразлуч-

пой парой. Чтобы не было путаницы, первого мы называли Артемом, второго — Артюшкой, хотя Артюшка был на голову выше Артема и вдвое шире в плечах. Родившись в сухопутном Ашхабаде, он с детства бредил морем, ушел добровольцем на флот и, отслужив на Балтике двадцать пять лет, вышел в отставку в чине капитана первого ранга. Тут же прикатили на велосипедах Вова Куклин и Рубен Каспаров, будущий командир стрелковой роты, погибший на Курской дуге. Прибежали наши девчонки: Мила Нечаева, Клава Колесова, Тося Леонова, Бэла Иомина.

— Ребята, и мы с вами...

— Ну вот, я вижу, все в сборе, — услышали мы за спиной голос нашего классного руководителя Владимира Григорьевича.

Преподаватель истории Спиридонов приехал в Ашхабад четыре года назад, первое время снимал угол, потом жéнился на библио́текарше Тамаре. Им дали комнату при школе. Спиридонов был нашим любимым учителем, своим предметом он мог увлечь. Его память хранила сотни и сотни дат, фактов, имен. Он не просто излагал материал, он как бы переносился в прошлое и брал нас с собой. Внешность Владимира Григорьевича была интеллигентнейшей: высокий, выпуклый лоб, острые глаза, орлиный нос. Одет он был всегда безупречно. Каково же было наше удивление, когда из очерка в газете «Комсомолец Туркмэнистана» узнали, что Спиридонов был беспризорником, ночевал на вокзалах, бродяжничал, проехал под вагонами от Смоленска до Иркутска, и лишь к пятнадцати годам, в исправительной колонии, научился читать и писать!

— Вы что, друзья, договорились встретиться? — подходя к нам, спросил Владимир Григорьевич.

— Нет, не договаривались, — ответил за всех Рубен Каспаров. — Но куда же нам сейчас идти, как не в школу?

— Да, да, конечно, — согласился учитель. — Давайте где-нибудь присядем, потолкуем. Алексей Данилович, — обратился он к сторожу, — откройте, пожалуйста, нам двери.

Сторож крикнул своей жене, и Пелагея Семеновна, наша уборщица, вышла со связкой ключей.

Мы прошли в конец коридора, поднялись по лестнице в свой класс. Пелагея Семеновна еще не успела приблизиться здесь после последнего экзамена, и на доске ру-

кою Виталия Сурьина были по-туркменски написаны названия падежей: «Баш душум», «Йопелиш душум»... Под лесенкой строк показывал растопыренную пятерню от своего носа хвостатый чертик, исполненный мелом.

Не стовариваясь, мы сели каждый за свою парту.

— Уж и не думал, что мы соберемся в нашем классе еще раз, — сказал Артюшка. Он был очень серьезен.

— Может, пам и не доведется больше встретиться всем вместе, — тихо промолвил Рубен.

— А давайте проведем комсомольское собрание, — вдруг предложил Колька Алферов. — Тут одни комсомольцы.

Любивший во всем пунктуальность, Вовка Куклин вздохнул:

— У нас нет кворума.

— Неужто тебе требуется кворум? — пожал плечами Артем.

Спиридонов поднялся с задней парты, подошел к столу, взял с доски указку, положил ее назад.

— Полагаю, что формальности тут ни при чем. Не время теперь для формальностей. А если сейчас в роте, принявшей первый бой, осталась горстка комсомольцев, то там и собрания уже не проведешь, поскольку кворум погиб в контратаке? Предлагаю собрание открыть. Вношу предложение: в президиум избрать Алферова и Кукулина.

— И Спиридонова, — добавил Рубен.

Клава Колесова тянула руку, видно, хотела предложить кого-то из девчонок, но руководящий орган собрания был уже сформирован. Президиум занял свои места за преподавательским столом. Вовка Куклин нашел листок бумаги и старательно вывел: «Протокол комсомольского собрания ашхабадской средней школы № 15 от 22 июня 1941 года. Повестка дня: 1. О начале войны. 2. Разное».

Алферов откашлялся в кулак и объявил:

— Нашу работу считаю продолженной. Кто за предложенную повестку, прошу голосовать.

Дверь скрипнула, в комнату, волоча свою раненную на войне ногу, вошел сторож Алексей Данилович.

— Дядя Леша, сюда нельзя! — умоляюще посмотрел на него Николай. — Идет комсомольское собрание.

— Почему нельзя? — Старик надул губы и неожиданно пошутил: — А я как беспартийная молодежь поприсутствую. Можно?

— Я думаю, можно, — сказал Спиридонов. — Собрание открытое, никаких секретов у нас нет. Полагаю, что нам, без пяти минут солдатам, будет лестно видеть здесь ветерана боев с германским империализмом, георгиевского кавалера Алексея Даниловича Прохвотилова.

Сторож довольно крикнул, сел к окну и, чтобы лучше слышать, поднес ладонь к уху. Ребята выступали коротко. Это были простые, искренние, идущие от самого сердца слова.

— Готовы хоть сегодня идти в бой...

— Будем смело сражаться с фашистами...

— Разобьем врага на суше, на море и в воздухе...

— С нами великий Сталин! Он приведет народ к победе!..

Только Виталий Сурьин выступил с развернутой речью:

— Современная война — это война моторов. Франция была разбита наголову, потому что ее военная техника оказалась намного хуже немецкой. С нами такого не произойдет. Наши летчики летают выше, дальше и быстрее всех. Броня наших танков крепче. Орудия — дальнобойнее. Судьбы войны решатся в первом же столкновении танковых масс, воздушных армий, морских флотов. Война закончится самое большое через неделю, в крайнем случае — через две...

В ту пору много говорили и писали о «войне моторов», поэтому слова Виталия не вызвали у нас никаких возражений. Лишь «представитель беспартийной молодежи» Алексей Данилович ухмыльнулся и подмигнул оратору:

— Ишь, какой скорый! Две недели положил на войну! Ероплан, понятно, пролетит, танок проедет. А пехота? Скажи на милость, а куды ей деваться? А деваться ей, любезный, некуда. Пехота будет сидеть в окопах и воевать. Наступать и драпать. Нюхать вонючие газы и валяться по лазаретам. В прошлую войну думали, что шапками закидаем германца. Только-то и делов: туды, сюды и обратно. Уря, уря! Славный казак Козьма Крючков нацепит на пику еще дюжину колбасников, и войне конец. А вон сколько отвоевали...

На Алексея Даниловича посмотрели с сожалением. Дескать, дремуч дед, старым багажом живет, мерками тысяча девятьсот шестнадцатого года...

Виталий выждал паузу и продолжал:

— Итак, война закончится скоро. — Учитывая особое мнение георгиевского кавалера, он сроков уже уточнять

не стал. — И нам надо делать выводы. Никто не будет ждать, пока мы окончим военные училища. Мы должны сегодня же вступить добровольцами в армию. Кем возьмут: десанниками, разведчиками, диверсантами, бойцами истребительных батальонов. Если, конечно, мы хотим уехать на войну...

(Опасения Виталия оказались напрасными: на войну он успел, хотя попал на фронт лишь в сорок третьем. Прошел путь от Днепра до Дуная. Командир саперного взвода лейтенант Сурьин был убит в Словакии, на 1405-й день войны.)

Колька Алферов крикнул со своего председательского места:

— А Виталий говорит дело! Предлагаю: прения закрыть, собрание закончить. Все комсомольцы немедленно идут в военкомат и вступают в армию добровольно. С мамами не советоваться, терять время не будем!

— Это правильно, — сказал Спиридонов. Склонившись к столу, он тут же набросал текст коллективного заявления в военкомат:

«Выполняя волю комсомольского собрания, выпускники школы № 15 вместе с классным руководителем считают себя мобилизованными в армию и просят, как добровольцев, направить в район боев».

И вывел подпись: «В. Спиридонов, член ВКП(б)».

За ним расписались мы по алфавиту: первым — Абрамов, последним — я.

— Молодцы! — воскликнул георгиевский кавалер. — Выправили бы мне ногу да годков двадцать сбросили, я бы с вами тоже пошел!

Решили велосипеды оставить в школе под присмотром Алексея Давыловича и двинулись в военкомат пешком. Жара уже начинала спадать, на улицах появилось много народу. Оправившись от оцепенения, вызванного вестью о войне, люди приходили в себя, и теперь жажда немедленного действия гнала их в свои учреждения, к знакомым, друзьям.

У одноэтажного здания военкомата на Ставропольской улице бушевала толпа. Люди заполнили все комнаты и коридоры, внутренний дворик тоже был забит битком. По улице ни пройти, ни проехать. Не теряя времени, возбуж-

денные добровольцы штурмовали военкоматовские двери. В переулках, ведущих от площади Карла Маркса, тоже бурлил людской водоворот. Некоторые шли с вещами, наверное, кого-то уже призывали. Посреди улицы, оттеснив толпу, стали выстраивать этих людей с вещмешками. Шла переключка. Старший лейтенант с черными артиллерийскими петлицами и с монгольской медалью участника боев на Халхин-Голе, надрывая голосовые связки, выкрикивал фамилии.

Наконец работники военкомата догадались вытащить на улицу десяток столов. Закончив переключку, старший лейтенант сложил ладони рупором и прокричал:

— Товарищи, заявления от добровольцев будем принимать прямо здесь! Подходите организованно, соблюдайте порядок!

Мы подбежали к крайнему столу, за который сел распорядившийся на улице артиллерист. Очередь дошла через полчаса. Старший лейтенант пробежал наше заявление. На его сером, как дорожная пыль, лице вспыхнула улыбка.

— Весь класс вместе с учителем! Здорово! Отойдите в сторонку, тут ходит корреспондент, просит показывать ему интересных людей.

— Какие же мы интересные? — удивился Рубен Каспаров.

Возле нас возник человек с «лейкой». Быстро переписал наше заявление, задал несколько вопросов Спиридонову. Затем, велел взяться за руки и идти на него, сфотографировал группу.

— Вот и попали в прессу. Так сказать, авансом за будущие подвиги, — улыбнулся Владимир Григорьевич. И, обернувшись к старшему лейтенанту, спросил: — Теперь как нам быть?

— Пока вы свободны, — ответил тот. — Ждите наших повесток.

У военкомата мы распрощались. Я побежал домой так быстро, будто боялся, что военкоматовская повестка может обогнать меня в пути и я опоздаю явиться к назначенному сроку.

По нашему двору тоскливо бродил столяр Игнат. Он распродал весь свой рабочий инструмент, купил водки, хлеба, помидоров и теперь нуждался в компании. Увидев меня, Игнат обрадовался:

— Заходи ко мне, гостем будешь. А то Ораз Клыч обещал заглянуть, да куда-то пропал.



Отказаться от приглашения я не мог: Игнат был для меня авторитетом. Только год, как он вернулся с действительной, все еще ходил в гимнастерке и галифе. Служил он на бронепоезде, который, сколько я себя помню, стоял у нас в Ашхабаде. Как-то Игнат обмолвился, что одна девушка, не дождавшись его, вышла замуж. А во хмелю он буен, боится, как бы, появившись в своей деревне под Тамбовом, не наделал чудес. Снял Игнат в нашем дворе сарай, поставил верстак, а вот обзавестись мебелью, кроме самодельной табуретки, не успел. На верстаке он спал, на нем же обедал. Теперь, когда верстака уже не было, мы уселись на полу, сложив ноги по-туркменски. Табуретка заменяла нам дастархап. Я выпил полкружки водки, налитой Игнатом, с непривычки задохнулся, из глаз брызнули слезы. Помидор, который я собирался укусить, выпал из рук.

— Вот молодец, пьешь и не закусываешь, — позавидовал мне Игнат. — А я так не умею.

Он выпил целую кружку, понюхал хлеб и на правах ветерана принялся меня поучать:

— Дам я тебе, парень, совет, как подсластить армейскую службу, поделюсь опытом. Когда я попал на бронепоезд, то взял карандаш, бумагу и помножил дни, которые мне предстояло отслужить, на суточную порцию сахара. Вышло у меня что-то возле пятидесяти кило. «Что ж, — подумал я, — только-то мне и делов слопать три пуда казенного сахара в красноармейских чаях, киселях и компотах — да и айда домой!»

Игнат выпил еще кружку, рассмеялся пьяненьким смехом и добавил уже серьезно:

— Только не подумай, милоч, что смысл воинской службы и взаправду состоит в потреблении сахара. Запомни хорошенько: в красноармейском рационе есть и перец, и соль...

Игната мобилизовали через три дня. Он запер свое жилище огромным амбарным замком, отдал ключ на хранение моей маме.

— Вы уж не сердчайте на меня, Анна Сергеевна, если что у нас не по-соседски вышло. Я ненадолго отлучаюсь, дойду до Берлина, поймаю Гитлера и вернусь.

До Берлина Игнат не дошел, а потому и Гитлера не поймал. В ожидании своего хозяина сарай под висячим вамком простоял до самого ашхабадского землетрясения сорок восьмого года.

...От выпитой у Игната водки у меня закружилась голова, я простился со столяром и вышел из душного сарая. На дворе было куда прохладнее, косые лучи заходящего солнца растягивали тени деревьев, дул свежий ветерок.

Мама, конечно, почувствовала, что от меня попахивает спиртным, но виду не подала. Она сидела у окна и штопала мои носки. Увидев меня, отложила свою штопку:

— Наконец-то явился. Совсем заждались. Ну, кого видел, что узнал?

Я сказал, что всем классом вместе с Владимиром Григорьевичем ходили в военкомат и записались добровольцами.

— Да, так было надо, вы поступили правильно, — сказала мама и отвернулась к окну. По ее вздрагивающим плечам я понял, что она плачет.

— Что с тобою? — искренне удивился я.

— Садись ужинать, — не оборачиваясь, сказала мама. — Ведь не ел весь день.

— А что с тобою? — повторил я свой вопрос.

В тот первый день начавшаяся война вовсе не казалась мне несчастьем. Нет, совсем напрасно Зоя восторгалась моими умственными способностями. Я был наивным и глупым мальчишкой. О том, что меня могут убить на войне, я и не думал. Я верил в свою счастливую звезду. Да разве может случиться такое: останется солнце, шелест листвы, родник Золотой ключ, синие цепи Копетдага, а меня уже не будет! Кстати, эту ничем не оправданную уверенность, что непременно останусь жив, я пронес до последнего дня войны.

А тогда я просто не понимал, отчего плачет мама. Разве она не хочет, чтобы ее сын стал героем? Видно, честолюбия у меня было ничуть не меньше, чем наивности: и того и другого бог щедро отпустил мне сверх всякой меры. Я всегда хотел прославиться. В пять лет мечтал быть дрессировщиком, чтобы на арене оцепеневшего от ужаса цирка класть свою голову в раскрытую пасть свирепого тигра. В десять — мне грезились лазры знаменитого мореплавателя, в пятнадцать — великого поэта. Но все это были пустые мальчишеские сны. Теперь же мечта о подвиге обрелась твердые крылья. Моими кумирами давно уже стали Чкалов, Громов, Коккинаки, семерка героев-летчиков, снявших со льдины челюскинцев. Поскорее только закончить летную школу, попасть на фронт! В первом же бою я собою пять вражеских самолетов. На следующий день столько же. А после войны меня будут

встречать так, как встречал восторженный Ашхабад героя челюскинской эпопеи летчика Маврикия Слепнева. Как и он, я тоже буду стоять на усыпанной цветами трибуне, возвышающейся над площадью Карла Маркса, а внизу будут проходить демонстранты со знаменами, с лозунгами, с моими портретами...

И вдруг в колонне я замечаю Зою. Я поманю пальцем начальника караула и скажу: «Пропустите сюда вон ту девушку в матросском костюмчике». Я подам ей руку, проведу по ступенькам на трибуну и скажу: «Ты ошиблась, Зоя! Смысл жизни заключается вовсе не в том, чтобы быстрее Вовки Куклина решать задачки по тригонометрии. Как видишь, я научился крутить баранку не хуже оболтусов с «Камчатки». А Зоя встанет на носки и поцелует меня, как поцеловала сегодня на рассвете, и достанет из карманчика мое письмо: «Видишь, «Смелый», я ждала тебя всю войну, я хранила твои стихи». «Вижу,— отвечу я. — И давай с тобой никогда не расставаться!»

За те минуты, что мама беззвучно плакала, отвернувшись к окну, я уже ушел в армию, стал летчиком, отличился на войне, вернулся домой героем...

Теперь мне предстояло пройти весь этот путь еще раз, уже не в мечтах, в жизни...

## ГЛАВА ВТОРАЯ, ЗАПИСЬ ВТОРАЯ...

«Призывной комиссией при Ашхабадском горвоенкомате признан годным к строевой службе, призван на действительную военную службу и направлен в часть 15 июля 1941 г.»

На войну меня собирала мама...

Она сложила в мой школьный портфель карандаши, конверты, жестяную кружку, ложку, складной ножик, зубной порошок, щетку, мыло...

— Может, возьмешь отцовскую бритву?

— Чего ее зря таскать? Когда я еще начну бриться! А вот бутсы и гетры заберу. Вдруг там будет команда?

Чтобы уместить в портфеле футбольную амуницию, пришлось вынимать пирожки, заворачивать их отдельно.

Как водится, мы присели на дорожку.

— Ну, с богом! — вздохнула мама, вставая с нашего исторического сундука. Она обняла меня, поцеловала, и

мы двинулись в путь, оказавшийся для меня длиною в долгих четыре года...

Мы шли по Кирпичной, первой ашхабадской улице, которую построили из жженого кирпича, а не из глины. На Русском базаре, не уместившись в магазинчики и загромождавшая проходы, лежали горы арбузов и дынь, ящики с помидорами, корзины с виноградом и персиками. В караван-сараях кричали верблюды. На полузакрытых балкончиках, развалившись на пестрых паласах, утомленные погонщики освежались зеленым чаем. Внизу в своих крохотных кустарных палатках работали велосипедные мастера, медники, жестянщики, сапожники, портные. Шумные персы торговали вразнос платочками из самотканого шелка, хной, примусными иголками, рахат-лукумом, всякой дребеденю.

Когда нам навстречу попадались знакомые, я прибавлял шагу и уходил вперед: не хотел, чтоб меня принимали за маменькиного сыночка, которого даже в военкомат отводят за ручку. Кивнув знакомым, я останавливался, поджидал маму и принимался уговаривать ее вернуться:

— Иди домой, ведь мы уже попрощались!

— Нет, я буду с тобой до конца, пока не уйдет поезд, — решительно отвечала мама.

Я нес портфель, мама — узелок с пирожками.

— Большие — это с картошкой, а маленькие — с мясом, — все повторяла она, не зная, о чем говорить в эти последние минуты. — Запомнишь?

— Конечно, запомню.

— А письма обязательно номеруй. Чтоб знать, не теряют ли их на почте.

— Все понял, — отвечал я и, завидя впереди знакомого парня, делал очередной рывок.

Так мы и шли в военкомат в смешанном темпе стипльчеца. Я вспоминал выпускной вечер, игру «Флирт цветов», танго с Зоей, свою записку. А больше ничего существенного не произошло. Как-то утром к нам во двор пришел милиционер, велел вырыть щель для укрытия от бомбежки. Старухи разволновались. Они решили, что сейчас же прилетят самолеты, начнут бросать бомбы.

Я взял лопату, пошел в глубь сада копать траншею. Мне с явным удовольствием помогали Жорка и Радик. Когда работа была закончена, Радик спрятался в земле, а Жорка, изображая из себя бомбардировщика, залез на дерево и стал оттуда швыряться камнями, которые на-

брал в карман. Сражение, как и всякое другое, закончилось плачевно. Острый камень угодил Радику в лоб. Он завизжал на весь квартал, сбежались мамы. Мирный договор заключался долго и мучительно.

Если не считать рытья так и не пригодившихся траншей да приказа сдать ламповые приемники всем, у кого они были, наш тыловой городок все еще жил спокойной, мирной жизнью. Даже не верилось, что вот уже несколько дней громыкает война. Как-то вечером мы, собравшись все вместе, пошли в парк культуры и отдыха имени Горького (угол проспекта Свободы и Октябрьской улицы). Гуляющих, как и прежде, было много. Разместившись на горке, сложенной из крупных камней, духовой оркестр пограничного управления исполнял марш «Прощание славянки». На эстраде выступал национальный ансамбль дутаристов. С афиш Зеленого театра улыбался усатый человек в шляпе-канотье, с тростью, при бабочке-разлетайке: гастролирующая в Ашхабаде Оренбургская оперетта давала «Сильву» с участием популярного комика Залетного в роли Бони...

За танцплощадкой, откуда доносилось шарканье многих подошв, было темно и прохладно. Сквозь густую чащу с трудом пробивались асфальтовые дорожки; чинары, акации, тополя, туи стояли плотной стеной. Причудливо змеясь, аллейки выводили вдруг то к шахматному павильону, то к комнате смеха, то к шашлычной.

На шашлык денег у нас не было, за плетеным столиком под грибком с матерчатым полосатым верхом мы ели пломбир, запивая шербетом. Все эти дни, собравшись вместе, мы, стратеги из десятилетки, принимались спорить о судьбах начавшейся войны.

— Наши споры на пустом месте, — говорил рассудительный Вовка Куклин. — Необходимо знать, сколько дивизий у Гитлера и у нас, сколько орудий, танков, самолетов...

— Цифры, которым ты поклоняешься, конечно, великая вещь, — осаживал его Рубен Каспаров. — Не все ими исчислишь. Немецкие солдаты — рабочие и крестьяне — не будут воевать против первого в мире государства трудящихся. Еще несколько дней боев — и у них откроются глаза. Ты сбрасываешь со счетов моральный фактор.

— Ничего я не сбрасываю, — обижался Вовка. — Моральный фактор тоже поддается измерениям. Только другими единицами. Фашистская армия воевала и воевать будет. Будет завоевывать и грабить другие народы. Вермахт

держится на палочной дисциплине беспрекословного повиновения, он фанатично предан Гитлеру, хотя Гитлер конечно же крестин и ничтожество.

— Фанатизм слеп, — поддержал его Виталий Сурьин. — Поклоняться можно иконе, идолу, выдуманному божеству. Христа и Магомета не существовало вовсе, но с их именем люди шли в бой и принимали смерть с улыбкой...

А повесток нам все еще не приносили. По утрам я сидел дома и ждал. Разобрал учебники, выбросил никому не нужные теперь тетрадки, пробовал читать — ничего не выходило, книжный текст воспринимался плохо, мысли были совсем о другом. Как-то я решил навестить Колю Алферова, узнать, как у него дела. Мать сказала, что он в школе. Но и в школе его не было. Во дворе встретил библиотекаряшу Тамару. Она была в положении, и, судя по всему, ждать ребенка оставалось недолго.

— Владимира Григорьевича вчера проводила, — взглянув на меня печальными глазами, сказала она. — Так ждал сына, а вот не дождался. Ушел.

Я не нашелся что ответить.

— И увидит сына не скоро, — добавила Тамара, тяжело вздохнув. — На фронте дела плохи...

— Почему плохи? Только что я слышал по радио, что наши летчики посадили фашистский самолет в районе Минска...

Тамара грустно усмехнулась:

— А сколько километров от границы до Минска? Как же ему позволили туда долететь?

Заглянув в соседний двор, я увидел, что Артюшка и Артем сидят на паласе в беседке, склонив головы над шахматной доской.

— У вас ничего нового?

— Ничего. Да откуда быть новостям? — пожал плечами Артюшка, передвигая ферзя на два поля. — Я же послал документы в Ленинград, в военно-морское училище. А Ленинград, судя по всему, уже прифронтовой город. Кто мне оттуда пришлет вызов? Разве там до меня?

Мама Артюшки оставляла меня обедать. Я отказался, боялся, что мне принесут повестку, и заторопился домой.

В мое отсутствие действительно принесли повестку, но только не ту, которую я ждал. Меня вызывали опять на медицинскую комиссию.

Наутро ни свет ни заря я отправился в городскую поликлинику на площади Карла Маркса. Двери были еще

закрыты, но в небольшом скверике под деревьями на скамейках я увидел много знакомых ребят. С Яшей Ревичем и Махмудом Ахундовым мы играли в «Спартаке»; Абрам Мирзоянц, Борис Брехов, Борис Терехов были моими товарищами по изокружку Дворца пионеров; Люська Сукнев, Иван Хулепов, Гаврик Еволин жили на соседних улицах.

— Значит, вместе! — обрадовался я.

Но особенно я обрадовался, узнав, что все они тоже подавали заявления в летные школы. Такая компания меня вполне устраивала и обнадеживала. А когда нас принялись крутить на центрифуге, заставляя по пятьдесят раз приседать, а потом придирчиво выслушивали сердце и проверяли пульс, последние сомнения исчезли: нас берут в авиацию! Мы ходили друг за другом из комнаты в комнату, от врача к врачу, и страшно боялись: а вдруг у нас что-нибудь найдут и забракуают? Потом я узнал, что Иван Хулепов, не очень-то надеявшийся на свое зрение, наизусть выучил все строчки в таблице и в кабинете окулиста выглядел эдаким Соколиным Глазом, а Яков Ревич ходил вместо Люськи Сукнева к невропатологу: Люська сильно волновался, у него дрожали руки.

В кабинете председателя медкомиссии, военврача второго ранга, молоденькая медсестра заполняла анкету.

— Курите?

— Нет.

— Пьете?

Если не считать полкружки водки у столяра Игната да стакана пива на выпускном вечере, я никогда не брал в рот спиртного. Но мне стало стыдно прослыть среди ребят эдаким пай-мальчиком. Я ответил, как шедший передо мной Абрам Мирзоянц:

— Пью, но мало.

Это еще куда ни шло.

Медсестра передала военврачу мои дела, он макнул перо в чернильницу, чтоб написать свое заключение, как вдруг у его столика возникла маленькая взволнованная женщина, как оказалось, мать будущего летчика Бориса Семеркина. Она затараторила, как из пулемета:

— Товарищ начальник, у нас вегетарианская семья, и Боря тоже вегетарианец. Он не ест трупов животных и птиц. Укажите в документах, чтобы его кормили только молочным и овощным. Будет ужасно, если его заставят есть свиную отбивную.

Военный врач оторвал от бумаг свои близорукие глаза, икнул от неожиданности.

— Опомнитесь, мамаша! Идет война, откуда вам при-  
снилась свинья отбивная в армейском рационе?

— Ну и слава богу! — воскликнула мамаша. — Но  
все-таки запишите, что Боренька вегетарианец.

Председатель медкомиссии равозлился не на шутку:

— Да что вы ко мне привязались? Молочного зала в  
солдатской столовой нет. Не будут же для вашего сыну-  
ли отдельно стряпать блюда диетического направления!

— Что же делать?! — воскликнула мамаша в отчая-  
нии.

— Что делать? — закричал военврач, теряя равнове-  
сие. — Лично вам и дальше сидеть на репе и брюкве.  
Судя по вашим рассуждениям, вам такая пища определен-  
но идет на пользу.

— А Боре?

— За Борю не беспокойтесь, — сказал доктор, осты-  
вая. — Мясная пища еще ни одному красноармейцу по-  
перек горла не вставала. На второй день по прибытии в  
часть ваш Боря будет есть из общего котла да еще про-  
сить добавки...

(Военный врач ошибался. Горька Семеркин ел из об-  
щего котла не на второй, а уже в первый день. На пер-  
вое — щи из свиных голов, на второе — солянку из ква-  
шенной капусты с мясом. Я хорошо запомнил меню, это  
был и мой первый казенный обед...)

Четырнадцатого июля почтальон тетя Настя вручила  
мне долгожданную повестку, а маме телеграмму из Мо-  
сквы от моего старшего брата Бориса, окончившего пер-  
вый курс энергетического института: «Дорогая моя, не  
волнуйся, ухажу в армию, буду писать. Крепко целую.  
Боря».

Мама обхватила руками голову, опустилась на сундук:

— Боже! В один и тот же день!.. Оба сына...

Такой я и запомнил маму на всю войну: маленькую,  
седенькую, с заплаканными, воспаленными глазами, мл-  
чаливую в своем горе...

Мама подошла ко мне, погладила ладонью по голове:

— Пойду ставить тесто. Надо же тебе испечь пирож-  
ки на дорогу. А вот Бореньку проводить не смогу...

— Чем-нибудь помочь, мама?

— Думаю, тебе надо пойти проститься с отцом.

Я вопросительно посмотрел на маму.

— Да, это надо, — проговорила моя благородная, ве-



ликодушная мама. — Мало ли что может случиться, потом будешь жалеть, ведь на войну идешь. Как бы он меня ни обидел, а тебе он отец. Пойди простись с ним по-человечески.

Я никогда не был в доме отца, но знал, где он живет. От нас на велосипеде было минут десять езды.

Калитку открыл мне сам отец. Он опирался на массивную трость.

— Здравствуй, здравствуй, — обрадовался отец. — Проходи. Рад, что надумал меня навестить. Уходишь в армию?

— Да, завтра.

— Уже завтра?

— Только что принесли повестку. Еду учиться в летнюю школу.

Отец был все еще похож на свою студенческую фотографию, которая хранилась у нас в толстом альбоме еще дореволюционной работы. Только как будто тот снимок немного расплылся, поблек, потерял четкие очертания. Но, несмотря на свои сорок восемь лет, отец был по-прежнему красив: ежик черных с проседью волос, большие, задумчивые, с грустинкой глаза, на щеках ямочки. Держался он неестественно прямо, как старательный солдат при стойке «смирно».

Дворик отцовского дома был невелик, но ухожен. Несколько груш и абрикосов, у забора мавританский газон, у крыльца с пилястрами кусты алых, желтых и белых роз.

— Всю жизнь люблю ковыряться в земле, — сказал отец, заметив, что я разглядываю розы. — Только вот спина с некоторых пор перестала сгибаться. Теперь меня можно опрокинуть, повалить, но заставить кланяться никому не удастся...

Я знал о том, что недоговорил отец. В тридцать седьмом году по ложному обвинению в шпионаже на английскую разведку его посадили в тюрьму. Ни одного англичанина отец, разумеется, сроду не видывал. Для нас наступили черные дни. Мама снесла в торгсин свои девичьи серьги, брошки, распродала платья: отцу надо было носить передачи. Чтобы поменьше платить хозяевам (тогда в Ашхабаде все дома были частными), мы переехали в каморку без сени и кухни. Желая хоть как-то облегчить участь отца, мама выстаивала длинные очереди в приемной НКВД, бегала по прокурорам...

Отцу повезло: он просидел не так уж много. Но вышел совсем больным, с тяжелым нервным расстройством.

— После всего, что я пережил, мне надо немного пожить одному, успокоиться, — сказал отец.

Мама не возражала:

— Что ж, если тебе так будет легче... Только все это как-то странно...

Отец снял комнату в другом конце города и больше к нам уже не вернулся...

Теперь с отцом мы прошли на веранду, к которой от калитки вела дорожка, выложенная красным кирпичом. За дувалом остроконечные верхушки тополей воткнулись в диск заходящего солнца, причудливые тени ложились на мавританский газон. Вечереющий сад был окутан легкой дымкой. Когда мы сели, я показал отцу аттестат и похвальную грамоту, которая по тем временам была равнозначна нынешней золотой медали. Отец похвалил:

— Молодец, это для меня лучший подарок. Данный отрезок своей жизни ты провел достойным образом. А кем собираешься стать в будущем?

— Так ведь я говорил: иду в летную школу.

— Я имею в виду не твою военную специальность. А после войны.

Отец заставил меня удивляться. Неужели он, участник гражданской, не понимает, что на войне, где жизнь человека копейка, может случиться всякое? Время ли сейчас говорить, что будет после? Теперь же я понимаю, что отец хотел избавить меня от тягостных мыслей, вселить уверенность, что я уцелею, заставить думать о будущем, мечтать, ведь с мечтой всегда легче жить...

Отец беспрерывно курил, прижигая папиросу от папиросы. Вдруг в легких у него засвистело, грудь задвигалась, как кузнечный мех, лицо посинело, в глазах показались слезы, но папироску из рук он не выпустил.

— Тебе нужно поменьше курить, — испугавшись, сказал я.

— Без табака не могу, — выдавил он из себя, все еще раскалываясь от кашля.

Приступ наконец прошел, отец отдышался, прикурил погасшую папиросу.

— Что ж, летчик — это пеплохо, — вернул он к прерванному разговору. — Но летчик летает до сорока, а жизнь, она очень большая. Значит, загодя надо готовиться стать авиационным инженером, конструктором.

Отец задумался, помолчал, потом продолжал:

— А главное, конечно, не в том, кем человек станет, а каким будет. Важно быть специалистом в своем деле,

выбиться из разряда середнячков. По мне, так лучше быть хорошим портным, которого все знают, у которого нет отбоя в клиентах, чем захудаленьким поэтом, стихи которого никто не может прочесть до конца...

Он поднялся со стула, сказав, что спина заныла и ему легче постоять. Я слушал отца внимательно, боясь упустить хоть одно слово, будто чувствовал, что эта беседа, в которой отец впервые обращался ко мне как к взрослому человеку, будет последней и единственной в моей жизни...

— Сразу же после окончания гражданской нам с твоей матерью пришлось ехать из Томска в Ташкент, — вспомнил отец. — Конечно, Турксиба тогда не было и в помине. Поезда шли вкруговую, через Екатеринбург, подолгу застревали на полустанках. Пассажиры выскакивали из теплушек, бежали в деревни менять оставшиеся вещи на хлеб и картофель. Рядом со мною на нарах лежал цирковой клоун. Однажды он достал из мешка свой клоунский костюм.

«Поглядите, — сказал он торжественно, — у меня чуть ниже спины будет две луны. Одна красная, а другая синяя...»

Глаза его светились радостью. Я удивился:

«Ну и что ж с того?»

«Ни один клоун не появлялся на манеже с двумя лунами, — объяснил сосед. — Все выходили с одной. А вот я придумал. Зрители наверняка обратят внимание».

В пути он часто вынимал свой клоунский наряд, глядел пришитые куски материи и тихо радовался:

«Как здорово, я придумал лишнюю луну!»

Отец прошелся по веранде, тяжело опустился на табуретку.

— Потом я часто вспоминал этого клоуна. Свирепствовал голод, дома не отапливались, заводы стояли, детишки не ходили в школу. А моему попутчику виделось то время, когда вновь откроется цирк и он выбежит на ковер с двумя лунами — красной и синей... Нет, конечно, он не проник в тайны мироздания, не открыл новых физических законов. Клоун просто сообразил пришить лишнюю луну, до чего не додумался никто из его коллег. А это уже творчество, без которого человек, любящий свое дело, не может быть счастливым...

Отец, видимо, хотел привести меня к какой-то важной мысли, но на веранде появилась вторая жена отца, бывшая подруга моей мамы, которая долгие годы ходила к

нам в дом. Она спала в комнате, ее разбудили наши голоса. На нее мне было противно смотреть: толстые, слоноподобные ноги с узлами выступающих вен, под глазами синие круги, на щеке пролежень от подушки...

— О, кто к нам пришел! — запела она приторно-сахарным голоском. — Сейчас чаек пить будем. Ты с каким любишь вареньем: с клубничным, с персиковым, с вишневым?

Я чуть ли не кубарем скатился с веранды, схватил велосипед. Отец молча протянул руку, пытаясь меня удержать. В его взгляде я прочел боль сердца...

Мама раскатывала скалкой тесто. Она вздрогнула, когда я появился на пороге.

— Чего так скоро? Не застал отца?

Я рассказал все, как было. Мама обняла меня локтями, ее ладони были в муке.

— Спасибо тебе, сынок. Конечно, мне было бы больно, если бы ты сидел с ней за одним столом, ел ее приготовленное. Но ты простился с отцом по-хорошему?

Я сделал неопределенный знак рукой.

— Ты хоть сказал отцу «до свиданья»?

— Да, сказал, — соврал я маме для ее же спокойствия.

Мама, я думаю, в бога не верила, но была суеверной. Она боялась, что если отец не благословит меня на дорогу, то со мной может приключиться плохое на войне...

В соседских комнатах вспыхивал свет. На небосклоне всходил месяц. Я вспомнил рассказ отца о клоуне, придумавшем вторую луну, и улыбнулся. Я вышел во двор, встал у абрикосового дерева. Воздух был мягким и теплым. Ветви деревьев успокаивающе шептались в вышине. Только вдруг завyla, выбежав из своей будки, наша цепная собака Беляс.

— Цыц! — испуганно крикнула мама и с тревогой посмотрела на меня. Ей показалось это плохой приметой.

Беляс успокоился, спрятался в своей будке. Я начал укладываться на своем сундуке. Наступала ночь. Последняя ночь рядом с моей мамой. Мне кажется, что она не сомкнула глаз...

Когда мы прошли Русский базар, мама опять спросила меня:

— Так отец поцеловал тебя на дорогу?

Она, видно, чувствовала, что мы с ним расстались плохо.

— Конечно, все было как надо, — ответил я.

Первым, кого я увидел у дверей военкомата, был Яшка Ревич. Похожий на испуганного цыпленка, он стоял в плотном окружении своих многочисленных родственников: отца, матери, бабушек, дедушек, дядюшек, тетюшек. Остальные ребята тоже подходили с родителями. У меня отлегло от сердца. А то я смертельно боялся прослыть оригиналом, попершимся с мамашей на войну. Теперь же, уже не боясь пересудов, я стоял рядом с мамой. На нас, конечно, никто не обращал внимания, каждый был занят своими разговорами.

В одиннадцать появился знакомый нам старший лейтенант — артиллерист. Нас построили, пересчитали; все тридцать оказались налицо. Артиллерист назначил старшим нашей команды Ивана Попова, единственного, пожалуй, парня, которого я прежде не знал. После чего объявил, что мы свободны до часу дня.

Некоторые родители помчались на Русский базар. Им казалось, что дети еще недогружены съестным. Мама поступила рассудительней, она дала мне двадцать рублей.

— По дороге купишь себе фруктов или чего захочешь.

Деньги еще не успели подешеветь, и двадцать рублей значили немало.

Ровно в час нас опять построили, пересчитали.

— Нале-во! — скомандовал старший лейтенант. — Шагом м-арш!

Тридцать подстриженных под нолевку призывников двинулись в путь. Суматошные родители увязались за строем, на ходу выкрикивая напослед пришедшие им в голову теперь уже никому не нужные советы. А в строю было тихо. Каждый из нас в эти последние минуты старался запечатлеть в сердце облик родного города, который мы оставляли надолго, если не навсегда. Мы шли мимо кинотеатра «Художественный», куда мальчишками бегали по многу раз смотреть «Чапаева», мимо стадиона профсоюзов, где играли в футбол и занимались в легкоатлетической секции у мирового рекордсмена метателя молота Сергея Тихоновича Ляхова, который привез из Антверпена приз рабочей олимпиады — быстрый, как птица, мотоцикл, поражавший наше мальчишеское воображение.

— Что закручинились? — Зычный голос артиллериста резанул ухо. — Запевай!

Видимо, чтобы немного развлечь товарищей, Яшка

Ревич затынул песенку, недавно появившуюся в городе: «Быстро мчится поезд скорый, в дальней дымке тают горы, Ашхабад остался позади. Если б знать теперь могла бы, как мы стали все крылаты — птицами парим на высоте...»

— Отставить эту песню, не строевая, — оборвал его старший лейтенант из военкомата. — Запевай другую...

Но петь нам так и не пришлось. У Центрального парка культуры и отдыха мы свернули на широкую Октябрьскую улицу, откуда уже была видна привокзальная площадь. Оставив в стороне здание вокзала, мы через служебную калитку вышли на пустой перрон. Старший лейтенант распустил строй, разрешив покурить, размять ноги.

Я заметил, что Яшка Ревич и Люська Сукнев о чем-то перешептываются, подошел к ним.

— Старшему команды Попову дали конверт, — заговорщицки сообщил мне Яков. — А на конверте надпись: «Вскрыть перед станцией Урсатьевская». Значит, поедем не на запад, к Красноводску, а на восток...

Люська махнул рукой:

— Ах, какая разница! Две пути-дороженьки, выбирай любую...

Сукнев был мрачен. Я знал, что его старшего брата — чемпиона республики по боксу — убили в боях у озера Хасан.

— Все-таки интересно, далеко ли едем, — суетился Яшка. — Ни от кого не слышал, что под Урсатьевской есть летная школа. Наши аэроклубовцы едут учиться в Борисоглебск, в Энгельс, в Батайск...

— От Ташкента дороги ведут куда угодно: на Москву, в Сибирь, на Урал. Так что ориентир весьма условный, — мрачно заметил Люська. — Куда повезут, неважно. Важнее, чтоб привезли назад. Давайте, друзья, дадим клятву: если когда-нибудь вернемся, то первым делом опустимся на колени и поцелуем вот этот асфальт перрона. Договорились?

Провожжающие, отсеченные от нас на привокзальной площади, отыскивали какой-то лаз и, спеша обогнать друг друга, высыпали на перрон. Я увидел маму в окружении Артюшки, Виталия, Артема, Вовки, Николая. С ними были наши девчонки. Все были возбуждены. Я уходил в армию первым из класса. Друзья обступили меня со всех сторон. А где же мама? Ее белый платочек мелькнул и исчез. Но вот он появился снова. Клава Колесова, луч-

шая подруга Зои, заметив, что я оглядываюсь, привстала на носки и шепнула мне в самое ухо:

— Она не придет. Зою уговаривали не ехать в Одессу. Но билет уже был у нее на руках. И вот рискнула. Где-то застряла в пути. Родители в страшной панике...

— Я тебе напишу, Клава. А ты сообщишь, что с Зоей...

Показался Рубен Каспаров. В одной руке он держал бутылку, другою вел мою маму сквозь толпу низом, словно играл в детскую игру «веревочка». Он протянул лимонад:

— Возьми, в дороге захочется пить. Смотри, какая жарница.

— Береги себя, не лезь в самое пекло, — это уже говорила мне мама.

Потом я опять увидел лицо Клавы:

— Если Зоя вернется, то что ей передать?

— Дай знать. Я ей напишу...

На путях уже стоял поезд «Красноводск — Ташкент». Никаких сомнений не оставалось, Яшка Ревич говорил дело, мы едем на восток. Нас снова построили, сделали переключку и, уже не разрешив подойти к провожающим, велели заходить в вагон.

Я успел занять верхнюю полку. Отсюда открывался хороший обзор. Мне не надо было толпиться в проходе, пробиваясь к открытому окну, куда для прощального приветствия тянулись руки с перрона.

Шум, гам, неразбериха...

Я спрыгнул с верхней полки, выбежал в тамбур и, перегнувшись, с подножки обнял маму в последний раз.

— Сынок, сынок, — прошептала она и заплакала.

— Не надо, мама, зачем же так? — Я и сам едва сдерживал слезы.

— Кушай пирожки. Большие — с картошкой, а маленькие — с мясом, — повторила она опять. — Запомнил?

— Запомнил, мама.

Что же еще могла она сделать для своего сына, кроме того, чтобы испечь на дорогу вот эти пирожки? Там, куда умчит меня поезд, закончится многолетняя и всемогущая власть моей мамы. Увы, она не сможет защитить меня ни от пикирующих бомбардировщиков, ни от танков с черными крестами на своих башнях. Со мною останутся лишь ее любовь и ее молитвы. Да вот эти пирожки, большие — с картошкой, а маленькие — с мясом...

Дежурная в красной фуражке дважды ударила в мед-

ный колокол под вокзальными часами. Паровоз дал гудок, и перрон медленно поплыл назад.

Под мерный перестук колес состав набирал скорость. Справа остались кирпичные корпуса мехстеклозавода, мелькнул купол древней мечети Аннау. Город, бежавший за нами, не выдержал темпа, отстал. Показались желтые разливы песчаных барханов, на гребнях которых бородавками торчали редкие кустики верблюжьей колючки.

Я все еще стоял в тамбуре. Колеса, позвякивая на стрелках, отбивали ритм танго: «Осень. Прозрачное утро. Небо как будто в тумане...» Ветер, врываясь в открытое окно, натягивал занавески парусом и голосом Зои шептал мне: «Ну, что же ты молчишь, «Смелый»? Ведь я разгадала твою тайнопись. Ну, что ты скажешь мне, «Смелый»?»

Мне стало вдруг очень грустно.

Кто-то взял меня за локоть. Я оглянулся и увидел влажные глаза Люськи Сукнева.

— Значит, договорились? — спросил он. — Помни наш уговор. Если вернемся, то первым делом преклоним колени и поцелуем асфальт. Как бы грязен он ни был...

Мог ли я знать, что в сорок пятом мне будет суждено поцеловать перрон ашхабадского вокзала одному?..

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ, ЗАПИСЬ ТРЕТЬЯ...

«Принял военную присягу 7 августа 1941 года. 23-я военная авиационная школа пилотов. г. Фергана».

На войну меня провожала мама...

За окном поезда мелькали станции и разъезды: Гяурс, Артык, Каахка... В вагоне было тихо. После шумных и волнительных проводов у ребят наступил спад. Каждый думал о своем. О той беззаботной мальчишеской жизни, которая навсегда осталась на ашхабадском перроне, и о той, неведомой, незнакомой, которая нас ждет...

Потом Абрам Мирзоянц извлек из своего чемоданчика большие красные помидоры, сыр, лаваш. И тут все ощутили голод, мало кто завтракал сегодня поутру.

Ребята засуетились, повскакали с мест, бросились к своим чемоданам.



— Что есть в печи, все на стол мечи! — задорно крикнул Абрам.

У окна на маленьком столике быстро росла горка еды: вареные куры, яйца, говяжьи языки, колбаса, домашние пироги, лепешки, сало.

— Верхние, слезайте! Нижние, подруливайте! — не унимался Абрам Мирзоянц.

Со всех сторон к столику потянулись руки, слышались шутки, смех. Лишь все еще пока вегетарианец Борис Семеркин, забравшись на верхнюю полку, тоскливо жевал свои олады, посыпанные сахарной пудрой, и превирал всех нас, истребляющих мясное.

На станции Мары нас догнал воинский эшелон. Красноармейцы в гимнастерках с защитными петлицами высыпали из вагонов за кипятком. Вид у всех был озабоченный, возбужденный, по всей вероятности, воинская часть ехала на фронт.

Утром под нами прогремел мост через Амударью, и вскоре начался Узбекистан. Исчезли наши необозримые песчаные барханы. Пустыня уступала место оазисам изобилия. Белели хлопковые поля, янтарные плоды гнули ветви деревьев, в разбегающихся во все стороны каналах журчала вода, по дорогам, обсаженным тополями, двигались арбы с огромными, выше человеческого роста, колесами. На станциях мальчишки в цветастых тюбетейках и девочки с тонкими стрелками заплетенных косичек выносили к поезду абрикосы, яблоки, виноград. Все стояло очень дешево.

Перед Урсатьевской наш старшой Попов обошел вагон, сообщая всем уже давно известную новость:

— Сейчас выходим. Быстренько собрать вещи.

В Урсатьевской мы сложили свои вещи посреди платформы, оставили дежурных и разошлись. Я отыскал почтовое отделение и, стоя у конторки, написал маме первую открытку, в верхнем углу которой вывел жирную цифру «1». (В октябре сорок пятого, перед самой демобилизацией, отправил маме письмо за номером 146. Мама же написала мне 267 писем. Такова статистика нашей военной переписки.)

Опустив открытку, я купил газету, отыскал местечко на скамейке и углубился в чтение.

— Ну, какие новости? — услышал я за спиной.

В газету через мое плечо заглядывал Яшка Ревич.

Новости были обнадеживающими. В Москве завершились переговоры, которые вели Сталин и Молотов с Чрез-

вычайным и Полномочным Послом Великобритании Стаффорд Криссом. Было подписано соглашение о совместных действиях в войне против фашистской Германии. На той же первой странице публиковалось большое сообщение Совинформбюро.

— «Итоги первых трех недель, — прочел я вслух, — свидетельствуют о несомненном провале гитлеровского плана «молниеносной войны». Лучшие немецкие дивизии истреблены советскими войсками. Потери немцев убитыми, ранеными и пленными за этот период боев исчисляются цифрой не менее миллиона. Наши потери убитыми, ранеными и без вести пропавшими — не более 250 000. ...Советская авиация уничтожила более 2300 немецких самолетов. ...Немецкие войска потеряли более 3000 танков»\*.

— Вот здорово! — воскликнул Яков. — Отложи еще три недели — что тогда останется от фашистского войска!

Его взгляд скользнул вниз по газетному листу, задержался на Указе Президиума Верховного Совета СССР. Летчикам морской авиации капитану Антоненко и лейтенанту Бринько присваивалось звание Героя Советского Союза.

— Люди воюют, — протянул Ревич упавшим голосом, — а мы только учиться едем. К тому времени, когда мы закончим летные школы, только-то и останется у нас дел — катать в праздники пионеров или возить почту на серные рудники в Каракумы. Как полагаешь?

Я кивнул головой. Точно такие же слова говорил Виталий Сурьин на комсомольском собрании в нашей школе в день начала войны, и я был согласен с ним.

Из воинской кассы вышел наш старшой Попов.

— Быстренько к вещам, — бросил он нам с Яшкой. — Сейчас пересаживаемся на другой поезд.

Адрес конечного путешествия сужался: другой поезд мог идти только в Ферганскую долину.

Мы ехали еще одну ночь в ужасной тесноте. Пассажирское сообщение тут, видимо, было очень плохое, вагоны — маленькие и старенькие. Поднятые верхние полки образовывали сплошные нары, на них, забросив свои мешки, корзины, уалы, сидели и лежали люди. На каждой станции пассажиры все прибывали, заполняя тамбу-

---

\* Сообщение Советского Информбюро. М., 1944. Т. 1. С. 50—51.

ры, проходы. Под утро на каком-то разъезде у нашего открытого окна возник молодцеватый военный с двумя треугольниками в петлицах голубого цвета и в синей суконной пилотке.

— Ребятишки, пособи́те залезть в окно, — взмолился он, — никак не протиснешься через двери, а мне очень надо.

Яшка ухватил протянутые руки сержанта, и тот, отчаянно пыхтя и забавно дрыгая нүгами, в конце концов забрался в вагон.

— Авиация? — деловито осведомился Яков.

— Она самая, — засмеялся военный. — Разрешите представиться: сержант-пилот Коврижка.

— А мы только едем учиться, — сообщил Мирзоянц. — Тут где-то должна быть летная школа. Не знаете?

— Ну, раз едете учиться, то где-то она должна быть. — Сержант-пилот многозначительно прищурил глаз.

Посыпались вопросы:

— А что за школа?

— На чем будем летать?

— Кем выпустят?..

— Ишь, какие быстрые! «Кем выпустят?» — засмеялся сержант-пилот. — Поживете — увидите.

Я смотрел на Коврижку широко открытыми глазами. Это был первый летчик, которого я видел так близко и с которым говорил так запросто. Впрочем, наш попутчик быстро перевел разговор с небесных тем на земные. Мы тут же узнали, что недавно на танцах он познакомился с весьма симпатичной девушкой. Проводил ее до дому. Она пригласила зайти выпить чаю. Зашел. Только сел за стол, протянул руку к сахарнице, как в комнату влетел полковник — начальник гарнизона.

— Как вы осмелились явиться в мой дом, сержант?! — взревел он. — А ну встать! Нале-во! В дверь шагом м-арш!

— Замаршировал я по улице, — рассказывал Коврижка. — А этот старый хрыч высунул лысую голову в окно и орет: «Выше ножку, сержант! Лево́й, лево́й!» В другое окошко глядит полковничья дочь и хохочет до упаду. Ей, видите ли, весело... Потом я познакомился с младшей сестренкой директора техникума и опять пустышку потянул. Плюнул я на всех этих городских барышень и завел дружбу, скажу по секрету, с медсестрой из пионерлагеря хлопкового завода. И не жалею. Только, как види-

те, живет она далековато. После отбоя туда, перед подъемом обратно. Что поделаешь, пока выкручиваюсь.

— Поездом, конечно, далеко ехать, — посочувствовал Яшка. — А если самолетом? Ведь аэродром тут же, рядом?

— Да как вам сказать? — Коврижка не поддался на примитивную хитрость Якова. — Одним словом, за любовь надо платить километрами. А вот мой товарищ по эскадрилье Петька Дроздец устроился еще лучше.

И Коврижка стал с восхищением рассказывать о ночных похождениях этого Петьки.

Я так, собственно, и не понял до конца: то ли амурные дела казались сержанту Коврижке куда важнее летно-подъемных, то ли он, рассказывая всякие байки, уходил от наших вопросов о летной школе.

На станции Скобелево нам надо было выходить. Выходил и Коврижка. А поезд, постояв три минуты, пошел дальше на Андижан, фыркая и пыхтя изо всех своих стареньких сил.

— А что мы здесь будем делать? — спросил Яков.

— Здесь вам делать нечего, — ухмыльнулся сержант-пилот. — Зато Фергана рядом. Ну, я побежал. Мягкой посадки вам желаю. Авось свидимся...

(Потом мы узнали, что сержант-пилот Коврижка был инструктором нашей летной школы, только в другой учебной эскадрилье.)

До Ферганы было теперь несколько километров, наш старшой Попов сказал, что нас должны встретить. Встречающие между тем не появлялись, и мы разбрелись по станции. За одноэтажным приземистым станционным зданием на небольшой площади у арыка шипела жаровня, источая аппетитный запах жареного бараньего мяса. Маленький босой узбечонок в тубетейке размахивал над жаровней двумя дощечками, извлекая искорки из тлеющих угольков. Рядом за столиком седобородый дедушка, не глядя на острый нож, ловко настругивал тончайшие ломтики лука.

— Давай хлопнем по палочке, — предложил мне Яков, глотая слюнки. — Когда еще доведется поесть шашлыка?

Маленькие, хорошо прожаренные кусочки мяса оказались необычайно мягкими и сочными. Мы взяли по второй палочке, по третьей да так и не заметили, как группа построилась. Вдоль шеренги важно прохаживался сержант с голубыми авиационными петлицами. Мы побросали недоеденные шашлыки, подбежали к сержанту!

— Простите, опоздали.

— Вижу, — недовольно бросил сержант. — Быстро становитесь в строй. И чтоб вы у меня ворон ловили в последний раз. Здесь армия, а не танцплощадка, где расплясывают с бабенками.

Если учесть полуночные откровения сержанта Коврижки, женская тема немало занимала умы здешних летчиков. (Впрочем, вскоре мы разобрались, что не все наши командиры, хвастающиеся голубыми петлицами, летчики. Многие, как, например, встречавший нас сержант Ахонин, были присланы из пехоты, чтобы заниматься с нами общевоинской подготовкой, водить строем в столовую, на аэродром, следить за нашим внешним видом, за порядком в казарме, назначать в суточный наряд.)

— Напра-во! — подал команду сержант Ахонин. — Шагом м-арш!

И мы пошли в Фергану.

Наша ашхабадская группа была первой, прибывшей в 23-ю Ферганскую летную школу пилотов, которая только что открывалась. Она размещалась в казармах кавалерийской части, ушедшей на фронт. Впрочем, кое-какие подразделения кавалеристов еще оставались, поэтому в качестве моих самых первых воспоминаний о летной школе остались конское ржание, запах прелого навоза да бодливый козел Борька, вольнонаемная фигура в конюшне, мнящая себя, однако, выше всех боевых коней.

Сразу же по прибытии в школу нас повели на вещевой склад, выдали форму. Сложить свою гражданскую одежду в мешочки и переодеться было делом десяти минут. Теперь мы с дружным хохотом оглядывали друг друга. Было так необычно видеть Абрама Мирзоянца или Яшку Ревича в тяжелых кирзовых сапогах, в широченных галифе, в гимнастерках, собиравшихся почему-то гармошкой на спине. Мы пробовали отдавать друг другу честь, гримасничали, толкались. Это были очень веселые минуты, пожалуй самые веселые из всех дней, месяцев и лет, проведенных в армии...

На складе нам выдали также наволочки и матрасы, и мы пошли набивать их соломой к стогам у кавалерийских копошен. Потом нам показали места на двухэтажных металлических койках, повели на обед. До вечера было свободное время, мы отправились на прогулку по военному городку. Городок имел вполне обжитой вид: почта, продовольственные и промтоварные палатки, клуб,

за коробками казарм стадион с футбольным полем, волейбольными и баскетбольными площадками, легкоатлетическим сектором, полосой препятствий.

Наутро — первые занятия. Путь в небо начинался с маршировки по земле. Сержант Ахонин вывел нас на открытую площадку, разбитую сотнями и сотнями конских копыт. Сначала мы маршировали по одному, потом по двое, строились в колонну и в шеренги, сдваивали ряды...

— Выше ногу! — неистовствовал сержант Ахонин.

Жаркое среднеазиатское солнце уже подкатывалось к зениту, наши сапоги вздымали тучи пыли, спины гимнастеров задубели от пота, быстро превращавшегося в соль, а мы все сдваивали ряды, расходились по команде сержанта и снова собирались в строй.

Наконец сержант разрешил пятиминутный перекур. Ребята были измотаны вконец. Я подошел к Люське Сукневу. Он никак не мог поднести зажженную спичку к папиросе, руки его дрожали. Борька Терехов сел прямо на раскаленный песок. Абрам был бледен как полотно. Все молчали, устали настолько, что никто не мог говорить. И вдруг я увидел, что кто-то из наших идет на руках, неуклюже болтая в воздухе пыльными сапогами. Господи, да ведь это Яшка!

Пройдясь вокруг нас, Яшка вскочил на ноги, достал из заднего кармана черную расческу, приложил к вытянутым губам, оскалил зубы, поднял бровь.

— Смотрите, Гитлер! — ахнул Гаврик Еволин. — Как похож!

— А теперь на кого? — задорно крикнул Яков.

Он опустил плечи, широко развернул стопы ног и качающейся походкой Чарли Чаплина стал медленно подходить к сержанту Ахонину.

— Отставить! — рявкнул наш командир. — Вы чего здесь балаган устраиваете?

Все засмеялись. Сержант обиделся.

— Кончай перекур! — скомандовал он, поднимая руку вверх. — В колонну по два становись!

И снова мы затопали по пыльной площадке. Но только теперь ноги шли быстрее, а руки работали сноровистей. Ребята вспоминали Яшкины фокусы, и на запекшихся губах появлялась улыбка...

Мне суждено будет прослужить с Яшкой Ревичем только один год. Ровно через год, месяц в месяц и день в день, мы положим его на дно стрелкового окопа, выры-

того в огороде на Плехановской улице Воронежа, и за-  
сыпшем землею. Но память о Якове у нас, вернувшихся  
домой, останется на всю жизнь. И всякий раз на встречах  
бывших однополчан кто-нибудь обязательно скажет:

— А помните Яшку?

— Как же не помнить! Наш весельчак, заводила...

Не только мне, но и всем остальным Яков скраши-  
вал, как мог, первые, самые трудные дни армейской  
службы. Трудно было понять, откуда у него находились  
еще силы веселить нас в короткие минуты отдыха. Он  
удачно подражал популярным артистам. Пел частушки  
собственного сочинения. Рассказывал массу историй, мно-  
гие из которых придумывал сам. По случаю. На злобу  
дня. Всегда к месту...

Спустя сорок лет я написал очерк в память о Якове  
Ревиче и назвал его «Нештатная должность». Да, он за-  
нимал нештатную должность, которую можно было бы  
назвать так: помощник политрука по веселой части. Мне  
доводилось потом нести службу в разных местах, и в  
каждой роте, батарее, эскадрилье был свой весельчак,  
острослов, балагур. И хотя ему отводился сложный участ-  
ток работы — помогать политработникам создавать хоро-  
шее настроение у бойцов, — таких ребят не назначал ко-  
мандир, не выбирали товарищи. Они утверждались в своей  
нештатной должности сами. Это было непросто. Ведь  
не каждого будут слушать, не каждого просить:

— А ну, приятель, изобрази! Расскажи что-нибудь та-  
кое!

Яшку просили. И он никогда не отказывал. Свою по-  
следнюю шутку он рассказал нам за пять минут до того,  
как ушел в свою последнюю разведку...

А тогда, после первых в нашей жизни строевых заня-  
тий, сержант Ахонин приказал нам с Яшкой мыть в ка-  
варме полы после отбоя. Яшку он наказал за то, что ре-  
шил, будто его хождение на руках было направлено на  
подрыв авторитета младшего командира; меня, должно  
быть, за то, что я громче всех смеялся Яшкиным шут-  
кам...

— Можете мыть полы, стоя на руках, это у вас хоро-  
шо получается. К тому же и меньше последите, — попы-  
тался сострить сержант Ахонин.

Между тем в школу начали прибывать команды из  
Москвы, Тулы, Рязани, Алма-Аты, Фрунзе, Чимкента,  
Самарканда. Среди алмаатинцев я увидел Виктора Ша-  
повалова. Он играл вратарем за динамовскую команду

своего города, приезжал к нам в Ашхабад, и вот ему-то я и забил гол, о котором вспоминала Зоя в наше последнее свидание у ее калитки в день начала войны.

— А, левый хавбек! — закричал он, радуясь нашей неожиданной встрече.

Военное обмундирование им еще не дали, он был в клетчатых брюках-клешах необычайной ширины и в бело-голубой динамовской футболке со шнурками.

— Давно ли здесь? — спросил меня Виктор.

— Пятый день, дорогой голкипер, — ответил я, пожимая руку этого высокого голубоглазого красавца.

— Ну, как тут у вас?

— Да ничего, терпимо.

— Значит, скоро полетим?

— Полетим на ХВ — на халяве боком, — похваляясь своими авиационными познаниями, ввернул я в разговор только что услышанную присказку. — А пока маршируем на плацу и моем полы.

— Тоже дело, — прищурил глаз Виктор. — А как тут насчет этого?

Острым носком парусинового полуботинка он ловко подел гальку.

— Футбольное поле есть, а команда соберется.

— Тогда жить можно, — улыбнулся алма-атинский вратарь и помчался догонять своих.

Сначала мы жили земляческими командами, потом нас стали тасовать. Всех курсантов разбили на две эскадрильи, каждую эскадрилью — на три отряда, отряд — на три звена, а звено — на четыре учебных экипажа. В нашем экипаже оказались три ашхабадца — Яков Ревич, Абрам Мирзоянц и я, алмаатинцы Виктор Шаповалов и Анатолий Фроловский, москвич Вовка Чурьгин и Эдик Пестов из Кишинева.

— Собственно, я из Бухареста, — сообщил нам Эдуард при знакомстве. — Но вот поехал навестить больную бабушку в Кишинев, а тут в Бессарабию вступили советские войска. Вот и остался.

Говорил Эдик с заметным акцентом, но производил впечатление начитанного, культурного парня, все-таки за его спиной была классическая гимназия. От него я услышал, что Илья Эренбург написал книги, о которых я не знал: «Хулио Хуренито», «Тринадцать трубок».

— Но я все время думал, что Эренбург француз, мы изучали его в разделе французской литературы, — сказал Пестов.



Видно, и классическое обучение имело свои пробелы. Впрочем, и в нашей школе об Эрэнбурге нам почти ничего не говорили.

Тем временем начались классные занятия. Их вели грамотные, хорошо подготовленные офицеры, в основном отчисленные из строевых частей по состоянию здоровья. Мотор «М-11» преподавал воентехник второго ранга Белецкий, ходил он на протезе. Впечатлил нас своей внешностью штурман Малашкин, молодой, лет под тридцать, но совершенно седой человек.

Рассказывали, что поседел он за несколько секунд. В тот день с бомбардировщика ТБ-1 будущие десантники под руководством инструктора совершали первые прыжки. И вот штурман Малашкин вышел из кабины и заглянул в люк посмотреть, как далеко внизу раскрываются грибки парашютов. А надо сказать, что не все обучающиеся так уж стремительно ныряли в безбрежное небо. У некоторых в самый последний момент ноги становились свинцовыми, и казалось, нет такой силы, которая могла бы их оторвать от трясущегося пола самолета. Но такая сила была. На помощь оробевшим приходил инструктор. С возгласом «Пшел!» он толкал робких в люк, придавая им таким путем первоначальную полетную скорость. А штурман Малашкин улыбался. Улыбался до тех самых пор, пока инструктор, приняв его за курсанта, не схватил за плечи с явным намерением столкнуть вниз. Штурман закричал, шум мотора заглушил его крик. Только тогда, когда ноги штурмана болтались уже в небе и он цеплялся из последних сил, инструктор обнаружил, что выталкивает из самолета члена экипажа, не надевшего к тому же парашют.

Вот почему на занятиях по навигации мы старались вести себя предельно тихо, щадя изрядно потрепанные нервы капитана Малашкина.

Впрочем, и на других занятиях ребята были собраны и внимательны: ведь стать летчиком было нашей мечтой. А для этого прежде всего нужны были знания. В наших конспектах замелькали неведомые нам слова и понятия: угол атаки, расчалки, элероны, альтиметр, трубка Пито, трубка Вентури... Мы изучали теорию полета, аэродинамику, матчасть самолета, винтомоторную группу. Штудировали учебники и наставления, после занятий задерживались в классах, разбирались в схемах, чертежах, копались в моторе, выставленном на стенде. Много работы было на будущем аэродроме: ровняли площадку под

взлетно-посадочную полосу, рыли котлован для склада ГСМ — горюче-смазочных материалов, готовили самолетные стоянки.

Война была от нас пока очень далеко, в школе шла размеренная курсантская жизнь. Меня избрали в комсомольское бюро эскадрильи, я отвечал за стенную печать и за работу драмкружка. Мы с Виктором Шаповаловым побывали в гарнизонном Доме офицеров, получили для футбольной команды бутсы, трусы, майки. Бутсы были старые, порядком разбитые; я порадовался, что захватил свои из дома.

Седьмого августа — в воскресенье — школа принимала присягу. Мы готовились к этому событию как к большому празднику. С утра подмели двор, присыпали дорожки песком, полили цветочные клумбы. В одиннадцать наш отряд выстроился у клуба. На фронтоне здания легкий ветерок колыхал транспарант, который написал Вовка Чурыгин, студент Московского высшего художественного училища. Текст был взят из Советской Конституции: «Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР».

За столом, покрытым куском кумача, сидели комиссар школы Гончаров, командир отряда старший лейтенант Иванов, командиры звеньев. С ними были и гражданские — секретарь горкома партии, представители трудящихся Ферганы. Курсанты по очереди подходили к столу, поворачивались лицом к строю, брали в руки отпечатанный текст присяги и, стараясь не выдать своего волнения, читали вслух:

— «Я — гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Красной Армии, торжественно клянусь...»

Потом к нам обратился комиссар школы:

— Недалек день, когда вам доверят грозные боевые машины. Вы только что приняли присягу на верность Родине и народу, и я уверен, что в бою с германским фашизмом — нашим смертельным врагом — не посрамите честь родной летной школы, станете прославленными летчиками, мастерами воздушного боя...

Выступала молодая черноглазая узбечка, работница текстильной фабрики. На ней было цветастое шелковое платье.

— Я желаю, чтобы ваши родители увидели всех вас живыми и здоровыми, когда вы вернетесь домой с победой!

От курсантов говорил тоненький, как балетмейстер, паренек, курносый, щеки в огненных веснушках. Я даже удивился, почему выбор пал на него, в роли выступающего Виктор Шаповалов, например, смотрелся бы куда лучше. «Балетмейстер» сказал:

— Заверяем командование школы, рабочих Ферганы и колхозников Ферганской долины, что, не жалея сил, будем овладевать знаниями, летным мастерством, чтобы стать умелыми, полезными Родине воинами. А когда полетим в бой, то полетим, побеждая...

В пять часов начался спортивный праздник. Ребята состязались в беге, в гимнастике, в преодолении полосы препятствий. Центральным событием был футбольный матч, мы играли с командой кавалерийской части. Виктор Шаповалов стоял в воротах, я выступал на своем обычном месте, в полузащите. Кавалеристы были здоровыми, крепкими ребятами, к тому же постарше нас лет на пять. Мяч их слушался плохо, зато они отчаянно толкались и лягались не хуже своих коней. В первом тайме Яшка Ревич, обведя всю защиту, забил гол, Толька Фроловский — второй, и я — еще один, со штрафного. После перерыва Шаповалову надоело выгладеть в воротах посторонним человеком, не участвующим в игре. Он упрямил Якова занять его место, а сам пошел на левый край. И отличился: мяч, пробитый им издалека, влетел в самый угол ворот.

Вечером выступавшим на спортивном празднике в качестве поощрения дали увольнительные в город. После ужина сержант Ахонин выстроил нас в одну шеренгу и, медленно переходя от одного к другому, начал придирчиво осматривать. Внешний вид увольняющихся ему явно не нравился: у этого косо подшит подворотничок, у того левый сапог вычищен хуже, чем правый. Он распустил строй, дав на устранение отмеченных им недостатков четверть часа. Трех он все-таки забраковал начисто, отправил назад в казарму, остальным прочел длинную и нудную нотацию:

— За пределами части вести себя культурно. К женщинам не приставать. Не выражаться. Приветствовать всех встреченных командиров. Явиться в часть в 22.00.

Мы пошли втроем: Виктор Шаповалов, Яков Ревич и я. Фергана была намного зеленее, чем наш Ашхабад, стоявший на самом краю пустыни. Деревья отделяли кварталы от дорог сплошной зеленой стеной. Домов почти не было видно. Они напоминали о своем существовании

то возникшей из листвы плоской крышей, то балкончиком, то остекленной верандой. Над мостовыми поднимался пар: поливальщики улиц поработали на совесть. Солнце уже клонилось к горизонту, повеяло прохладой.

На вечерних улицах было довольно много людей, к нашему удивлению, попадались шумные компании гуляющей молодежи. В парке Дома офицеров играл оркестр. С танцплощадки доносилось шарканье подошв.

— А другие воюют, — вздохнул Виктор. — Слышали сегодняшнюю сводку? Дела не ахти. Бои идут на кексгольмском, белоцерковском, смоленском направлениях, а это значит — на дальних подступах к Ленинграду, Киеву, Москве. Минск, по всей вероятности, уже сдан. А здесь тапцульки.

— Что же делать, если пока есть возможность, — возразил Яков. — Ушлют на фронт, там уже не попляшешь под оркестр. Давайте заглянем на танцы. Может, в последний раз...

— Будешь вальсировать в эдаких сапожищах? — удивился Виктор. — Какая девушка с тобой пойдет? Можно найти занятые поскромнее.

— Ну, как знаете, — сказал Яков. — Значит, встретимся в казарме.

И помчался на звуки музыки.

А голкипер сборной летней школы потащил меня за собой. Шагал он быстро, я едва успевал. Вскоре улицы сузились, зелень поредела, кирпичные дома уступали место низким глинобитным строениям, выходящим слепыми стенами в глухие переулки. Наконец лабиринт улочек вытолкнул нас к хаусу\*, вокруг которого шумел, звенел, нестрел всеми красками восточный базар. Прекрасно ориентируясь в незнакомой обстановке, Витька уверенно протискивался между тесных рядов, где бойко торговали курдючным салом, дынями, лепешками, самсой — печеными пирожками с луком, обошел чайхану, где посетители, отставив пиалы с недопитым чаем, восторженно наблюдали, как две нахохлившиеся перепелки отчаянно наскакивали друг на друга. Зрители азартно кричали, шла крупная игра, на перепелок ставили деньги: чья победит, тот и снимал кон.

Перепелиный бой Виктора не волновал, он остановился возле сбитой из досок палаточки, на которой по-русски

---

\* Хаус (вост.) — бассейн.

было написано: «Вино». У бочки средних размеров сидел ежущающийся продавец в чалме и ватном халате.

— Два стакана! — распорядился Виктор и подмигнул мне: — Это отличное крепленое, типа портвейна. Ты любишь?

Я неопределенно крикнул. За всю жизнь я выпил стакан пива на выпускном вечере да полкружки водки у столяра Игната. Теперь мне предстояло познакомиться с третьим хмельным напитком — вином. Я хлебнул из стакана. Вино показалось мне противным, приторным до дурноты. А Виктор кейфовал. Бережно подняв стакан, он разглядывал вино на свет, пробовал на язык, чмокал и лишь потом начал пить мелкими глоточками.

— Крепленое, — повторил он с нескрываемой радостью.

К своему стыду, я не знал, что такое «крепленое», но, чтобы не пасть в глазах товарища, не спросил.

— А ты что не пьешь? — подтолкнул меня локтем Виктор.

Пить мне не хотелось.

— Набегался на футболе, устал, — соврал я.

— С устатка даже лучше пьется, — заметил Виктор. — Освежает.

Он выпил еще три стакана. Виктор был двумя годами старше меня, в армию попал после второго курса института физкультуры, я подумал, что ему наверняка приходилось участвовать в студенческих пирушках.

— Еще стаканчик, — заказал он.

— Не много ли будет? — попытался я его удержать.

— Ничего, купим жареных семечек, запах отобьет.

Витька поднялся из-за стола, заметно пошатываясь. Я долго прогуливал его по боковым улицам в надежде, что он отрезвеет, и у проходной Виктор был вроде бы в полном порядке. Но тут рядом с дневальным, открывавшим калитку, возник сержант Ахонин. Он держал на ладони карманные часы. Было 21.45 — мы пришли за пятнадцать минут до срока. Сержант спрятал часы, принюхался, сжал ноздри.

— Выпивали, товарищ курсант, а семечками закусывали? — нарочито ласковым голосом спросил он Виктора.

— Да. Позволил себе кружку пива. Только одну.

— Один наряд вне очереди, — тем же елейным голосом пропел Ахонин. — Повторите.

— Духан уже закрыли, — объяснил Виктор. — А то бы повторил.

— Не повторяйте! Повторите, что я сказал!

— Так повторять или не повторять? — спросил Виктор.

Сержант взбеленился.

— Ах, вы огрызаетесь, остроумничаете! — крикнул он, задыхаясь от гнева. — Не рассуждать!

— Буду рассуждать! — взорвался Виктор. — Всю жизнь меня учили рассуждать. Не рассуждают только ишаки, которые, ничего не думая, вышагивают «ать-два, левой!» А я стану летчиком! Вот тогда-то я припомню вам эту кружку пива! Будете топтать у меня строевой под мою команду!

Сержант Ахонин остолбенел, он не ожидал такого отпора. Судя по всему, он был ошарашен той мрачной перспективой, которую нарисовал Виктор. Навернсе, ему представилась такая картина: он марширует строевым шагом мимо этого курсанта, а тот распоряжается: «Выше ножку! Оттягивай носок! Распрями плечи!» Ахонин не нашелся что сказать, в сердцах сплюнул и пошел прочь. Но ничего не забыл. Витька мыл полы на следующую ночь...

Впрочем, самовластье сержанта Ахонина уже кончилось. В школу начали прибывать самолеты У-2, на которых должен был состояться наш путь в небо. Самолеты были старенькие, они повидали виды в осовавиахимовских аэроклубах, но нам казались неописуемыми красавцами, сильными, неудержимо рвущимися в воздух. Тут же появились инструкторы, ребята старше нас года на три, только что выпущенные из летных училищ сержантами-пилотами. Все они были немало огорчены и обескуражены: рвались на фронт — и вдруг на тебе! Угодили в тыл, вместо боевого истребителя — учебный тихоход, изволь выводить курсантов!

Инструктор нашего экипажа сержант-пилот Василий Ростовщиков прибыл в школу отдельно, видимо из летной части, было ему под тридцать; почему он задержался в сержантском звании, мы, конечно, не знали. Был он высок, могуч, в нем угадывалась огромная сила, сила добрая, не отпугивающая, а, наоборот, привлекающая неизменные симпатии и внушающая окружающим спокойствие и бодрость. И действительно, был Ростовщиков всегда уравновешен, спокоен, справедлив, чем выгодно отличался от своих молодых коллег, которые недостаток своего

педагогического опыта пытались компенсировать излишней суетливостью, горячностью, иногда криком.

В ту пору обучение проходило так. Инструктор садился в переднюю кабину, курсант — в заднюю. Управление самолетом было спаренным, вести машину можно было как из передней, так и из задней кабины. И там и тут были ручки, педали, рычаги, они двигались синхронно. Связь между обучающим и обучающимся была примитивной. К правому уху курсанта прикладывалась металлическая пластинка с трубкой (она так и называлась — «ухо»), выходявшей через дырку в шлемофоне. На трубку надевался мягкий резиновый шланг, переброшенный в переднюю кабину. Другой конец шланга был прикреплен к жестяной воронке. Прикладывая воронку ко рту, инструктор давал курсанту указания: «Крен, крен, неужели ты не видишь? Давай ручку влево!» Спросить что-либо у инструктора курсант не мог, обратной связи не было.

Ну, а пока полеты еще не начинались, мы продолжали теоретические занятия. Прибавилось изучение КУЛПа — курса учебно-летной подготовки. КУЛП — это очень умный учебник, в нем было по полочкам разложено, что надо делать курсанту от взлета и до посадки. КУЛП мы изучали на бездействующем пока аэродроме, садились в кружок, инструктор Ростовщиков читал параграф за параграфом, давал пояснения, потом обращался с вопросом:

— Вот вы, курсант Ревич, расскажите, как будете выполнять полет по коробочке? Что об этом говорится в КУЛПе?

— Выруливаю на взлетную площадку. Получив разрешение стартового наряда, которое подается от машкой белого флажка, большим пальцем левой руки включаю опережение, газ, а когда мотор наберет полные обороты, двигаю ручку от себя. Самолет начинает разбег. Когда колеса оторвутся от земли, то плавным движением выбираю ручку на себя. Слежу за набором высоты. Но вот стрелка альтиметра показывает сто метров. Делаю первый разворот. Для этого отжимаю левую педаль вперед и одновременно поворачиваю ручку влево...

— Все правильно, — останавливает его инструктор. — Курсант Фроловский, продолжайте...

— Развернувшись под углом в 90 градусов, — рассказывает Анатолий, — выравниваю машину. Плоскости занимают одинаковое положение по отношению к земле, ле-

чу параллельно шляпке посадочного «Т». Удерживаю капот на линии горизонта. Лечу дальше...

Фроловский запнулся.

— Значит, лечу, — мямлит он.

— И долго летите? — любопытствует Ростовщиков.

— Лечу... — идет ко дну Толька.

Мы прячем улыбки.

— Так до какого пункта летите? До Индии или в другую сторону, на Северный полюс? Курсант Пестов, под- скажите.

Эдуард отвечает без запинки.

— Молодец, Пестов, — доволен инструктор. — Поймите, друзья, КУЛП нужно знать наизусть. Это основа основ, ничего придумывать вам больше не надо, все предусмотрено, все есть. В нем — опыт многих поколений русских летчиков. И в значительной мере печальный опыт: небо не прощает отсебятины, приблизительности, недисциплинированности. Поэтому, если в КУЛПе говорится, что скольжение нужно делать так, поступать нужно точно таким же образом. Любое отклонение ведет к катастрофе. Можно без преувеличения сказать, что каждая строчка КУЛПа написана не чернилами, а кровью самонадеянных авиаторов.

Мы сидим на пожухлой под жарким августовским солнцем травке у «тринадцатой-белой». Эту машину закрепили за нашим экипажем, на ней мы будем летать. Правда, она вовсе не белая, а обычная, серо-зеленая, только возле самого «костыля», заменявшего на учебных машинах заднее колесо, нанесена неширокая, опоясывающая фюзеляж белая полоса.

Впервые увидев цифру «13» на хвосте нашей машины, Витька Шаповалов присвистнул:

— Вот это вытянули номерок! Кому-то из нас будет крышка, если не всем сразу! — Он в притворном отчаянии обхватил свою голову.

— Сия примета верна лишь для морского флота, в авиации же она теряет силу, — в том же шутовском тоне ответил сержант-пилот Ростовщиков. — Документально установлено, что наибольшее число орденосцев вышло из тех курсантов, которые обучались на машинах под тринадцатым номером. А если полеты к тому же начнутся в понедельник, быть вам всем Героями Советского Союза, не иначе...

Полеты начались в понедельник, 22 августа. В ожидании волнующего праздника осуществления дерзновен-



ной мечты о небе многие ребята не сомкнули глаз до трех часов ночи, когда был объявлен подъем. В четыре часа, после завтрака, мы строем двинулись на аэродром.

За окончательно опустевшими казармами кавалеристов начинались сады, окружавшие город плотным кольцом. Из низин там и тут выползали ключья предутренней дымки. Легкий, дрожащий пар цеплялся за ветки яблонь, но под лучами встающего солнца тут же растворялся в зеленой листве. Влажная от вечернего полива дорога хватала за сапоги. Потом воздух разорвал рокот, на аэродроме мотористы принялись опробовать моторы. Настроение у всех было превосходное: еще бы, идем на полеты! Яшка Ревич, в такт шагу раскачивая головой, мурлыкал себе под нос песенку на мотив утесовской «Гоп со смыком», пришедшую в Фергану из других летных школ: «Никогда я не был комсомольцем, но в армию пришел я добровольцем. И служил я для народа в ВВС четыре года, в результате младший командир... А когда полеты наступили, да-да! Эх, новой жизнью мы тогда зажили, да-да! Новой жизнью мы зажили, семь «эр-пярых» разложили, эх, была бы целая голова!..»

У «тринадцатой-белой» хлопотал моторист Николай Потапов. Через всю щеку младшего сержанта проходил багровый рубец: как-то при запуске мотора он не успел отскочить от винта. Чтобы лучше работалось, он закатал по локоть рукава промасленного насквозь комбинезона; на нем была жеваная-пережеванная пилотка и латаные-перелатаные сапоги. «Вечно грязный, вечно сонный моторист авиационный», да, нелегка его доля. Есть ли полеты или нет, в зной и в стужу, он встает еще до зари, копается в моторе, контит гайки, заклеивает эмалитом продравшуюся перкаль, бегаёт по стоянке в поисках шведского ключа, заливает в бак горючее, меняет масло, проверяет тяги рулей глубины и поворота, делает десятки всяких других необходимых и срочных дел, и только тогда появляется летчик. После полетов летчик дает свои замечания о работе мотора и самолета и уезжает в городок, обедает, отдыхает, вечером идет в клуб. А моторист все ползает под брюхом машины до позднего вечера и при свете фонаря «летучая мышь» орудует ключиками, отвертками, прогревает, продувает...

Но зато... летчик улетает и не всегда возвращается, а моторист, погоревав о безвременно погибшем командире, получает новую машину и провожает нового летчика, быть может тоже в последний полет...

Младший сержант Потапов успел опробовать мотор, убрать колодки из-под колес, освободить элероны от струбцинок и теперь выбежал навстречу идущему к стоянке Ростовщикову:

— Товарищ сержант-пилот, машина к полету готова!

Мы уже выстроились у «тринадцатой-белой». Инструктор прошелся вдоль нашего строя. На нем был новый комбинезон, новые хромовые сапоги, безукоризненно уложенные волосы, до синевы выбритые щеки источали густые парикмахерские запахи.

— Итак, друзья, сегодня начинаем, — торжественно сказал Ростовщиков. — Поверьте мне, этот день навсегда останется в вашей жизни. Станете прославленными летчиками, будете командовать звеньями, эскадрильями, полками, начнете учить других, но этот радостный, волнующий день вы будете вспоминать очень часто. Поздравляю вас от души!

Еще не жаркое, по-утреннему ласковое солнце выкатилось из-за дальних гор и повисло над аэродромом.

— Будет ознакомительный полет по коробочке, — продолжал Ростовщиков. — Ноги курсанта спокойно лежат на педалях, правая рука свободно держит ручку, никаких усилий, машину веду я. Не пробуйте управлять. Все это потом. Постарайтесь уловить мои движения. Первым со мной полетит курсант Мирвоянц.

Ростовщиков поднялся в переднюю кабину, моторист Потапов начал медленно проворачивать лопасти винта.

— Контакт! — крикнул летчик, крутя ручку пускового магнето.

— Есть контакт!

— От винта!

— Есть от винта! — ответил моторист, отскакивая от пришедших в движение лопастей.

Мотор затарахтел. Инструктор надвинул на глаза очки-бабочки и поманил рукой Мирвоянца. Сияя от радости, Абрам забрался на плоскость, схватился за Н-образную стойку, обернулся к нам и показал язык: дескать, глядите, я вас обскакал, лечу первым!

«Тринадцатая-белая», распарывая костьюлем слегшийся песок, медленно поползла к старту. А мы вместе с мотористом Потаповым, оставшимся за старшего, побежали в «круг» — место на нейтральной полосе, где должны находиться курсанты всех экипажей, свободные от полетов. Тут можно сидеть, лежать, развалившись на травке, тра-

вить байки, но обязательно следить, где находится твоя машина в данный момент.

— Вон, смотрите, наша ушла со старта, Абрам полетел! — крикнул Яшка Ревич.

Еще какое-то время мы видели головы Ростовщикова и Мирзоянца, торчащие из кабин, и вот уже наша «тринадцатая-белая», быстро набирая высоту, становилась все меньше и меньше. На старт вырулила следующая машина. Инструктор, выбросив руку из кабины, просил у стартового наряда разрешения на взлет. Теперь уже летало двенадцать учебных машин — весь первый отряд. Самолеты поднимались, садились, брали курсантов и снова уходили в небо. Щурясь на солнце, мы наблюдали за нашей «тринадцатой-белой», ставшей совсем крохотной.

— Встать, смирно! — подал команду наш моторист.

Мы вскочили на ноги. Задрав голову вверх, мы и не заметили, что к нам подошел командир отряда старший лейтенант Иванов, невысокий, с саблеобразными, кавалерийскими ногами, подвижный, подтянутый, большеглазый.

— Товарищ старший лейтенант! Третий экипаж второго звена проводит полеты, — доложил Потапов. — В воздухе инструктор сержант Ростовщиков с курсантом Мирзоянцем.

— Вольно, садитесь. И я с вами немножко посижу, — сказал Иванов, опускаясь на траву. — Ну, что, ребята, и дождалась мы с вами наконец полетов. Сердечко небось прыгает в груди?

— Конечно! — воскликнул Яков Ревич. — Ведь первый раз полетим.

Иванов улыбнулся. Улыбка была доброй, ободряющей.

— А в десятый раз волноваться не будете? А в сотый? Уверяю вас, будете, друзья. Хорошее волнение перед вылетом никогда не пройдет. Я вот пятнадцать лет летаю. Конечно, перед тем как заложить боевой разворот или выполнить бочку, я уже не думаю, как учлет, какую нажать педаль или куда потянуть ручку. Выработался автоматизм движений. Но всегда, появляясь на аэродроме, испытываю волнующее чувство от близкого свидания с небом. Вы еще познаете это чудесное состояние, когда как бы сливаешься с машиной воедино. Она становится кроткой и послушной, выполняет все ваши едва уловимые, бессловесные команды, как обвезженный конь под лихим всадником. Но не возомните, что у вас с какого-то вылета все пойдет само собою. Нет и не может быть двух одинаковых полетов. Каждый раз в каждый полет нужно вло-

жить всего себя. В общем, летайте, дерзайте! И ничего не бойтесь. Николай Николаевич Поликарпов, наш советский авиаконструктор, подарил нам чудесную машину. У-2, как живое существо, ласков, терпелив, предан пилоту и, главное, верен в дружбе — вас никогда не подведет. Ну, желаю успехов!

Командир отряда поднялся и поспешил к другому экипажу.

Тем временем «тринадцатая-белая» произвела посадку, вырулила на нейтральную полосу. Из задней кабины выпрыгнул Мирзоянц.

— Пестов, в машину! — крикнул он, передавая шлемофон Эдуарду.

Мы все окружили Мирзоянца.

— Ну как там было? Скорее рассказывай!

— Сейчас вы все сами узнаете. — В глазах Абрама восторг. — Дайте закурить.

Он взял протянутую Шаповаловым папиросу, руки его дрожали.

Один за другим улетали мои товарищи, возвращались в «круг» возбужденные, просветленные, познавшие то, что еще предстояло познать мне. А я все еще томился в ожидании. Так же как и везде, я страдал из-за алфавита: создатели нашей азбуки Кирилл и Мефодий поставили мою букву почти на самый конец. И всегда моя очередь подходила чуть ли не самой последней. Но вот Виктор Шаповалов, обошедший меня по третьей букве своей фамилии, передал мне шлемофон. В два прыжка я оказался на плоскости и плюхнулся в кабину. Едва соединил «ухо» со шлангом, как услышал голос Ростовщикова:

— Положи ноги на педали, возмись за ручку. Только напоминаю: не пробуй управлять, машину веду я. Старайся понять, что я делаю. Сопоставляй с требованиями КУЛПа. Сейчас взлетаем!

Ростовщиков прибавил обороты, мотор заревел, машина рывками пошла вперед, пока не замерла на взлетной полосе. Я увидел, что рядом со стартером стоит командир отряда Иванов, машет белым флажком: дескать, не задерживайте, взлетайте скорее! Инструктор дал полный газ, мотор взревел, машина, подпрыгивая на бугорках, набирала скорость, поднялась на оба колеса. Но вот тряска прекратилась; оглянувшись назад, я понял, что мы оторвались от земли. За хвостом в песчаной дымке таял склад ГСМ, автоприцеп с питьевой водой стал совсем игрушечным, «круг» с ожидавшими полета курсантами напоминал

муравейник. Проплыли под крылом кавалерийские казармы, дорога на аэродром казалась уже не шире парашютной стропы.

— Не верти головой, сосредоточься, — донесся до меня голос Ростовщикова, он видел меня в зеркальце из своей кабины. — Посмотришь на землю, когда наберем высоту. Следи за альтиметром, скоро будем делать первый разворот.

Стрелка прибора закачалась на отметке сто метров. Почему же сержант не делает разворота?

— Ну вот теперь взгляни на землю, — позволил инструктор. — Ориентировался? Аэродром видишь?

Я опять оглянулся. Но что такое? Я не увидел ни «круга» с курсантами, ни взлетной полосы. Аэродром исчез. На том самом месте, откуда мы только что поднялись, разливалось зеленое море городской окраины, в котором островками желтели плоские крыши домов.

— Не там ищешь, — усмехнулся сержант. — Посмотри налево.

Слева почему-то оказался аэродром. Я тут же отыскал стартовое «Т», к которому, словно мухи, ползли самолетки. Значит, мы уже сделали разворот, догадался я. Почему же я не ощутил никаких движений ручки и педалей? Может быть, оттого, что я совсем неспособный парень? Теперь я летел как в тумане. Будто оцепенел. За ушами медленно разливался холод, во рту стало сухо. Сердце, которое еще минуту назад колотилось так сильно, что готово было выскочить из груди, стучало теперь где-то далеко, совсем тихо и так медленно, что вот-вот останется совсем.

Я поднимался в небо орлом, мечтал, чтобы в кабине самолета меня хоть одним глазком увидела Зоя, мои друзья Колька Алферов, Рубен Каспаров, мальчишки из нашего двора, мама... А теперь я чувствовал себя маленьким, общипанным воробушком, всем своим существом зависящим от воли инструктора Ростовщикова, казавшегося мне сейчас волшебником, сверхчеловеком, эдаким апостолом Петром, открывающим небесные ворота лишь для достойнейших...

Ощувив секундное головокружение, я закрыл глаза и вдруг отчетливо представил себе край свинцового военного неба, падающий клубок бьющихся истребителей, огненные пулеметные трассы, белые шапки разорвавшихся вентильных снарядов... А что я? Пойму ли когда-нибудь,

как надо вести самолет? Получится ли из меня летчик? Смогу ли я победить врага?..

Далькое видение исчезло. Высокий голубой купол прозрачного небосвода по-прежнему покрывал аэродром. Внизу, как на учебном макете рельефа местности, лежала ухоженная земля, белели хлопковые поля, разрезанные на квадратики черной паутиной арыков; солнечные лучи купались в золотистом зеркале большого водохранилища, лежавшего у гор; за зеленым разливом садов крохотный паровозик тащил вагончики величиною со спичечный коробок. Но вот земля исчезла, на меня стал наплывать кусок неба; теперь я понял, что летчик заложил крен, выполняя второй разворот. Третий разворот я тоже уловил. После четвертого увидел бегущий на нас аэродром.

— Заходим на посадку, — услышал я в «ухе». — Правда, промазали мы с тобой малость, придется подскользнуться.

Из КУЛПа я знал, что такое скольжение. Ручку подать влево, правую педаль вперед и убрать газ, — тогда самолет начинает быстро терять высоту. Так оно и было на самом деле. «Тринадцатая-белая» шла к земле юзом. Из кабины потянуло. Сильный поток уносил с собою мельчайшие соринки, набившиеся на дне. Стало тяжело дышать, воздух пронесился мимо, не попадая в легкие. В висках застучала пульсирующая кровь.

Летчик вдруг дал газ, машина выровнялась и тут же взмыла вверх.

— Хуже нет летать в безветренную погоду, — вздохнул Ростовщиков. — Полный штить. Уходим на второй круг.

Над самой землей висело сплошное серое облако пыли, поднятое колесами десятков машин. Я заметил, что два белых полотнища посадочного знака «Т» сложены запрещающим крестом. Мы пошли на второй круг, потом на третий; пыль, казалось совсем потеряв вес, застыла в неподвижности. Когда мы наконец сели, полеты близились к концу.

— Тебе повезло, — улыбнулся инструктор. — Все сделал по одной коробочке, а мы с тобой три. — Я был, наверное, очень бледен, потому что он тут же спросил: — Ну, как самочувствие? Не укачало?

— Самочувствие нормальное, — ответил я, хотя мое состояние было ох как далеко от нормы. Я был переполнен впечатлениями, мне казалось, что видел сон наяву, просто не верилось, что я только сейчас был в небе. Нет,

мною владела отнюдь не безраздельная радость. Наоборот, в душе росла тревога. Раньше работа пилота представлялась мне доступной уму: повернул ручку вправо — самолет пошел вправо, потянул ручку на себя — самолет стал набирать высоту, отдал ручку до предела — вошел в пики... Теперь же я подумал, что рука летчика подобна руке скрипача, скользящей по грифу инструмента и находящей непостижимо как единственную точку на струне, рождающую нужный звук.

Я шел рядом с сержантом понуриив голову. Он угадал мои мысли, потрепал по плечу.

— А ты не тушуйся, не боги горшки обжигают, и не боги летают на У-2. Есть вещи и посложнее. Все достигается упорством, тренировкой. Не умеющий плавать вроде бы машет руками, как пловец, но его неудержимо тянет ко дну. А потом вдруг начинает получаться, машет, как и прежде, а глядишь, поплыл, вода держать стала.

— А бывает, что курсант так и не сможет вылететь самостоятельно? — спросил я упавшим голосом, как бы зачисляя себя наперед в этот самый низший разряд безнадёжных и бестолковых.

— Бывает, — огорчил меня Ростовщиков. — У одних начисто отсутствует координация движений, другие во время посадки не чувствуют расстояния до земли, третьи просто не могут никак сосредоточиться, собраться. Но такие — исключение.

Эти слова слышали уже все наши ребята, выбежавшие навстречу нам.

— Так что не сомневайтесь, друзья, все летать будете. Научиться водить самолет — дело, в общем, нехитрое. Вот и гонять мяч по полю могут все. Но таких мастеров, как центральный хавбек Андрей Старостин из московского «Спартака», единицы. Сколько пилотяг уютжат небо, и не сочтешь, а Валерий Чкалов был неповторим. Хорошим летчиком действительно стать трудно. Но ведь все зависит только от нас.

Окончательно внес успокоение в мою душу Виктор Шаповалов. Он шепнул мне в ухо:

— В футбол-то мы играть умеем, а вот летать... Ничего сегодня не понял, как он управлял самолетом: взлетал, делал развороты, садился...

Ну, слава аллаху, не только я один такой.

За инструкторами пришел ЗИС-5, Ростовщиков затопил, нам же предстояло идти в казарму пешком.

— Сегодня же заведите летные книжки, — сказал нам на прощание сержант. — Зайдите в палатку военторга, купите блокноты и на первой страничке сделайте такую запись: «22 августа 1941 года. Полет по коробочке, время пять минут»...

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, ЗАПИСЬ ЧЕТВЕРТАЯ...

«Закончил полный курс обучения в Ферганской летной школе пилотов. Декабрь 1941 года».

На войну мне писала мама...

Она отправляла письма каждый день: сегодня мне, завтра моему старшему брату Борису, который был курсантом военно-инженерного училища в городе Ростове Великом.

Иногда письма задерживались на почте, и тогда я получал сразу кучу новостей. Главная же новость состояла в том, что вторым из нашего класса ушел в армию Вовка Куклин, Ходячий Логарифм, наш блинорукий математик, который в мирное время вообще был бы непризывной. Перед отъездом в Ташкентское пехотное училище он забежал к моей маме попрощаться. Остальные ребята все еще ждали повесток. Кроме Кольки Алферова и Рубена Каспарова, которые, будучи моложе нас на год, готовились в пединститут. Ну, а о девчонках и говорить нечего: все остались дома и тоже собирались учиться в наших ашхабадских вузах — медицинском и педагогическом. От Зои ничего не было слышно, уехала и пропала. Об этом маме сказала Клава Колесова, которая тоже заходила к маме, чтоб узнать, как у меня дела.

А дела у меня шли своим чередом. Как-то ночью нас подняли по тревоге, и мы помчались на аэродром. Налетевший ураган сгибал до самой земли стволы молодых деревьев, обламывал ветки. По дорожкам всюю неслись ливневые потоки. Создавалась прямая угроза, что ураган опрокинет легкие учебные машины. Пугающие вспышки молний выхватывали из мрака ночи куски вязкой, как губка, дороги, чавкающей под солдатскими сапогами. Потом дорога исчезла вовсе, потонув в липкой трясине раскисших огородов.

Вокруг «тринадцатой-белой» носился моторист Николай Потапов. Из-под его сапог во все стороны летели ко-



мья жидкой грязи. Но что он мог один! Мы подросли во время.

— Четверо на плоскости, остальные на хвост! — распорядился он. — Наваливайтесь всем телом и держите! Машина может скапотировать.

Маленький учебный самолетик испуганно трепетал, как пойманное живое существо, старался освободиться от наших цепких объятий. Порывы ветра чуть не опрокидывали нас с ног. По стоянке с грохотом летели пустые бочки, бидоны, больно стегали по лицу пучки ветоши, обрывки перкали, вихрь швырял за ворот комбинезонов пригоршни водяных брызг, противные холодные струйки текли по спине, попадали в сапоги, доставали до самых пят.

К утру ливень кончился, ураган начал было стихать, половину курсантов отправили отдыхать в казармы. Но еще сутки мы посменно дежурили у машин, небо хмурилось, откуда-то налетали порывы ветра с дождем.

Лишь на третий день из-за туч брызнули солнечные лучи, стало нестерпимо жарко, быстро подсохли лужи, в воздухе закружилась пыль.

Полеты возобновились. Теперь мы летали каждый день. Делали две, три, а то и четыре посадки. Моя полетная книжка наполнилась новыми записями:

«29 августа. Полет по коробочке с инструктором. Время в воздухе — 5 минут. Замечания: медленно забираюсь в кабину, очевидно, не вижу разницы между самолетом и телегой. В воздухе верчу головой. Нет стабильности. При управлении самолетом движения слишком резки.

2 сентября. Полет по коробочке с инструктором. Время в воздухе — 6 минут. Замечания: нет стабильности. Иногда веду машину вполне нормально. Но вдруг наступает непонятный сбой. Наверное, думаю совсем о другом. Самолет теряет скорость или, наоборот, начинает пикировать...

12 сентября. Полет по коробочке с инструктором. Время в воздухе — 6 минут. Замечания...»

Этот полет был для меня особый. После второго разворота вдруг заметил, что локти инструктора лежат на бортике его кабины. Мне стало жутко. Наверное, такой же ужас испытал Робинзон Крузо, когда на песчаной отмели необитаемого острова внезапно заметил челове-

ские следы. Если мой сержант не управляет машиной, то, значит, ее веду я... Но ведь это невозможно!..

— Крен, крен! — закричал инструктор, не убирая локтей с бортика. — Гляди же на расчалки: одна у тебя вверху, другая внизу! На меня не надейся, выравнивай сам!

Машина действительно заваливалась вправо, теряла скорость.

Я схватил ручку управления левой рукой, а освободившаяся правая легла на рычаг газа. «Тринадцатая-белая» тут же заняла нормальное положение по горизонту.

— Ну вот, теперь все в порядке, — похвалил Ростовщиков. — Почему же ты так медлил минуту назад? О чем думал? Что с тобой происходило?

Я не мог открыть своей тайны. Вести самолет левой мне было намного легче. Точно так же, как когда-то писать в детстве. В первом классе правой рукой я выводил какие-то каракули. Но когда учительница отворачивалась, я тут же переключал карандаш в другую руку. Не было ей труда разгадать мою хитрость. К тому же на помощь учительнице пришла моя мама. Дома, пока я готовил уроки, мама сидела напротив и смотрела. Я старался, как мог. Но буквы в моей тетрадке разбежались в разные стороны, перепрыгивая через кляксы.

— Ничего, — ободряла меня мама, — вато ты учишься писать правой.

Зачем заставляют детей писать неудобной рукой, я не понимал да и не понимаю до сих пор. За те годы, что я в слезах и муках переключал карандаш из руки в руку, я мог бы научиться играть на пианино или в совершенстве овладеть английским языком. А я все слушал и слушал в школе и дома: «Опять взял карандаш левой. Да сколько тебе можно говорить!» И лишь в четвертом классе, к величайшей радости мамы, я начал писать правой. Но все остальное делал левой: рисовал, чертил, резал хлеб, пилил, забивал гвозди, давал сдачи обидевшим меня ребятам, стрелял из пугача, снимал с керосинки чайник. И не чувствовал никаких неудобств. Даже гордился, что такие великие люди, как Леонардо да Винчи, Чарли Чаплин, Маяковский, были левшами.

Но что было теперь делать мне, курсанту-левше, когда все управление самолетом приспосаблило под правую руку! Там, где требовались сила, ловкость, твердость, точность движений, мне приходилось орудовать левой. Попробовали бы ребята из нашего экипажа делать разворот

слабейшей рукой! Много ли у них получилось, что бы им сказал Ростовщиков!

С того самого дня, как начались полеты, я решил упорно тренировать правую руку. За обедом ложка по привычке просилась в левую, а я брал ее правой. Есть было неловко, ложка норовила пройти мимо, борщ плохо попадал в рот. На волейбольной площадке у меня вдруг перестала получаться подача.

— Что с тобой? — шипел наш капитан Витька Шаповалов. — Простейший мяч не можешь перебить через сетку. А ведь игра — в зачет!

Я оказался у сетки при угрожающем счете 13:14, выхода не было — я срезал левой три мяча, наша команда все-таки выиграла. На аэродроме, ожидая полета, я незаметно уходил подальше из «круга» и швырял гальки. Бросок получался какой-то бабий — из-за головы.

Ну, а пока в моей полетной книжке в графе «Замечания инструктора» появлялись все те же записи: «Нет стабильности. Временами забываю об управлении, допускаю крен, не слежу за скоростью. Однако, когда захочу, делаю все, как надо».

«Когда захочу...» Это когда инструктор выходил из себя и кричал в переговорный планг: «Мешок с соломой! Кусок дерьма! Слон в посудной лавке!» Тогда я брал управление левой. Ростовщиков успокаивался и, как бы извиняясь за свою грубость, говорил:

— Ну вот, теперь совсем другое дело. Молодец! Так и держи!

Так держать тоже было непросто. Регулятор газа помещался слева, я тянулся к нему правой, руки сплетались крестом, мешали друг другу, наполнялись тяжестью, быстро уставали. Я прекрасно понимал, что так далеко не улетишь. Нельзя же нелепо и неестественно вести боевую машину! Я увеличивал нагрузку на правую руку, по сто раз выжимал булыжник, на классных занятиях не переставая мял пальцами теннисный мячик. Я мечтал стать летчиком и был полон решимости добиться своего.

И вот когда однажды в полете инструктор закричал «Крен, крен! Мешок с соломой!» — я схватился, как всегда, за ручку левой, но тут же почувствовал, что вести машину мне стало неудобнее, труднее. Я вернулся к прежнему положению и навсегда поставил левую руку на место — к рычагу регулятора газа.

И никто так и не узнал, что я одержал над собою огромную победу, я был безмерно счастлив оттого, что

к решающему рубежу не отстал от своих товарищей. В экипаже я вылетел третьим, в звене — девятым. А самым первым во всей школе выпустили курсанта из нашего же звена. Случилось это совершенно неожиданно. Вдруг по аэродрому пронеслась весть:

— Курсант полетел сам! На «седьмой-белой»!

— Уже сам! Неужели? Как он успел?

— Вон, глядите, заходит на посадку!

«Седьмая-белая» приземлилась у посадочного знака, отколола легкого «козелка» и, замедляя скорость, подрулила к центральному кругу. Здесь уже были командир отряда Иванов, командиры звеньев, техники, свободные от полетов инструкторы других экипажей. Все размахивали руками, кричали, ничего нельзя было разобрать. Толпа курсантов побежала встречать нашего пионера. А пионер едва стоял на ногах. Был он растерян, ошарашен, страшно смущен. Не отвечая на сыпавшиеся со всех сторон вопросы, глуповато моргал редкими рыжеватыми ресницами. Вида он был совершенно не богатырского: невысокий, щупленький, с тонкой, девичьей талией. В нем я, к своему удивлению, узнал того самого паренька, который в день принятия присяги от имени всех курсантов выступал перед строем. Значит, знали, кому давать слово!

Набежал фотограф, отогнал всех от виновника торжества, щелкнул затвором. А вскоре на большом щите у цистерны с питьевой водой появилась молния: «Горячий комсомольский привет курсанту Ивану Чамкину, совершившему первый самостоятельный вылет!» Под приветствием красовалась фотография.

А мы продолжали летать с инструктором. Правда, все чаще в полете Ростовщиков показывал нам свои локти, а в наших полетных книжках стали появляться такие записи: «Замечания инструктора. Нет».

Иван Чамкин, паренек из города Шацка Рязанской области, опередил всех нас только на четыре дня. А потом курсанты, точно оперившиеся птенцы, начали один за другим вылетать из родного гнезда. В нашем экипаже вылетел Абрам Мирзоянц, на следующий день Виктор Шаповалов: он поднялся в небо, опередив меня на двадцать минут.

Когда в передней кабине место инструктора занял командир отряда Иванов, я понял, что и меня выпускают. «Неужели считают, что пришел мой черед?» — похолодел я.

— Что ж, давай посмотрим, чему ты научился, — услышал я в «ухе» голос старшего лейтенанта. — Считай, что меня здесь нет. Все делай сам. Ты управляешь самолетом, а я при этом только присутствую.

Я вырулил на валетную полосу. Получил разрешение стартера, дал газ. «Тринадцатая-белая» разбежалась и взлетела. Все выше и выше. Я прислушался, ожидая замечаний, но «ухо» молчало. Командир отряда, казалось, начисто забыл обо мне. Положив локти на бортики, он вертел головой да поглядывал вниз, точно там происходило нечто очень интересное. «Не похвалил бы вас за это наш инструктор Ростовщиков», — озорно подумал я.

Иванов достал из кармана конфетку. Обертка, шаркнув по моему козырьку, пронеслась мимо.

— Извиняюсь! — крикнул Иванов. — Не обеспокоил?

Ответить я конечно же не мог. Меня волновала отнюдь не конфетная бумажка. Я уже заходил на посадку. Посадочная полоса неслась мне навстречу искрящейся пестрой лентой. Я вспоминал потом, о чем я думал тогда, да так ничего и не вспомнил. Наверное, я просто ничего не думал, голова была абсолютно пустой, работали только руки. Мысли вернулись ко мне, когда я посадил «тринадцатую-белую» на все три точки. «Посадил, посадил!» — торжествовал я, сворачивая на нейтральную полосу.

Командир отряда показал мне знаком оставаться на месте, сам же спрыгнул на землю. К нему подбежал Ростовщиков. О чем они говорили, я не слышал. Потом в моей полетной книжке появилась такая запись:

«Проверка техники пилотирования. Осмотрительность: без замечаний. Руление: хорошо. Взлет: отлично, Набор: отлично. Разворот: хорошо. Маршрут: хорошо. Посадка: отлично. Общая оценка: отлично».

Но о том, что командир отряда поставил мне такую высокую оценку, тогда я не знал. Команды выходить не было, мотор «тринадцатой-белой» работал на малых оборотах. «Наверное, меня хотят выпускать», — подумал я. Ростовщиков что-то крикнул нашему мотористу Потапову, и тот побежал к центру «круга». Неужели мешок?

Я не ошибся. Потапов, взяв в помощь Ревича и Мирвоянца, появился у машин. Втроем они несли в руках мешок с песком. Тяжело дыша, они стали закреплять мешок в передней кабине; чтобы курсант не почувствовал в воздухе изменение положения самолета, груз должен был уравновесить вес инструктора.

На плоскость забрался инструктор Ростовщиков:

— Поздравляю! Иванов остался тобой доволен, сейчас полетишь. Ничего страшного, ведь ты давно уже водишь машину сам, вот и сейчас Иванов даже пальчиком не касался управления. Я уверен: все будет на большой.

С волнением и трепетом я ждал этого момента. Но сейчас не обрадовался, а испугался. Тысячи «вдруг» леденящими иголками кольнули мою душу. Вдруг, взлетев, не найду аэродрома... Вдруг на развороте войду в штопор — и так до земли... Вдруг...

В передней кабине я не увидел привычного затылка инструктора Ростовщикова. И быть может, только в эту минуту во всей неотвратимой реальности понял, что полечу один, что надеяться мне больше не на кого, что теперь становлюсь полным хозяином «тринадцатой-белой». От этой мысли мне стало легко и спокойно. «Да что же я, хуже всех тех, которые уже полетели?» — подумал я и окончательно успокоился.

Прибавил обороты, подал ручку вперед. Машина, раскачиваясь, поползла к старту. В «кругу» наши ребята — Шаловалов, Ревич, Мирзоянц, Пестов, Фроловский — прыгали вокруг спокойного Ростовщикова, корчили рожицы, что-то орали. «Ободряют меня, черти полосатые, стараются развеселить», — улыбнулся я.

«Тринадцатая-белая» ушла в воздух. Она подчинялась каждому моему движению, была подвластна мне. Лечу! Лечу! Один! Я ошалел от радости, запел громко, что было мочи:

Пропеллер, громче песню пой,  
Неся распластанные крылья!  
За вечный мир в последний бой  
Летит стальная эскадрилья...

Три куплета песни кончились быстро, еще до второго разворота, я начинал снова и до самой посадки все пел и пел. Я думал о маме. Вот бы знала она, что я сейчас один в небе! Я думал о Зое. Чего бы только не отдал за то, чтоб она сейчас сидела в передней кабине! Конечно, она бы трусливо охала и пицала в самое «ухо»:

— «Смелый!» Неужели это ты сам ведешь машину? Да ведь ты у меня самый настоящий летчик!

Я еще продолжал горланить песню, когда «тринадцатая-белая» побежала по земле, оставляя за собою шлейф пыли. Первым, кого я увидел, был Ростовщиков. Он показал мне оттопыренный большой палец:

— Все исполнено как по нотам! Только вот садись ты на большой скорости. Надо раньше убирать газ, переходить на планирование. Но не тужи, по всему видно, быть тебе истребителем, не иначе. Истребитель садится на скорости...

В ближайшие дни выпустили и остальных из нашего экипажа: Толю Фроловского, Яшу Ревича, Володю Чурьгина, Эдика Пестова. Первые десять полетов мы возили мешок, затем Ростовщиков стал сажать в переднюю кабину курсантов.

— Это не для сбалансирования веса, а для взаимного контроля, — объяснил инструктор. — Один ведет машину, а другой наблюдает. Потом на земле обменивайтесь мнениями, высказывайте замечания.

И мы стали возить друг друга. Я обнаружил, что ребят так же, как и меня, в воздухе охватывает приступ нескрываемой радости, необузданного веселья. Кричат, размахивают руками, хохочут. Яшка Ревич, полетевший со мною, всю коробочку играл в им самим придуманную игру, в которой он руководил воздушным боем. Его команды чуть не разрывали мне барабанную перепонку.

— Слева встречным курсом идет девятка «юнкеров»! — неистовствовал он. — «Чайки», атакуйте «лаптежников»! Прямо в лоб, разгоняйте группу, ломайте их строй! Заставляйте их сбросить бомбы на головы своей же пехоты! «Чайки», глядите в оба, в облаках прячутся «Хейнкели-111»! Внимание, не зевайте! Правее бомбардировщики «Фокке-Вульф-200» низом крадутся к правее!

Разумеется, орудий без умолку Яков никаких замечаний на земле дать мне не мог, вряд ли во время полета он обращал на меня внимание. Толька, Абрам, Вовка, хотя и не играли в Яшкину игру, тоже вели себя возбужденно. А Витька Шаповалов обернулся назад и через козырек даже пытался схватить меня за нос. Сообранил тоже!

Только Эдик Пестов находился в каком-то тихом, лирическом настроении. Прижав раструб к губам, он читал стихи, покоровившие меня сразу же необыкновенной теплотой и душевностью:

Видели ли вы,  
Как бежит по степям,  
В туманах озерных кроясь,  
Железной ноздрей храпя,  
На лапах чугунных поездов?

А за ним  
По большой траве,  
Как на празднике отчаянных гонок,  
Тонкие ноги закидывая к голове,  
Скачет красногривый жеребенок?  
Милый, милый, смешной дуралей...

— Кто написал эти стихи? — спросил я потом у Эдика, находясь под опьяняющим впечатлением этих простых, западающих в душу слов.

— Сергей Есенин, — ответил Эдик.

— Есенин?

Фамилию Есенина я слышал, но стихов его не читал. Поэт был не в чести, Есенина мы знали в школе в основном по стихотворению Владимира Маяковского «Сергею Есенину».

И вот тогда, услышав есенинский «Сорокоуст» в небе над Ферганой, я полюбил поэта на всю жизнь.

...Занятия между тем становились все напряженнее. Мы начали летать в зону — заданный сектор над аэродромом — и там в воздушном пространстве выполнять фигуры высшего пилотажа: боевой разворот, вираж, бочку, штопор...

На торжественном Октябрьском вечере комиссар школы сказал:

— Вы уже летчики. Летаете, и летаете хорошо. Совсем уж недалек день, когда Родина вручит вам новейшую технику и пошлет в бой...

В ноябре мы совершили прыжки. Прыгали с бомбардировщика ТБ-1, который прилетел из Ташкента и привез зимнее обмундирование. Тихоходная, неуклюжая машина, показавшаяся после нашего У-2 такой величественной и грозной, взяла на борт почти целый отряд курсантов. Ребята прыгали один за другим, все небо над аэродромом белело парашютным шелком. Наступила моя очередь. Я подошел к люку и, вспомнив рассказ о том, как разгневанный инструктор пытался выбросить штурмана Малашкина безо всякого парашюта, быстро шагнул в небо сам.

В ушах засвистело, встречный вихрь толкнул в грудь, над головой промелькнула тень бомбардировщика. «Раз, два, три!» — сосчитал я и рванул что было мочи кольцо. «А вдруг не раскроется?» — стрельнуло в мозг. И вить-то было бы некого, каждый укладывал парашют сам. Больно заломило в плечах, свист в ушах прекратился, и я понял, что стремительное падение кончилось. Меня



сильно раскачивало. Земля, точно растревоженная вода в тазу, поднималась то одним, то другим краем. Приближались и удалялись бензиновые цистерны склада ГСМ, самолеты на стоянках, казармы. На аэродромном поле суетились, гася парашюты, прыгнувшие раньше меня курсанты.

А земля все ближе. Я принялся регулировать спуск стропами парашюта, с тем чтобы приземлиться на ноги, и вдруг вспомнил, что сегодня ведь 20 ноября — день моего рождения, мне исполняется восемнадцать лет.

Минутой спустя, укладывая парашют, я шепнул про это Витьке Шаповалову, он ответил:

— С тебя причитается!

Что ж, хоть пить я и не научился, по мог бы угостить товарища вином в старом городе: мама прислала мне тридцать рублей. Но кто же даст увольнительную в будний день!

Вечером после ужина Виктор подсел ко мне на койку.

— Ну как себя чувствуешь, юбиляр?

Чувствую? Как и все ребята, как Виктор, например. Идут тяжелые бои под Москвой, насмерть стоит Ленинград, полки и дивизионы сражаются в котлах на Украине. На фронте дерутся и погибают бойцы, наши сверстники. А я пока не воюю, но уже вожу самолет, это ведь что-то да значит! Конечно, хочется поскорее попасть на фронт. Но война от нас никуда не уйдет, это теперь знаю точно. Я вспомнил пророчества Виталия Сурьина на комсомольском собрании, когда он доказывал, что все будет закончено после первых же столкновений танковых дивизий и воздушных армад. Нет, война будет продолжаться долго. Комиссар школы сказал: «Даже если фашисты возьмут Москву (а они ее не возьмут), мы будем сражаться на Волге, за Уралом, в Сибири до тех самых пор, пока не победим!»

Со мною Виктор был согласен полностью.

— Надоело коптить небо здесь, в тылу. Скорей бы...

Да, мы очень торопились. Торопились и те, кто ждал нас в боевых частях. Мы делали по нескольку посадок в день. Командир отряда старший лейтенант Иванов летал со мной в зону и, судя по всему, остался доволен. В моей полетной книжке появилась запись: «Контрольно-проверочный полет в зону для определения готовности к полетам на переходных самолетах. Запуск мотора, руление, взлет, набор высоты, виражи 30° — правый, левый; виражи 60° — правый, левый; боевой разворот — правый,

левый, срыв в штопор и вывод, спираль, пикирование с углом в 30°, 60°, планирование, расчет, посадка, осмотрительность на земле и в воздухе. Общая оценка — «отлично». К полетам на переходных машинах готов».

Да, мы очень ждали прибытия переходных машин. Мы гадали: если прилетят УТ-2, быть нам истребителями, а если — Р-5, то придется водить бомбардировщики..

Шло время. Как-то после завтрака нас, как обычно, построил сержант Ахонин, он водил отряд на аэродром. Вид у него был необычайно торжественный, радостный, он хитро улыбался. Я стоял в затылок Виктору, держа в руках шлемофон и «ухо», которое было большим дефицитом: потеряешь — подведешь весь экипаж, придется кланяться христом-богом у других. Сержант Ахонин придирчиво оглядел строй:

— Равняйся! Смир-но!

И тут вместо обычных команд: «Направо! Шагом марш!» — он крикнул:

— Нале-ву!

Направо был аэродром, налево — стадион. На аэродром мы не попали, мы попали на стадион. Здесь сержант объявил:

— Два часа строевой подготовки!

— А как же полеты? — удивился Виктор Шаповалов. — Погода ведь вроде ничего.

— «Ничаво, ничаво», — передразнил Ахонин и, заметив, что вопрос задал Виктор, обрадовался: — Вот вы-то мне как раз и нужны, говорливый. Выйдите, курсант, из строя.

Виктор тронул за плечо стоявшего впереди Эдика Пестова, тот освободил проход, и Виктор, отчеканив четыре шага, повернулся лицом к строю, как того требовал устав.

— А за вами должок, — ехидно сказал Ахонин. — Грозилась меня по стойке «смирно» поставить. А вот не вышло. Отлетались, товарищ летчик. Захочу, и снова полы в казарме вымоете. Встаньте в строй!

— Есть встать в строй! — повторил Виктор, мало соображая, что происходит.

Мы тоже ничего не могли понять. Что значит «отлетались»? Так просто сболтнул сержант или ему что-то известно?

Вместо двух часов мы занимались строевой минут сорок. Прибежал дневальный, передал распоряжение возвращаться в казарму. Едва пришли, объявили построе-

ние всей эскадрильи. Мы выстроились перед казармой на дорожке, там, где недавно принимали присягу. Появились командиры, инструкторы, технический состав. Слово взял наш комэск капитан Гончаров.

— Товарищи курсанты, я буду краток. Вы хорошо знаете, что положение под Москвой продолжает оставаться крайне тяжелым. Получен приказ: весь летный состав, начиная от комэска и кончая инструкторами, на нашей матчасти улетает драться за родную столицу. А вы остаетесь в школе до особого распоряжения. Документы о полном окончании курса обучения пойдут в ваши личные дела. Уверен, что знания, полученные в летной школе, вы умело примените в бою. Вы теперь тоже можете воевать на У-2, но до вас дело пока не дошло. За успешную учебу в Ферганской школе пилотов от лица службы объявляю благодарность!

— Служ... Советск... Союзу! — не очень дружно ответил строй.

Перед вечером в проходе между рядами двухэтажных коек возникла могучая фигура сержанта Ростовщикова. Ральше к нам в казарму инструктор никогда не заходил, виделись мы только на аэродроме, отношения были сугубо официальными. Сейчас сержант-пилот держал в руках новенькие унты из собачьего меха, через его плечо свешивался тяжелый меховой комбинезон.

— Вот, экипировали, — сказал Ростовщиков. — Завтра на «тринадцатой-белой» беру курс на Ташкент. Там на машину поставят вооружение — и дальше к Москве.

— Значит, на фронт? Так скоро?

— А медлить нельзя. Знаете, какое положение под Москвой, дела не ахти. Иначе зачем бы потребовалась там наша старушка «тринадцатая-белая»? Думал, что век ей свой доживать здесь, на учебном аэродроме, возя курсантов по коробочке да в зогу, а вот выпала ей судьба еще побросать бомбы на головы фашистов.

— А можно ли воевать на У-2? — усомнился Яков Ревич.

— А почему бы и нет! Машина надежная, сбить ее не так-то просто, пули проходят через перкаль и фанеру, как сквозь решето, ничего ей не делается, вот только если летчика тяжело ранят или убьют. Конечно, летать на У-2 можно только ночью. Боевое применение — почной легкой бомбардировщик, обработка вражеского переднего края. Бомбы будут подвешивать под плоскостями. В задней кабине вместо курсанта полетит штурман.

Думаю, что ему можно поставить и пулемет, чтобы отстреливаться.

— Рады небось, товарищ сержант, что на фронт улетае? — спросил Толя Фроловский.

— С одной стороны, конечно, рад, кому же охота киснуть в тылу? Боялся, что застряну тут, в школе, до конца войны. Только вот я истребитель, выпускался на «Чайке», а У-2, он и есть У-2. И еще незадача: жена ко мне из Новосибирска приехала, всего две недели пожили вместе, придется ей возвращаться назад.

— Мы ее проводим, — предложил я. — Поможем донести вещи до станции.

— Спасибо, не надо. Вещей-то нет, не нажили. Один чемоданчик. Донесет сама.

Помолчали, повздыхали. Каждый из нас, конечно, терялся в догадках: а что же будет с нами? Сержант почувствовал это и сам поспешил ответить на незадачный вслух вопрос:

— А насчет курсантов, насколько мне известно, никаких указаний пока не поступало. Но и вам дело найдут. Ведь вы без пяти минут летчики. Дать вам по десять вылетов под колпаком, и смогли бы тоже воевать на легких ночных бомбардировщиках. Куда ж вас теперь девать? Либо пошлют осваивать боевые самолеты в другую школу, либо пришлют сюда других инструкторов на других машинах. — Ростовщиков поднялся с табуретки. — Только откуда их взять, новые машины? Техники у нас, видать, не очень густо. Если уж посылают на фронт даже учебную матчасть.

Окружив инструктора, мы вышли из казармы. Ростовщиков крепко пожал руку каждому из нас.

— Желаю добра. Если кого невзначай обидел, не держите зла. Что ж, может, на фронте встретимся, будем воевать вместе. Всякое бывает...

С Ростовщиковым мы уже никогда не встретимся. Мы не встретимся ни с капитаном Гончаровым, командиром нашей эскадрильи, ни со старшим лейтенантом Ивановым, ни со штурманом Малашкиным, которого чуть не вытолкнул из ТБ инструктор парашютизма.

На следующее утро, когда мы, как обычно, выбежали умываться к арыку, послышался нарастающий гул моторов. За крышами опустевших кавалерийских казарм, за метелками веток опавших яблоневых садов в последний раз взлетали наши учебные машины. Над аэродромом они строились в звенья, заполнив собою все небо от

края и до края. И вот уже ведущий лег курсом на Ташкент. Пролетая над нашим городком, одна из машин качнула крыльями.

— Наверняка это наша «тринадцатая-белая», — вздохнул Яков Ревич, хотя низкая свинцовая дымка мешала разглядеть опознавательные полосы. — Видите, Ростовщиков посылает нам прощальный привет.

Всем было очень грустно. Эдик Пестов сказал:

— Что-то плохо мы простились с Ростовщиковым. — У Эдика затуманились глаза. — Даже не поблагодарили как следует за все, что он для нас сделал. Матери научили нас ходить по земле, а он — летать в небе...

Носком сапога Эдик разбил ледок, покрывший поверхность арыка, и плеснул себе на голую грудь пригоршню холодной воды. Поздняя осень уже донесла свое суровое дыхание и до этих мест. Морозец разбросал по дороге застывшие комья глины, смешанные с пожухлыми листьями.

После завтрака мы с Виктором Шаповаловым зашли на почту, получили из дома по письму, заглянули в продовольственную палатку, купили грецких орехов, кишмиша, фиников. Стоило все это по-прежнему очень дешево. Никаких занятий у нас не было, все слонялись без дела. Сержант Ахонин не появлялся. «Тоже улетел на фронт», — сострил Ревич. В столовую на обед впервые пошли без строя. Вечером представилась возможность погулять в городе безо всяких увольнительных, дневальными на проходной стояли свои ребята, начальства над ними не было.

Так прошло несколько дней. Окружная газета «Фрунзевец» сообщала об ожесточенных боях у стен столицы, а мы тут изнывали от неопределенности и безделья. Но вот однажды разнеслась весть, что на складе отдают наши гражданские вещи. Мы с Витькой Шаповаловым вскочили из-за шахматного столика, смахнули с доски фигуры и выбежали из красного уголка. Навстречу шли курсанты с мешками, с чемоданчиками. Мы прибавили шагу. У дверей вещевого склада шумели ребята, каждый почему-то старался заполучить свое барахлишко поскорее.

— Не будем суетиться, успеем, — удержал меня за руку Виктор. — Давай лучше поспрошаем сведущих людей, куда уезжаем, когда.

Но где было отыскать этих сведущих людей? Никто ничего не знал. Ясно было одно: здесь нас не оставляют.

Я получил свой портфель в числе последних. Все вещи были на месте, сохранилась даже тряпичная бирочка с моей фамилией, которую вывела мама химическим карандашом. Я склонился над раскрытым портфелем. Клетчатые брюки, сшитые к окончанию школы, рубашка на выпуск, парусиновые туфли, пахнущие меловой пылью, — неужели я когда-то ходил во всем этом? Все было недавно и так уже давно... Вспомнились мама, выпускной вечер — последний вечер перед войной, — Зоя, убегающая от меня в калитку...

В казарме царило оживление. Ребята укладывали в свои чемоданчики зубные щетки, мыльницы, кружки...

— А вы где ходите? — крикнул нам Абрам Мирзоянц. — Объявили, что после обеда будет построение. Уже с вещами.

Спустя час шестьсот курсантов бывшей Ферганской школы пилотов поотрядно выстроились на плацу. Речь перед нами держал незнакомый подполковник из штаба ВВС нашего Среднеазиатского округа. Он сообщил известную нам истину, что самолетов нет и летать нам не на чем. Но времени терять зря не будем. Командование решило направить всех курсантов в авиатехническое училище.

— Вынужденная, по временная мера, — подчеркнул подполковник. — При первой возможности вы снова будете летать, а отличное знание матчасти вам, конечно, не повредит. Наоборот, без овладения техникой первоклассным летчиком стать нельзя. Все ли понятно?

Строй молчал.

Колонной по восемь человек школа двинулась на станцию. Любопытные узбечата высypали на улицу из своих глухих двориков. Заметив в наших руках узлы и чемоданы, принялись махать вслед. Это было очень трогательно. Ласковый ветер спускался на город, теплая осень, вснуганная первыми морозами, теперь словно бы возвращалась в эту благодатную долину. Последние лучи уходящего за горы солнца купались в оттаявших лужах. По дну оживших арыков побежали робкие ручейки.

Желая повеселить нас, Яков затынул песню на мотив авиационного марша — откуда он ее только выкопал!

Все гайки закоптрим, проверим  
И отрегулируем газ.  
ЦК комсомола заверим:  
Аварий не будет у нас...

На него зашумели со всех сторон:

— Уймись! Прекрати! Хватит!

Даже обычно спокойный Виктор Шаповалов толкнул его локтем в бок:

— Поёшь ведь на собственных поминках!

Узбечата все еще бежали за нами. А мы шли теперь в глубоком молчании, прощаясь с Ферганой, с мечтой о небе, жившей в нас с детства. И мысли были у всех одинаковые: начнем ли мы когда-нибудь опять летать или нет? Мы будем и потом очень долго гадать и спорить, согревая душу голубой надеждой: а вдруг откуда-нибудь примчится гонец со спасительным приказом... Но нашей суровой военной судьбе было угодно распорядиться по-иному. Никто из шагавших тогда в строю по ферганским улицам так и не стал авиамехаником. И лишь только одному из всех шестисот будет суждено вернуться в авиацию и в задней кабине уже не учебного, а боевого самолета полететь в бой...

Ну а пока я шел в затылок Виктору Шаповалову и нес портфель со своим гражданским барахлишком. Вспомнил нашего Николая Потапова, с головы до пят вымазанного отработанным сизым машинным маслом и тавотом. «Вечно грязный, вечно сонный моторист авиационный...» Вот кем я стану. Буду расчехлять моторы, заправлять бензобаки, контрить гайки... А летать будут другие. Отчего же такая несправедливость? Ребята провозжали меня в летчики, а будут встречать... Впрочем, одна лишь Зоя наверняка будет довольна. В ее понятии летчик — это недоучка, тот же шофер, насобачившийся крутить баранку. А вот механик — это формулы, теоремы, всякие там рационализации, изобретения и открытия. Но много ли там понимает помешавшаяся на технике девчонка?

На станции нас поджидал пассажирский состав. Мы быстро погрузились в знакомые нам старенькие вагончики с нарами из верхних полок, с побитыми оконными стеклами и с непонятно по каким причинам наглухо заколоченными туалетами. На перроне суетились железнодорожники, что-то там у них не получалось, никто не знал, когда мы тронемся. Наконец наш замухрышка паровозик дал свисток, и началась езда. Не езда, а сплошное мучение. Подолгу стояли у каждого светофора, а то и просто в степи. Только на вторую ночь проехали Ташкент. Утром тусклый рассвет погасил на скорбном небе какую-то одинокую звезду и открыл нашему взору плоскую казахстанскую степь, покрытую пушистыми снегами.

Становилось холоднее. Сквозь разбитые стекла ветер швырял в нас пригоршнями снега.

Опять стояли на каждом полустанке. Кто-то обнаружил, что в станционном буфете продается питьевой спирт по двадцать семь рублей за бутылку. Витька Шаповалов помчался в буфет и вернулся с покупкой.

— Совсем дешево, — радостно сообщил он. — А мне писали, что в Алма-Ате бутылка водки стоит теперь рублей триста.

Непонятное несоответствие цен вызвало всеобщий ажиотаж. Тем более что спирт продавался везде, на каждой станции. К обеду Витька Шаповалов и присоединившийся к нему Толька Фроловский выпили по стаканчику.

— А ты будешь? — спросил меня Виктор. — Налить? Очень легко пьется. Только надо задержать дыхание.

Я отказался. А ребята выпили еще. Вскоре и из других купе стали доноситься пьяные голоса. Мне показалось удивительным, что у нас так много пьющих ребят. Потом сообразил, что пьющих не так уж и много, просто их соседям нелегко было отказаться: боялись прослыть пайньками, сосунками. Виктор собрал компанию играть в очко. Игроки явились в наше купе с бутылками. И пошло! Я засыпал под хватающий за душу шепот:

— Играю втемную, беру еще карту!.. Последняя рука — хуже дурака!.. А вот смотрите: ваши не пляшут!..

Утром Толька Фроловский хватился своих сапог.

— Жулики! — закричал он благим матом. — Верните обувь! Как не стыдно воровать у своего же товарища!

Никто, однако, не отзывался. Отыскать вора не удалось. Поди дознайся, кто покупал этот проклятуший спирт за свои деньги, а кто перегнал в жидкое состояние Толькины сапоги. Опять стали табуниться компании картежников и выпивох. Испуганный Толик больше уже не пил и не играл. Он то и дело заглядывал под нижнюю полку, надеясь на чудо. Увы... Следующие две ночи во избежание новых происшествий все спали не разуваясь.

Конечным пунктом нашего путешествия был город Кызыл-Орда, засыпанный по самые крыши снегом и продуваемый всеми ветрами неоглядных степей. Мы построились на маленькой площади у приземистого вокзала и двинулись в путь. Было двадцать градусов мороза, не меньше. Быстро заоченели уши, нос, руки; хлопчатобумажные пилотки ничуть не защищали голову от дикого холода. На Толика Фроловского было жутко смотреть: он



маршировал по снегу в портянках, перехваченных шпагатом.

Мы добрались до высокого забора, из-за которого выглядывали крыши каких-то корпусов. У ворот стояли дневальные в синих авиационных шинелях с курсантскими петлицами. От них мы узнали, что сюда из подмосковного города Серпухова эвакуируется школа авиамехаников. Нас разместили в классах, где не было еще ни столов, ни табуреток. Жарко топились голландские печи. Неровный свет из дверки печи весело мигал на побеленных стенах. Мы четверо суток не снимали шинелей, теперь разделись, расстегнули воротники гимнастерок и наслаждались теплом, приятно растекавшимся по всему телу.

Нас сводили на ужин, привели назад. Потянуло ко сну, но заснуть удалось не сразу. Появились бутылки со все тем же двадцатисемирублевым спиртом. Витька Шаповалов бегал из класса в класс, участвовал в разных веселых компаниях, бражничавших всю ночь. Я вбродчался на полу, постелив под бока шинель и положив под голову свой школьный портфель.

После завтрака нас построили и вывели за пределы школы. Нетрудно было заметить, что мы шли по той же улице, что и накануне вечером, только в обратном направлении. Вскоре показалась привокзальная площадь с одноэтажным зданием станции.

— Нас не приняли, — шепнул мне всезнающий Яша Ревич. — Ведь школа-то еще едет, все оборудование в пути...

— Зачем же нас сюда привезли? — удивился Абрам Мирзоянц, услышавший Яшкины слова. — Разве нельзя было узнать по телефону или телеграфу, нужны ли мы здесь?

— Задай мне вопросик попроще, — ответил Яков. — Я ведь не генерал. Видно, на тот час междугородный телефон был занят, вот дозвониться и не смогли.

— Не все так просто, ребяташки, — вступил в разговор Виктор. После нескольких дней куража у него было хорошее настроение. — Вполне возможно, что в головах у высокого начальства вдруг закрипели покрытые ржавчиной колеса: как же так — летчиков вдруг высаживать из кабин и отправлять под пузо самолетов? Вот увидите, нас повезут дальше, в Чкалове есть старая летная школа, сейчас там выпускают на СБ. Если повезут на север..

Нас повезли на юг. Проехали Тартугай, Чиили, Туркестан, Арысь, Ташкент. Перед Урсатьевской разнесся

слух, что нас возвращают в Фергану, в летнюю школу. Но вот на этой узловой станции Ферганская ветка ушла влево. Поезд шел на запад.

— Наверное, попадем в Красноводск. А там морем в Баку, на Кавказ, в общем, мимо Ашхабада не проедем. Хоть на минуточку да забежим домой, — радовался Яшка Ревич.

Радоваться, однако, довелось не ашхабадским, а самаркандским ребятам, их в нашей школе тоже было немало. На три недели нашим обиталищем стал Самаркандский автомобильный техникум на Дагбитской улице Старого города. В техникуме занятия давно уже не велись, но на стенах классных помещений все еще висели схемы автомобильных моторов, большие фотографии ЗИСов и ГАЗов. На обширном дворе, обнесенном высоким забором, валялись ржавые кузова, снятые с колес, изрезанные шины, пустые банки из-под технического масла, всякий металлический хлам.

Кормили нас в какой-то столовой, расположенной далеко от техникума, а спали мы опять в пустых классах, постелив на пол свои шинели. Было очень тесно, лежать приходилось лишь на боку, вплотную прижавшись друг к другу, так что сменить положение можно было лишь в том случае, если поворачивался весь ряд. Ночью вставать не рекомендовалось: встанешь, соседи во сне подвинутся, твое место тут же исчезнет, втиснуться назад будет уже невозможно. Придется клевать носом до самого утра, прикрывшись где-нибудь на крылечке.

Нам объявили, что на базе техникума создается школа авиамехаников. Но шли недели, а занятия не начинались. Не было ни учебной матчасти, ни преподавателей. Но где-то все же какие-то колесики крутились. Из разных мест на Дагбитскую улицу прибывали команды прививников, их обмундировывали, и они становились такими же, как и мы, курсантами неоткрытой школы авиамехаников. Вместе с нами они ходили строем в столовую, возвращались в техникум и болтались без дела. Все шло тихо, спокойно, никакой информации, никаких новостей...

Впрочем, была одна новость: после долгой канители Толька Фроловский, стойчески шагавший по снегу в изодранных до невозможности портянках, получил наконец-таки обувь. Он появился в новеньких желтых ботинках на звенящих о камни подковках.

— Посмотрите, вот написано: английские! — хвалился Анатолий, охотно выставляя напоказ свою обнову. — Лег-

кие, удобные, аж душа радуется! Да и обмотки ладно облегают ноги, не то что голенища шириною с океан.

Мои кирзовые сапоги давно просили каши, с внутренней стороны голенища протерлись до дыр, подметки развалились, сквозь образовавшиеся щели выглядывали портянки.

— Советую и вам переобуться, — продолжал Фроловский. — Отдадите на складе свои сапоги, тут же получите новенькие ботинки. Вот мне было куда сложнее: я ведь ничего не мог отдать кладовщикам взамен, а им нужно для отчета.

Толькины слова возымели действие. Через полчаса многие из нас щеголяли в новой обуви. Ботинки с клеем на подошвах «Мейд ин Инглянд» были первым импортным ширпотребом, который довелось надеть мне и моим сверстникам...

После обеда мы отправились погулять в город. Узкие улицы Старого города вели к изумительным памятникам прошлого: к мечетям, минаретам, медресе. У входа в Регистан на грязном коврике, сложив ноги крестиком, сидел слепой дервиш. Он выкрикивал, что никак нельзя было раскапывать могилу кровавого Тимура: как только прах его вынули из земли, разразилась страшная война. Я вспомнил: в день начала войны читал в «Комсомолке» заметку, что профессор Толстов в Самарканде в мавзолее Гур-Эмир вскрыл склеп владыки Востока...

За древними строениями у хауса шумел базар. Мимо прилепившихся друг к другу лавчонок проходили ослики с поклажей. В крохотных мастерских ремесленники занимались своим делом. Портной кроил кусок бархата. Кузнец раскачивал мехи горна. Медник выстукивал замысловатый узорчатый поднос. Гончар крутил свой круг, и на наших глазах из бесформенного куска глины вырастал кувшин.

На деньги, которые нам присылали из дома, мы купили всяких сладостей и вернулись на Дагбитскую улицу. Нас ждали новости. Яков Ревич узнал от кого-то в штабе, что в Самарканде никакой школы авиамехаников открывать не будут, а нас распределят по разным училищам, которые эвакуировались из прифронтовых городов в Среднюю Азию.

— Это совершенно точно, — уверял нас Яков. — Человек, который рассказал мне об этом, врать не будет, он знает наверняка.

Наутро сведения, добытые Ревичем, подтвердились

полностью. Нас всех выстроили во дворе и выкликнули курсантов, фамилии которых начинались с «А» и до «Е». Их отправили в училище связи. Через день буквы «Ж», «З», «И», «К» убыли в инженерное училище. Спустя три дня отправились в дорогу буквы «Л», «М», «Н», «О». Им предстояло стать офицерами-артиллеристами.

В классах стало совсем свободно. Виктор Шаповалов с видимым удовольствием разбрасывал руки по полу и говорил:

— Ну вот, теперь попанствуем, поспим со всеми удобствами. Еще есть в резерве «О», «П», «Р» и так далее. А до тех, которые на «Ш», доберутся не скоро...

Три дня прошло в больших ожиданиях. Но о нас будто забыли. Мы были предоставлены сами себе, даже в столовую ходили толпой. Болтались на площади у Регистана, заглядывали на базар. Наконец оставшиеся буквы собрали всех вместе. Последних двести пятьдесят бывших курсантов летной школы повели на вокзал...

## ГЛАВА ПЯТАЯ, ЗАПИСЬ ПЯТАЯ...

«Зачислен курсантом Харьковского  
пехотного училища. Январь, 1942 г.»

На войне меня согревала мама...

Она еще писала мне письма в Самарканд, на Дагбитскую улицу, а я уже сидел опять в эшелоне и ехал неизвестно куда...

В ночи бесновалась вьюга. Зима, неприветливо встретившая нас в Кзыл-Орде, вторично обрушилась за Самаркандом. Мороз, словно чувствуя, что ему еще недолго властвовать в этих местах, лютовал всюю. Вагоны не топили, в умывальниках застыла вода, сквозь щели в окнах врывался свистящий ветер, превращаясь в клубы пара. Подняв воротники шинелей и надвинув пилотки на самые уши, ребята прыгали в узких проходах между полками, но согреться так и не могли.

Почти весь наш бывший экипаж был в сборе, так уж получилось, что у большинства ребят фамилии начинались с последних букв алфавита: Пестов, Ревич, Чурыгин, Шаповалов. Отсутствовал лишь один Абрам Мирзоянц, попавший в артиллерийское училище. Зато к нам в компанию пристал Борис Семеркин, бывший вегетарианец. В летной школе он совсем пропал из нашего виду,

из ашхабадцев он почему-то только один оказался в другой учебной эскадрилье, и теперь мы с Яковом Ревичем были рады вновь повстречать своего земляка.

От станции Урсатьевская эшелон опять свернул на Ферганскую ветку. Однако никто уже не питал никаких иллюзий насчет того, что нас возвращают в летную школу. А вот когда прошел слух, что едем в Наманган учиться в эвакуированном Харьковском пехотном училище, то все поверили. Поверили и приуныли.

Яков Ревич, принесший нам эту весть, сказал:

— Чкаловых из нас не вышло. Моторяг Потаповых тоже. Зато получатся сержанты Ахонины. Ать, два, левой! — Яков никак не мог забыть ненавистного ему строевика. — Только не пойму, зачем из авиации в пехоту нас везут через Кызыл-Орду и Самарканд. Зачем такой крюк? От Ферганы до Намангана можно на арбе доковылять за сутки или просто пешочком прогуляться.

— А по мне, лучше командовать стрелковым взводом, чем быть технарем, — отозвался с верхней полки Толик Фроловский. После того как его, босого, обули в Самарканде, он стал бодро смотреть в будущее: дескать, шлепать в портянках по снегу при двадцатиградусном морозе — это вещь серьезная, а все остальное проще. — Пусть уж лучше пехота, чем на аэродроме хвосты заносить.

На Тольку зацыкали со всех сторон, его выступление было воспринято как прямая измена нашей мечте о крыльях.

— Да что вы на меня набросились? — огрызнулся Фроловский. — Разве я гоню вас в пехоту? Идет война...

Витька Шаповалов так топнул сапогом по полу, что стекла зазвенели.

— Да, война! И я готов идти хоть сейчас рядовым красноармейцем в бой. А учиться на пехотного лейтенанта не хочу и не буду. Это мое право.

— Верно! — поддержал его Эдик Пестов. — Это наше право. Стыдно, будучи рядовым, проситься в командиры, укрываться от фронта: пересажу, дескать, в училище, а там и война закончится. Но идти рядовым в бой — почетно. Кто может нам это поставить в вину? С первой же маршевой ротой готов отправиться на фронт.

Его поддержал весь вагон.

— Ну и я с вами, — сдался последним Толик Фроловский. — Итак, решено: учиться не будем, все просимся на передовую.

К утру, когда поезд наконец дотащился до Намангана,

заметно потеплело. Брызнуло яркое солнце. С крыш стационарных зданий со звоном падали крупные камни. Воробьи, весело чирикая, стряхивали с веток разбухшие хлопья рыхлого снега.

Эвакуированное пехотное училище было расквартировано в разных местах: в старых казармах, на центральной площади, в городском парке, возле стадиона. Нас прямо с вокзала привели во двор бывшего экономического техникума, где в директорском кабинете сразу же начала работать мандатная комиссия. Вызывали по алфавиту. Первым из нашей компании на комиссию отправился Эдик Пестов. Вернулся он раскрасневшийся, возбужденный и необычайно гордый.

— Ну что? — кинулись мы к нему.

— Как договорились. Отказался. Обещали отправить в маршевую роту.

— То, что нам надо! — одобрительно крикнул Виктор Шаповалов.

Ребята проходили комиссию один за другим. И не задерживались. Вслед за Эдиком попросились на фронт Ревич, Семеркин, Фроловский... И вдруг неожиданный удар нанес всем нам Иван Чамкин. Тот самый, который первым среди всех ферганских курсантов совершил самостоятельный полет.

— Дал согласие учиться в пехотном, — сообщил он.

— Как ты мог! — набросился на него Яков. — Ведь твой портрет вывесили на нашем аэродроме, ты прирожденный ас, без пяти минут Ляпидевский, Молоков, Камапин...

Иван пожал плечами.

— Что теперь поделаешь? Полковой комиссар заглянул в мои документы и сказал: «Да ты, оказывается, рязанец! А рязанцы испокон веков в пехоте служили. И с Петром били шведа под Полтавой, и с Суворовым через Альпы шли...»

— При Суворове не было авиации, — сплюнул сквозь зубы Витька Шаповалов, выражая свое презрение к Чамкину. — Здорово они тебя на рязанском квасе купили.

— Почему купили? — не понял Иван.

— Вот я тебе такое скажу... — Яшка Ревич встал в боевую позу.

Что хотел сказать Яшка, я не услышал. Дежурный по штабу лейтенант выкликнул мою фамилию.

В небольшой комнате жарко топилась «буржуйка». С потолка свисала электрическая лампочка, но на столе,

покрытом кумачовой скатертью, стояла большая керосиновая лампа, видимо, электричество подавалось не всегда.

Старшим среди сидящих за столом командиров был полковой комиссар, как потом я узнал, комиссар училища Осипов.

— Курсант Двадцать третьей Ферганской школы пилотов Шатуновский по вашему вызову явился, — доложил я.

— Насколько мне известно, такой школы уже не существует, — улыбнулся полковой комиссар. — А есть Харьковское пехотное училище, куда вы приехали учиться.

— Приехал, но учиться в нем не желаю, — выпалил я, давно готовясь сказать это и теперь почувствовав облегчение: что будет, то будет, а ребят не подвел.

Полковой комиссар нахмурился.

— Какие у вас на этот счет соображения? — устало спросил он.

— Да такие, как у всех.

— В армии каждый говорит только за себя и сам отвечает за свои поступки. Коллективные просьбы и обращения не предусмотрены уставом. Итак, мы вас слушаем.

— В авиацию я пошел добровольно. Мечтал стать летчиком, для этого поступил в школу военных пилотов. Становиться же кадровым общевойсковым командиром не хочу. Прошу отправить на фронт рядовым бойцом.

Вопреки моим ожиданиям, на меня не закричали. Полковой комиссар сморщил лоб и обратился к сидящему рядом с ним майору:

— Товарищ Горошко, у вас есть вопросы к курсанту?

Плечистый чернобровый красавец майор провел широкой ладонью по густым волосам.

— Вопросов нет, но пару слов скажу. Видите ли, курсант, — обратился он ко мне, — учить вас на летчика мы здесь, к сожалению, не сможем, нет у нас ни аэродрома, ни самолетов, ни летчиков-инструкторов. Поймите же, молодой человек, сейчас идет война, и мечты сбываются далеко не у всех. Курсанты нашего Харьковского пехотного училища поступали к нам еще до войны, мечтали стать командирами, но с первых дней боев оказались вместе с училищем на фронте рядовыми бойцами. И дрались, как герои. А потом пришел приказ: всему командному составу ехать в тыл. Заниматься своим основным делом: готовить офицерские кадры. Думаете, легко

нам было подчиниться этому приказу? Мы мечтали вместе с нашими воспитанниками освободить от врага наш родной Харьков. Ведь там в фашистской неволе остались родители, жены, дети. И вот наши курсанты поднялись в атаку, а мы поехали совсем в другую сторону. Мы бы отдали все, чтобы остаться с ними там, на фронте. Но приказ есть приказ, военные люди обязаны подчиняться приказу...

— Выходит, что для Родины, для победы важнее, чтобы в данный момент мы с вами были здесь, а не там, — вступил опять в разговор полковой комиссар. — Мы ехали сюда, в неведомый нам Наманган, полагали, что придется жить в палатках, питаться из походных кухонь. А вот спим на подушках, едим за столом, о нас здорово позаботились партийные организации области: предоставили лучшие помещения, обеспечивают овощами, фруктами. И вот готовимся начинать нормальную работу. Хочется надеяться, что и вы, комсомольцы, поможете нам выполнить задачи, поставленные командованием перед нашим училищем. Из вас, летных курсантов, создаем третий батальон. Командовать им будет вот он, майор Горошко, боевой офицер, дважды орденосец, чемпион Харькова довоенных лет по поднятию тяжестей. Думаю, что ваш батальон станет лучшим в училище. Ну как, товарищ курсант, не изменили своего решения?

Полковой комиссар смотрел на меня в упор.

Мне было очень неловко оттого, что взрослые, занятые люди тратят столько времени, пытаясь вразумить меня, как малого дитя. Я понимал, что мне говорят дело, и чувствовал, что моя авиационная спесь быстро сходит на нет. Но как я погляжу в глаза ребятам, ведь мы договорились держаться вместе, они завтра пойдут в бой, а я буду здесь, в тылу, спать на мягкой подушке и есть фрукты и овощи за столом...

— Ваше решение? — спросил полковой комиссар.

— Прошу направить на фронт, — не очень уверенно произнес я.

Побывавших на мандатной комиссии собирали группами и строем водили в столовую. В центре обеденного стола я вдруг обнаружил Бориса Семеркина, освободившегося давным-давно. Взяв инициативу в свои руки, он раскладывал хлеб на равные кучки и с видимым нетерпением разливал по тарелкам борщ.

— Борька, разве ты еще не поел? — удивился я.



Бывший вегетарианец поднес к губам указательный палец:

— Тсс! — А на выходе из столовой шепнул: — Третий раз принимаю пищу, хожу с новичками, разве кухонный наряд упомнит всех в лицо?

Борис покрутился возле дверей мандатной комиссии и с новой группой опять отправился обедать. Он зазывал меня рукою в строй и, видя, что я отказываюсь, бросал в мою сторону недоуменные взгляды. Есть мне не хотелось. Проходили последние буквы: «Щ», «Э», «Ю», «Я». Проходили быстро. Видимо, полковой комиссар убедился, что курсанты, сговорившись, твердят одно и то же и на всякие уговоры просто не стоит терять время.

Вернулся из столовой Борис Семеркин и загрустил: группа, к которой он на этот раз пристроился, была последней. Мандатная комиссия уже закончила свою работу, и в директорском кабинете шел какой-то важный разговор.

Весь день мы толкались во дворе, месили грязь в оттаявших лужах, устали, замерзли, поэтому обрадовались, когда появился майор Горошко и приказал строиться.

— Ну, вот теперь мы одни, — сказал майор. — Давай-те поговорим просто, по-товарищески, забудем на минутку, что я командир батальона, а вы курсанты, что я служу в армии шестнадцатый год, а вы — первый, что я коммунист, а вы комсомольцы.

Майор прошелся вдоль строя, оглядывая каждого из нас острыми глазами, словно ища понимания и поддержки своим словам, и продолжал:

— Так вот, большинство из вас просило немедленно отправить на фронт. Вы думаете, за это будем ругать, дескать, вот какие гордые, не хотят у нас учиться! Нет, ругать вас не будем, каждый коммунист, каждый комсомолец конечно же должен рваться на фронт, там наше место. Да моя бы воля, так разве сидел бы я здесь, в Узбекистане? Готов хоть завтра снять свои две шпалы и идти вместе с вами в бой. Так обстоит дело, если рассуждать с вашей, да и с моей, точки зрения. А вот Верховное командование рассуждает по-другому. Конечно, бойцы на фронте нужны. Но в десять раз нужнее командиры. Со штыком наперевес бежать в атаку сможет каждый. А вот вести своих бойцов, управлять боем дело куда сложнее. Война будет продолжаться долго. На фронт вы, понятно, попадете, но не сейчас. А тогда, когда сами

наберетесь знаний и сможете учить других. Возражения есть?

Строй молчал.

— Ну, мне уже легче, — улыбнулся майор. — Так вот, друзья, вашего желания отправляться в действующую армию командование не поддержало. Военнослужащие, принявшие присягу, обязаны подчиниться приказу: с сегодняшнего дня вы все зачислены курсантами третьего батальона Харьковского пехотного училища, которым я буду командовать.

Майор сообщил, что в батальоне есть минометная, пулеметная, а также три стрелковые роты. В них соответственно готовят командиров минометных, пулеметных, стрелковых взводов.

— Вы можете выбирать, в какой роте вам учиться, — сказал командир батальона. — Что вам больше по душе. Даю вам на размышления пять минут.

Строй сломался. Рубята заматались, зашумели, друзья отыскивали друзей, земляки земляков. Наш летный ферганский экипаж быстро собрался в одну кучу.

— Куда определимся? — спросил Витька.

— По мне, хоть куда, лишь бы вместе, — сказал Эдик Пестов.

— А давайте пойдем в минометчики, — предложил Яков Ревич. В нем говорил студент-первокурсник физмата Ашхабадского пединститута. — Ведь минометчик — почти что артиллерист. Тут тебе математические формулы, баллистика, сложные прицелы, синусы, косинусы, одним словом, нужно работать головой, а не просто: «Направо равняйся!»

Майор Горошко взглянул на часы — отведенные пять минут для выбора военной профессии закончились.

— Пулеметчики выходят налево, стрелки — направо, минометчики остаются на месте, — скомандовал майор.

Ну а дальше все пошло уже очень быстро. Если в пехотном училище мы оказались благодаря причудам алфавита, составителям которого было удобно поставить буквы с «П» до «Я» в нижнюю его часть, то в распределении курсантов по взводам и отделениям решающую роль играл рост. Будущих минометчиков построили по ранжиру, самые высокие попали в первый взвод, средние — во второй, низкие — в третий. Потом каждый взвод построили, опять же по росту, в четыре шеренги, каждая из которых и стала отделением. Впрочем, в сгущающихся сумерках можно было и схитрить. Яшке Ревичу и Вовке Чурыгину

с их ста семьюдесятью сантиметрами наверняка быть во втором, если не в третьем взводе. Но они спрятались за могучие фигуры Витьки Шаповалова и Борьки Семеркина. И сошло! Вопросов, почему два коротыша оказались в гренадерском взводе, в дальнейшем никогда не возникало.

Тем временем майор Горошко, закончив обход пулеметной и стрелковых рот, направился к нам. За ним — группа командиров с непривычными для нас красными петлицами на воротниках, С презираемыми нами красными петлицами. Но дух показного, амбициозного протеста быстро улегучивался. Мы уже примирились со своим новым состоянием, отчетливо понимая, что ничего изменить нельзя, нам все больше нравился симпатичный, располагающий к себе комбат.

— Здравствуйте, товарищи минометчики!—весело поздоровался майор Горошко, чувствуя, что между ним и курсантской массой устанавливается контакт.

— Здравс... — ответил строй.

— А вот ваши командиры, прошу любить и жаловать, — начал представлять комбат.

Я всегда вспоминаю добрым словом этих людей, моих наставников в пехотном училище, так же, как и своего инструктора Ростовщикова, командира летного отряда Иванова и даже нелюбимого нами в ту пору сержанта Ахонина, который, как бы там ни было, обучал нас основам основ армейской жизни — строевой солдатской премудрости...

Командир роты старший лейтенант Пожидаев Иван Денисович. Величественная осанка, широкие, развернутые плечи выдавали в нем незаурядного спортсмена, каким он и был на самом деле. Красивое лицо с тонкими, девичьими чертами. Безукоризненно сидящие на нем гимнастерка и галифе, точно сшитые на заказ лучшим портным города Харькова. Меня всегда удивляло, как это можно в обычном хлопчатобумажном обмундировании выглядеть франтом. Изящные манеры показывали, что он из интеллигентной семьи. Речь богатая, образная. После ужина в опустевшей столовой командир роты сядил за пианино. Играл он великолепно. Популярные мелодии военных песен, классику: «Музыкальный момент» Шуберта, «Турецкий марш» Моцарта, «Ноябрь» Чайковского. Но если кто-нибудь заглядывал в двери, поспешно закрывал крышку инструмента. Должно быть, смущался или просто не хотел в наших глазах казаться слишком сентиментальным. Стрельба минометной батареи с закры-

тых позиций по немецкой пехоте и Бетховен в ту пору увязывались между собою и в самом деле плохо.

Лейтенант Тимофеевко Василий Петрович. Наверное, ровесник Пожидаева — лет двадцати пяти. Вместе с ним закончил Харьковское пехотное еще до войны. Приехал туда учиться из сумской деревни. Говорил с заметным украинским акцентом. Невысокий, коренастый, обладал большой физической силой. Требовательный, но справедливый. Прекрасно знал стрелковое дело, воинские уставы. Объяснял и показывал просто, доходчиво. Очень переживал, если у кого-нибудь из нас что-то не получалось на тактических занятиях, на плацу или на стрельбище. Взвод, которым он командовал, был лучшим в нашей роте.

Сержант Александровский Анатолий Ильич. Так же, как и помкомвзвода Чепурнов, как другие отделенные командиры — Верзунов, Чебаков и Булавин, отслужил срочную службу еще до войны, окончил полковую школу и с двумя треугольниками в петлицах был уволен в запас. Мобилизован в первые дни войны. Лет тридцати пяти. Совсем не воинского вида. Невысокий, сутуловатый, с брюшком. Шинель все время вылезала из-под ремня спереди и сзади. На широком, скуластом лице пуговкой сидел приплюснутый, монгольский носик. Был стеснителен и немногословен. Приказы сверху исполнял точно и строго, но от себя тягот курсантам не добавлял, зря не госял, не устраивал разпосов, дополнительных строевых упражнений в свободный час, чем выгодно отличался от других командиров отделений. Постепенно между нами установилась если не дружба, то, во всяком случае, доверие и взаимопонимание. Тогда-то мы узнали, что Александровский, с виду казавшийся человеком неотесанным, заурядным, до войны был артистом драматического театра в соседнем городе Андижане. Был женат на актрисе того же театра и теперь, оставив свою Ницу дома, ревновал ее неизвестно к кому. Таким он и стоит у меня перед глазами: тихий, задумчивый, постоянно тоскующий по своей жене, боящийся измены, к тому же втемяшивший себе в голову, что его обязательно убьют. Об этом мы слышали от него не раз, удивляясь владеящим им предчувствием обреченности.

— А вы что, думаете живыми выбраться оттуда? — повторял он тоном человека, которому открылось нечто такое, что другим не дапо.

Думаю, что он не был трусом, не боялся смерти, просто считал, что так должно непременно случиться. И относился к этому с философским спокойствием.

...Сержанта Александровского убили в первом же бою. Возможно, даже в самом начале первого боя. Мы случайно нашли его на дне стрелкового окопа под воронежским селом Подгорное. Остекленевшими глазами он глядел в бесконечное голубое небо и как бы усмехался застывшим в гримасе ртом: «Ну вот видите, а что я вам говорил!»

Но до этого дня будет еще четыре с половиной месяца обучения в Харьковском пехотном. Это время представляется мне теперь как один нескончаемый маршбросок.

В шесть утра крик дневального:

— Подъем!

Первое и единственное желание — закрыть чем-нибудь эту орущую глотку, чтобы никогда не слышать противный голос. И спать, спать! Кажется, только сомкнул глаза, забылся свинцовым курсантским сном... Еще не успокоилась ноющая поясница, не отошли, будто схваченные слесарными тисками, мышцы ног. Неужели уже шесть? Но жажда кровавой мести владеет тобою только миг. Разве он в чем-нибудь виноват, твой товарищ? Ведь и сам бываешь дневальным! В последний раз в истоме сжимаешь веки, и все! За две минуты нужно впрыгнуть в галифе, зашнуровать ботинки, намотать обмотки. Не то помкомвзвода Чепурнов, узколобый, ушастый, с маленькими злыми глазами, отсечет от дверей не уложившихся во времени, возьмет на заметку и будет после отбоя гонять строевой. Некоторые ребята, отмаршировав под командой старшего сержанта до позднего вечера, потом просили дневального толкнуть их под бок хотя бы за пять минут до подъема, чтобы успеть одеться. Иначе в проходах между койками попадешь в несусветную суету и толчею.

В обычной классной комнате на тридцать сидячих мест размещались два взвода — шестьдесят четыре человека. Мы действительно, как обещали нам на мандатной комиссии, спали на простынях и подушках. Но на двух односпальных кроватях размещалось не двое, а пятеро курсантов. Спали мы не вдоль, а поперек сомкнутых кроватей. Одеваясь, все время толкали друг друга локтями и коленями. И все бы ничего, если б не «календари», как называл обмотки Яша Ревич:

— Сядешь мотать оборот за оборотом: январь, февраль, март, апрель, и так до самого декабря хватит.

А уж если сосед нечаянно зацепит свернутую обмотку, то она коварной змейкой уползет под кровать. Пока до нее доберешься через частокол ног, скатаешь опять бинтом, накрутишь на ногу, считай, что строевая после отбоя тебе обеспечена.

Выбегаем на зарядку в нижних рубашках, под брючные пояса заправлены маленькие вафельные полотешца. Бегом, бегом по лужам, в дождь, в слякоть.

— Прямо, прямо! Дорогу не выбирать! — кричит помкомвзвода Чепурнов.

— Почему нельзя выбирать дорогу? — удивлялся всегда Ревич. — Зачем я должен лезть в грязь, если рядом сухо?

— Для дисциплины, — объяснял ему Чепурнов. — Раз сказано — прямо, значит, прямо. И без разговоров.

В километре от казармы, у затутого паутиной льда арыка, делаем зарядку.

— Быстрее машите руками, нагибайтесь до самой земли! — шипит Чепурнов.

После завтрака — занятия. Опять бегом через весь город, за железнодорожный переезд, в район тактических учений. Расстояние — от восьми до десяти километров. Два километра — форсированным маршем, два — бегом. Снова шагом и опять бегом. Рядом командир взвода лейтенант Тимофеев. На ногах лейтенанта тоненькие хромовые сапожки. Старший сержант Чепурнов хотя и в громоздких кирзовых сапогах, но бежит за лейтенантом налегке по обочине дороги. А мы болтаемся в строю, то наступая на пятки впереди бегущим, то сшибаемся с соседями, то тебе наступают на пятки сзади.

Мы при полной боевой выкладке. Отделение — это минометный расчет. В затылок сержанту Александровскому бегу я — наводчик, сгибаясь под тяжестью минометного ствола. Какое-то сущее проклятие, этот ствол! Если перекинуть его за спину на ремне, он будет при каждом шаге больно ударять по хребту, заплетать ноги. Держать впереди себя, как винтовку при команде «На плечо», — долго не удержишь, на ключице протрет кожу до кости, к тому же всегда есть опасность уронить его на голову товарища. Вот и крутишься, пытаешься нести ствол то так, то эдак. Опорная плита тяжелее ствола, но бежать заряжающему с ней удобнее: плита крепится на вьюке. Как и двунога-лафет, который, подобно ранцу,

плотно лежит за плечами снарядного. За снарядным поспешают подпосочки мин. В каждой руке у них по лотку. Замыкают строй безлошадные ездовые.

— Хорошо им, — завидует Яшка Ревич. — И здесь трусят налегке, придуриваются, а на фронте вообще будут на лошадках ездить. «И-го-го!» — и никаких проблем.

У всех через плечо противогазы, на поясах малые саперные лопаты, подсумки, фляжки. А бросок продолжается: два километра бегом, два — форсированным маршем. Снова маршем и опять бегом...

Наконец вот она, холмистая, припущенная снегом гряда — район учений. С утра тактика. Тема занятия: «Одиночный боец в наступлении». Минометы сейчас нам не требуются. Но их всегда таскаем с собой, ведь мы — минометчики. Собираем минометы в боевое положение — и снова в строй. Потом по одному мчимся вперед короткими перебежками, прижимаясь к самой земле. У «огневого рубежа» плюхаемся в мокрую снежную кашу. Не поднимая головы, отстегиваем на бедре лопату и принимаемся быстро выбирать из-под себя грунт. Начинаются нескончаемые землеройные работы. Очень медленно растет бруствер. Дальше — еще хуже. Лопата со звоном ударяется в твердь, на глубине штыка мороз намертво сдвигает почву. Тут не лопатой копать, а бить киркой или ломом. Но что поделаешь!..

— Зарывайтесь быстрее! — кричит лейтенант Тимофеев. Он переходит от окопа к окопу и смотрит на часы. — Да не поднимайте головы! «Противник» ведет кинжальный огонь из пулемета!

Над тальми лужами клубится пар. Вместе с влагой земли в газообразное состояние переходит курсантский пот. Звенят лопаты, откалывая комья мерзлой земли с галькой — сущий железобетон. Но окоп все глубже. Вот уже удобно стрелять лежа, спрятавшись за бруствер. Потом с колена. Наконец готов окоп полного профиля.

— Молодцы! — хвалит командир взвода, захлопывая крышку карманных часов. — Теперь принимайтесь за ходы сообщения. Прорубайтесь навстречу друг другу. Тяжело, понимаю. Но ведь бойцам под Москвою еще тяжелее.

В последние дни из Москвы идут радостные известия. О них рассказывает нам комиссар батальона Зеленцов. Фашистов отбросили от столицы, гонят на запад, но враг оказывает ожесточенное сопротивление.

...Наконец объявляется перекур. Во взводе курят всего несколько человек. Некурящие собираются вокруг Ревича.

— А ну, Яшенька, расскажи что-нибудь интересенькое...

Яшка щурит один глаз, мучительно соображает, что придумать. И вот, готово. Оказывается, в мироте другого батальона завелся у него дружок Петька. Этот курсант, позабыв начисто указания своего взводного, что ориентиром при стрельбе надо выбирать лишь неподвижные объекты, привязал свой миномет к отдельно взятой корове, пасущейся на лугу. Коровка щипала травку там и тут, а Петька водил за нею свой угломер-квадрант. А по команде «Огонь!» заложил мину.

— И что вы думаете, мина угодила как раз во двор одной молодки, куда старшина Петькиной роты забежал попить молочка...

Ребята дружно хохочут.

Но вот старший сержант Чепурнов поднимает правую руку.

— Взвод! В колонну по одному стройся!

Позади шесть часов. Шесть изнурительных часов, от которых дубеет шинель и саперные лопаты наливаются стокилограммовой тяжестью. Но пора возвращаться в казарму. И опять два километра бегом и два — форсированным маршем. Минометный ствол при каждом движении бьет по ногам, опорная плита отчаянно тянет назад, руки подносчиков мин совсем одеревенели, вот-вот кисти разожмутся и лотки с грохотом покатаются по камням...

Бегом, бегом! Еще быстрее! На обед надо поспеть вовремя. Распорядок дня расписан по минутам. Опоздаем — другие роты зевать не будут. Придется долго ждать, пока освободятся столы. А курсант военного времени всегда хочет есть. Разбуди его в три часа ночи, поставь миску горохового супа из концентрата — будет есть. После обеда готов слопать еще три обеда. Попавшие в наряд рабочими по кухне что-то жуют с вечера до утра. Хватают все, что можно положить в рот. Сырую морковь и квашеную капусту, картошку, испеченную в кочегарке, и почерневшую корку пшенной каши, которую соскребают со стенок котла специальными лопаточками. Потом, смеясь с наряда, подолгу маются желудком, страдают; наиболее отчаянные из едоков, как, например, бывший вегетарианец Борька Семеркин, даже попадают в лазарет.



К обеду успеваем, как говорится, впритык. В длинном приземистом зале за каждым столом двадцать мест. Пока разыгрываются пайки хлеба («Ревич, отвернись! — командует Виктор Шаповалов. — Это кому?» «Чамкину!» — отвечает наугад Яков. «А это?» — «Чурыгину!»), дежурные ставят на каждый стол по три бачка с супом. Два больших — по восемь порций, маленький — на четверых.

Витька Шаповалов отправляет первую ложку в рот, и его лицо покрывается мелкой испариной, он хватается за горло, вот-вот его вывернет наизнанку. На физиономиях других ребят написана полнейшая апатия. Кровь колесами скорого поезда стучит в висках, легкие после всех бросков и перебежек еще никак не могут напитаться кислородом. Руки, перекопавшие за день кубометры мерзлого грунта и перетаскавшие пуды железа, не в состоянии удержать алюминиевую ложку. Хотя бы минутку отдышаться, передохнуть. Тогда и пяти мисок будет мало!

К столу незаметно подкрадывается старшина роты Чилимкин.

— Почему не едите? — кричит он, — Встать!

Встаем.

— Сесть!

Садимся.

— Встать! Сесть! Встать! А теперь кушать! Не то на плац — и строевой!

Вмешательство старшины, как обычно, помогает делу. Начинаем медленно орудовать ложками, потом все быстрее, быстрее...

После обеда опять занятия: преодоление полосы препятствий, штыковой бой. С винтовкой в руках надо ползти по-пластунски. Перепрыгивать через барьеры. Карбаться вверх по отвесной стене гладкой деревянной панели. На бегу протыкать штыком ватные чучела. Метать связки гранат в узкий коридор...

И каждый день — шестнадцать часов на воздухе. При любой погоде. Даже изучение воинских уставов, политподготовка, теоретические занятия велись не в классах, а под открытым небом. Бывало, сутками мы не спалим противозавов. В них спали, занимались, стояли в нарядах. Только в столовой нам разрешали сбросить маски. Впрочем, ребята незаметно отвинчивали клапаны гофрированных трубок. И чувствовали себя неплохо. На занятиях, проводившихся сидя, создавалась благоприятная обстановка соснуть,

Преподаватель топографии капитан Боголюбов, закрепив на дереве карту, обращается к Анатолию:

— Курсант Фроловский, подойдите к карте и измерьте курвиметром расстояние от выселок Пухи до реки Серебрянки.

Никакого впечатления. Курсант Фроловский подойти к карте не может. Только посапывает.

— Курсант Семеркин, растолкайте сидящего рядом с вами курсанта Фроловского.

Курсант Семеркин это сделать не в состоянии, он тоже спит.

Как-то вечером нас водили в городской театр. Давали «Горе от ума». Чацкий играл с чувством, но ходил по сцене с костью и палочкой. Когда он крикнул: «Карету мне, карету!» — Яшка неудачно сострил, что он, вероятно, просит вызвать карету «Скорой помощи». На Яшку посмотрели с осуждением. Артист, совсем еще молодой парень, потерял ногу на фронте. Сержант Александровский признал в нем своего знакомого. В антракте бегал за кулисы, просил его съездить в Андижан, проведать Нину.

Когда мы выходили из театра, Яков подтолкнул меня локтем:

— Забыл тебе сказать, что отец прислал мне вырезку из ашхабадской газеты. Пишут, что туркменский парень комсомолец Курбан Дурды стал Героем Советского Союза. Первым среди наших земляков! — восторженно сообщил Ревич. — Младший сержант служил на самой границе и на рассвете двадцать второго июня уже принял первый бой. В высокой пшенице нельзя было вести прицельный огонь, тогда Курбан установил ручной пулемет на плечи товарища и в упор расстрелял наступающих фашистов. Видишь, не растерялся парень. Так бы и нам в бою...

Перед сном Яков показал мне газету. Удивительное дело, я впервые прочел, что в самом начале войны нашим бойцам приходилось действовать на вражеской территории. В заметке говорилось:

«26 июня младший сержант Курбан Дурды со своим отделением получил приказ идти в разведку. Переправившись через реку Прут на сторону противника, находился там в течение суток, нанес на карту все огневые точки врага, а потом открыл по гитлеровцам ураганный огонь. Советские войны уничтожили взвод противника, взяли пленных и без потерь вернулись назад...»

(Я познакомился с Курбаном Дурды после войны, когда он учился в Ашхабадском пединституте, а я работал в комсомольской газете. Встречался с ним много раз, написал несколько очерков. Он рано ушел из жизни: тяжелое ранение дало о себе знать. Курбан остался в моей памяти как необычайно скромный, обаятельный, вдумчивый человек.)

По воскресеньям у нас выпадали свободные часы. Можно было взять увольнительную, побродить по незнакомому городу, заглянуть на базар, купить сушеного урюка, фисташек, гранат.

Ребята записались в разные спортивные кружки, пропадали на стадионе. 23 февраля, в день 24-й годовщины Красной Армии, в училище был большой физкультурный праздник. В нашей роте на старой ферганской основе собралась весьма приличная волейбольная команда. Вместе с Шаповаловым, Ревичем, Чурыгиным и мной играли командир роты Пожидаев и его заместитель Коробкин. Пожидаев сам не бил, выступал в роли разыгрывающего, вполне прилично давал второй пас и вытаскивал от самого пола в броске, казалось бы, безнадежные, что называется, мертвые мячи. Еще раньше мы легко, почти что всухую, обыграли своих пулеметчиков и стрелков, поэтому в неизменном составе представляли весь третий батальон. В финале волейбольного турнира мы встретились с командой второго батальона. Майор Горошко оказался отчаянным болельщиком. Он бегал у самого края площадки и кричал:

— Проиграете — отчислю в хозвзвод! Смотрите не подкачайте!

Мы не подкачали. У наших соперников выделялся Андрей Штифонов, дружок и сокурсник Витьки Шаповалова, тоже бывший студент Алма-Атинского института физкультуры. Он выпрыгивал над сеткой по самую грудь и неотразимо бил по углам площадки с обеих рук. У нас не было игрока такого класса, но ребята играли дружно, старались, а когда на ударную позицию выходил Штифонов, мы ставили ему тройной блок.

Потом были показательные встречи по боксу. Я работал в паре с Шаповаловым. Когда мы еще шнуровали перчатки, Виктор шепнул мне:

— Давай лишь обозначать удары, работать эффектно, красиво, чтобы во всем блеске показать технику. Тут ведь не какое-нибудь первенство, зачем зря лупить друг дружку!

И сам же нарушил уговор. В третьем раунде дал мне несколько сильных прямых в голову. Пока я раздумывал, терпеть ли мне или дать сдачи, раунд кончился. Впрочем, Витька тут же извивился, сказал, что вышло случайно, сгоряча.

Воскресными вечерами я писал письма. Кроме мамы я переписывался с Клавой Колесовой. Она была для ребят из нашего класса незаменимым почтовым ящиком. Потерявшись, мы писали Клаве, и она сообщала нам по-вые помера полевых почт. В каждом письме я спрашивал Клаву, что с Зоей. Она по-прежнему отвечала, что от Зои ни слуху ни духу. Из последнего Клавиного письма я узнал, что под Волоколамском был убит Володя Кукулин. И хотя я ушел в армию раньше его, он первым оказался на фронте. И убит. И это наш математик, Ходячий Логарифм, которого в мирное время и в армию брать не должны были. А я все учусь и учусь...

Впрочем, учење уже подходило к концу. Как-то, возвращаясь с тактических занятий, мы увидели стайку молодых лейтенантов в новеньких гимнастерках. Они несли в охапке такие же новенькие шинели, плащ-палатки, планшеты.

— Братцы, да это же ребята из второго батальона! — воскликнул Яшка Ревич, показывая на Андрея Штифоновна, нашего недавнего противника на волейбольной площадке.

Да, это были они, ребята из второго батальона, который приступил к занятиям всего лишь на десять дней раньше нас.

— Поздравляем, друзья! — закричали мы хором.

Лейтенанты подошли к нам, начали рассказывать с чувством некоторого превосходства:

— Сегодня с утра, как обычно, пошли на стрельбище, не успели отстреляться, как бежит посыльный из штаба училища, кричит: «Вашей роте приказано возвращаться в казарму!» Возвращаемся. Выстраивают на плацу, зачитывают приказ из штаба округа. Ну а затем просят идти на вещевой склад, получать комсоставское обмундирование.

Теперь на занятиях мы все время вертели головами по сторонам: не спешит ли к нам посыльный: приказ из Ташкента ожидался со дня на день.

Что ж, мы хорошо овладели пехотной наукой, изучили как свои пять пальцев стрелковое оружие, винтовки, пулеметы, противотанковые ружья, гранатометы и, копеч-

но же, наш родной восьмидесятидвухмиллиметровый миномет. Многие могли бы командовать не только взводом, но и ротой. Мы давно свыклись с мыслью, что будем общевойсковыми командирами. Хотелось поскорее попасть на фронт, где дрались мои товарищи, где погиб Вовка Куклин. К тому же мы по горло пресытились трудной курсантской жизнью. Не терпелось поскорее поменять опостылевшие обмотки на сапоги, надеть шерстяную гимнастерку, португую, бежать уже не в строю, а рядом со строем, как лейтенант Тимофеевко. Хоть несколько дней свободно погулять по городу, пожить до назначения в часть на квартире, одному растянуться на всей кровати, и чтоб никто не орал по утрам ошалелым голосом в самое ухо: «Подъем!»

Что ж, оставалось ждать совсем немного...

Как-то поутру, одеваясь, мы схватились за гимнастерки. Но что такое? У Чамкина в петлицах два кубика, у меня — три, у Шаповалова — шпала, у Семеркина — две. И тут все обратили внимание на ухмыляющуюся физиономию дневального Ревича.

— Твоя, Яшка, работа?! — взревел Борька. Он один никогда не смеялся над Яшкиными шутками. Яков часто проезжался по его молочно-овощному прошлому, а Борьку это злило.

— Моя, — признался Ревич. — А что? Пока вы тут дрыхли, я трудился, как Коперник. Не пойму, Борис, чем же ты недоволен? Чамкин стал лейтенантом и, как видишь, рад. А тебе присвоили майора, и ты в пузырь. Извини, подполковника дать не могу, прав не хватает. Да и округ не утвердит, тут Москва должна сказать свое слово. А вас, друзья, от души поздравляю! Хотите, оглашу приказ? — И достает из кармана какие-то листочки.

Никто, кроме Яшки Ревича, лейтенантского звания нам не присвоил. Но начиналось все так, как мы ожидали... С утра выкопали минометные окопы полного профиля, пристреляли батарею по вешкам. Лейтенант Тимофеевко объявил перекур.

В Ферганской долине бушевала весна. В садах отцвел урюк, на базаре появилась первая клубника, пьянящий воздух был тугим и звонким, в домах распахнулись окна.

Мы не сразу обратили внимание, что на позициях появился посыльный, сначала услышали, как лейтенант Тимофеевко весело крикнул:

— Кончай курить! Минометы на вьюки, возвращаемся в училище!

— Товарищ лейтенант, получен приказ? — подбежал к командиру взвода шустрый Яшка Ревич.

— Не знаю, товарищ лейтенант, — в тон ему ответил Тимофеенко, — но догадываюсь...

Никогда мы так резво не бежали назад. Проклятая труба била по ногам, двунога-лафет выворачивал спину, тяжелые лотки вызывали в суставах пальцев ноющую боль. Но ведь все это в последний раз! В последний раз на гимнастерках курсантские петлицы, а на ногах постоянно сползающие обмотки: январь, февраль, март, апрель...

На плацу возле штаба училища были уже стрелковые и пулеметная роты нашего батальона. Но что это? Появляются курсанты первого и второго батальонов, которые начали заниматься всего две недели назад. Они-то здесь с какой стати?

По лесенкам крыльца во двор спускается начальник училища генерал-майор Бердников, за ним полковой комиссар Осипов, незнакомые нам старшие командиры.

— По вашему приказанию личный состав Харьковского пехотного училища построен! — доложил генералу начальник штаба полковник Утургаури.

Над плацем воцарилась мертвая тишина. Сотни курсантов обратились в слух. Тяжелыми камнями падали на площадь слова генерала:

— На фронте сложилась тяжелая обстановка. На харьковском направлении идут кровопролитные бои... Командование уверено, что не уроните честь... Под Харьковом враг будет разгромлен... Ставка подтягивает резервы... Курсантские батальоны должны стать ударным кулаком наших наступающих частей и соединений... Будьте умелыми и бесстрашными в боях с ненавистным врагом... Возвращайтесь с победой!

Майор Горошко прощался с нами в расположении батальона.

— Вам все понятно? — спросил он.

— Все понятно, — отозвалось несколько голосов.

— Харьковчане в батальоне есть?

Харьковчач не было.

— А я вот харьковчанин и остаюсь здесь со всем средним командным составом. Будем принимать новое пополнение, учить, чему учили вас, — с грустью сказал майор. — Но я надеюсь на вас: возьмете Харьков и не отдадите врагу. Используйте в боях все, что дало вам Харьковское пехотное...

На сборы отвели нам два часа. А что собирать? Из личных вещей у меня были только зубная щетка и зубной порошок, бритвы я не заводил: еще не брился. На складе в школьном портфеле лежала моя гражданская одежда: ботинки, брюки, майка и трусы...

Из-под матраса достал кипу маминых писем, я их хранил. Пошел за котельную к арыку, присел на камне. По нескольку раз прочитал слова, написанные крупным подчерком учительницы, тем самым, каким она писала в тетрадках своих учеников: «Будь внимателен, делая упражнения, не пропуская слов».

А потом задумался: что делать с письмами? Брать на фронт? Я вспомнил недавнюю статью Ильи Эренбурга, в которой он густо цитировал письма, найденные у убитых фашистских солдат. Я представил себе: а вдруг мои письма попадут к какому-нибудь подручному Геббельса и тот начнет измываться над дорогими мамиными словами, кликушествовать над моим прахом? Нет и нет! Правда, я по-прежнему не мог поверить, что меня убьют. И все же... Я рвал письма на мелкие клочки и бросал их в арык. Медленно кружась, они плыли вниз, огибая торчащие из воды камни, то сбиваясь в кучу, то разбегаясь к разным бережкам. Я глядел им вслед, мне казалось, что разорванные мамины слова плывут в вечность...

Я очень сожалел потом, что не сохранил маминных писем, не вел дневников. Но как я мог сберечь их в окопах, в атаках, когда мы бросали все: скатки шинелей, котелки, вещмешки — и бежали с винтовками наперевес? Или на переправах, когда, держась за бревна разбитых плотов, мы плыли по вспененному снарядами Дону? И все-таки очень жаль, что теперь у меня под рукою нет никаких записок. Ведь прошло более сорока лет. А человеческая память несовершенна, одни события высвечивает ярко, выпукло, рельефно, как в стереокино, другие окутывает сплошной завесой тумана. И нет в этом логики, закономерности, последовательности. Я хорошо запомнил летчика Коврижку, которого мы встретили в ферганском поезде по дороге в летную школу. Вот и сейчас вижу его горбатый нос, пошловатую ухмылку на припухших губах, ямочки, слышу его хрипловатый голосок, рассказывающий о любовных похождениях. Мимолетная встреча, пустяк. И в то же время я начисто забыл фамилию политрука нашей роты, который шел с нами в атаку в одной цепи и который за мгновение до смерти крикнул: «Вперед за Родину, за Сталина! Вперед...» Много лет спустя Иван

Чамкин напомнил мне, что его фамилия была Парфенов. Конечно же, Парфенов! Как же я мог забыть?

...Последний клочок маминых писем не нашел приюта в заводи у берега, выплыл на середину арыка и, подхваченный течением, нырнул под глиняный дувал и исчез. За углом котельной во дворе послышался топот сотен курсантских ботинок. Дежурный по батальону объявлял построение...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ, ЗАПИСЬ ШЕСТАЯ...

«Май 1942 г. Командир минометного расчета минроты. 3-й батальон, 522-й стрелковый полк, 107-я стрелковая дивизия».

И опять меня провожала мама...

Теперь уже не в училище — на фронт.

Весенний цвет золотил молодые листочки знаменитых яблоневых садов Намангана. Стремительные арыки уносили вдаль осыпавшийся яблоневый пух. Я подумал, что, может быть, там, в белой паутинке каналов, попытается угнаться за нашим поездом обрывок маминого письма. Мне стало грустно, что я порвал письма мамы. Зачем? Надо было оставить хоть одно. Зачеркнуть адрес и фамилию на конверте и оставить. В крайнем случае никто посторонний не смог бы узнать, кто его написал и кому. Тогда бы со мной было мамино слово. Теперь его нет. Когда же мама напишет мне снова? Куда?

«На фронт, на фронт!» — отстукивали колеса стареньких пассажирских вагончиков. Я лежал на верхней полке и глядел в окно. Внизу разгорался оживленный спор. Я прислушался к голосам.

— Приказ о производстве нас в лейтенанты, должно быть, уже подписан командующим округом, — говорил рассудительный Чамкин, всегда веривший, что все в конце концов образуется как надо. — Ведь другие батальоны за этот срок уже выпускали. Вот увидите, приказ придет вдогонку.

Ему возражал Эдик Пестов:

— Где нас будут искать? А если мы прямо из эшелона да в бой? Кого отвезут потом в госпиталь, кого отведут на формирование; как потом докажешь, что ты учился в летной школе, потом окончил пехотное? Документов у нас никаких...



— На кой ляд они вам сдались? — скептически усмехнулся наш бывший отделенный командир Александровский. — О чем шумите вы, народные витии? Какая разнища, кто мы: лейтенанты, сержанты, курсанты! Туда-то нас доведут, а обратного билета никто не заказывает.

Сержант был по-прежнему мрачен. Видимо, он страдал в предчувствии, что ему может изменить Нина. В один из последних дней она приезжала в Наманган, словно знала, что нас отправляют на фронт. Сержант отпросился с послеобеденных занятий. Когда мы уходили на плац упражняться в штыковом бою, они стояли у ворот, держась за руки. Рядом с красавицей Ниной сержант совсем не смотрелся. Трудно было поверить, что эта броская женщина была женой такого неприметного мужичины в мешковатой гимнастерке, в обмотках на тонких кривых ногах. Наверное, и в гражданском костюме он не очень-то соответствовал Нине. Сержант рассказывал, что он играл Фамусова, она — Софью, он — городничего, она — Марью Антоновну. Не только на сцене, но и в жизни он выглядел отцом Нины, хотя был старше ее всего лет на восемь. Очевидно, он мучился с самой женьтибы, он любил Нину и, быть может, слишком хорошо ее знал.

Ночью проехали так хорошо знакомую нам станцию Урсатьевскую, а днем прибыли в Ташкент. Нас загнали на запасные пути, где уже стояли грузовые составы с оборудованием эвакуируемых заводов, с цистернами горючего, со всяким воинским имуществом. Выбраться отсюда было не так-то просто, судя по всему, нас собирались продержать на станции долго. Начальник эшелона, незнакомый нам подполковник, отправился в штаб округа, решив ташкентским ребятам повидать родных.

— Чтоб через два часа все как один были в вагонах. И ни минутой позже...

Я тоже ушел с ташкентскими: здесь жили мои родственники со стороны отца — бабушка, дядя, тетя, двоюродная сестра Юля. Мы, отпущенные, долго подползали под вагонами, прыгали через рельсы, бежали по переходному мосту, прежде чем оказались в душном, забитом людьми вокзале. Устойчивый запах дешевого табака пропитал стены и потолок здания, на грязном полу ползали чумазные дети. На лавках, обхватив свои мешки, сидели и полулежали старики и старухи. Проходы тоже были забиты узлами, сумками, чемоданами. Обитатели вокзала, как видно, расположились здесь надолго: распивали из больших жестяных кружек кипяток, брились, причесыва-

лись, писали письма, принимали лекарства. От скамейки к скамейке, едва не наступая на детей, бродили неопрятные личности с испитыми физиономиями. Пользуясь бедственным положением приезжих, барыги норовили за бесценок скупить то небольшое, что у них еще осталось. Молодая женщина с поседевшей головой пыталась зубами снять кольцо с пальца левой руки, другою же прижимала к груди младенца. Ее соседка, раскрыв чемодан, показывала скупщику свои вещи: картину в позолоченной рамке, меховую горжетку, настольные часы.

— Вот, возьмите эту статуэтку французской работы, — умоляла женщина. — Я купила ее в двенадцатом году.

Барыга равнодушно мотал головой, не спуская глаз с чемодана, и ожидал, когда оттуда явится вещица поинтереснее.

Вокзал не смог вместить всей этой волны беженцев, постепенно докатившейся до Ташкента. На площади, на отходящих от нее улицах сидели люди, накрывшись одеялами. Шел дождь — из тех, которым не бывает конца. А люди сидели, деться им было некуда. Впрочем, многие толкались у наружных билетных касс, все стены которых были обклеены рукописными объявлениями. Какой-то мужчина в латаной кацавейке с трудом отыскал местечко и для своей бумажки: «Волосевичи из Гомеля были тут в мае 1942 года и уезжают в Коканд к Воскресенским. Лиля, Соня, Григорий, Нина погибли в бомбежке. Мария умерла в дороге, на станции Туркестан. Ждем в Коканде семью Матвея Когана, если вы живы...»

Я пробирался через привокзальную площадь и пытался представить себе незнакомый город Гомель, разбуженный на заре воем пикирующих бомбардировщиков, грохотом ворвавшихся танков; обезумевших матерей, спасающих детей из объятых пламенем жилищ; толпы измученных людей на дорогах, ведущих на восток... В тот вечер в Ташкенте, далеко-далеко от фронта, мне впервые увиделся ужасающий лик войны — без ореола романтики...

Сгущались сумерки, дождь не переставал, поднялся ветер. Трамвай третьего маршрута долго кружил меня по узким улицам глинобитных домов. Наконец вырвавшись на простор, трамвай обогнул центральный сквер и покатился по улице Энгельса. Я сошел у Алайского базара — бабушкин дом был через дорогу.

Ташкентские родственники поддерживали добрые отношения с мамой. Моего отца, бросившего нас, они всегда осуждали. Я отворил калитку и оказался в знакомом мне

дворе. Мы часто приезжали к бабушке. Однажды, когда мой брат Борис болел скарлатиной, мама отправила меня сюда на все лето. Я только закончил первый класс. Мы бегали вокруг огромных, в десять обхватов, чинар вместе с моей двоюродной сестрой Юлькой и ее подругой Ненькой. Ненька носила очки, и это возвышало ее в моих глазах. Тогда я считал, что поносить очки разрешают только отличникам в качестве поощрения за высокие отметки: в нашем классе все пятерочники ходили в очках. Помимо очков у Неньки была прекрасная косичка, заплетенная голубым шелковым бантом. Она бегала в белых носочках и в черных лакированных туфельках. Я влюбился в Неньку, в ее очки и косичку. И страдал. Потому что к ней приходил играть гундосый Витька с соседнего двора. И, представьте, Ненька отдавала свои симпатии этому сопливому ничтожеству. Должно быть, своим женским умом она понимала, что я здесь временный жилец, а он вполне может стать постоянным кавалером.

Я замыслил отвадить Витьку ходить в бабушкин двор. Однажды мы играли в палочку-выручалочку, и я публично обвинил Витьку, что он подсматривает через растопыренные пальцы, куда я прячусь. Используя этот повод, я дважды съездил ему по зубам. Мой соперник не принял честного боя. Он заорал благим матом и пустился наутек, распуская по ветру свои сопли. У ворот я уже совсем настигал Витьку, когда в траве что-то больно укололо меня в голую пятку. Я нагнулся, увидел какую-то брошку, положил в карман.

Пока я занимался ликвидацией конкурента, Ненька сбегала домой и вернулась с куском копченой колбасы. Я никогда не ел ничего подобного. Мне очень захотелось вгрызться зубами в это темно-красное мясо с бледно-розовыми вкраплениями сала. Я сглотнул слюну.

Мы начали играть в классы. Ненька ловко поддавала носком туфельки гладкую керамическую плитку, прыгая вслед за нею из квадрата в квадрат. При этом она с явным равнодушием пережевывала колбасу, выплевывая сало.

— Зачем ты плюешься? — спросил я. Мне так хотелось попробовать хоть кусочек.

— А беленькое не едят, — авторитетно заявила Ненька, подсакивая на одной ноге. — И вообще, это совсем невкусно. Брр!

Она размахнулась и швырнула колбасу в пыль.

Весь мой любовный пыл улетучился за секунду. Я воз-

пенавидел Неньку. Видно, во мне разыграло извечное ожесточение желающего есть к пресыщенному.

Вернувшись к бабушке, я стал разглядывать свою находку.

— Боже! — всплеснула руками старушка. — А я-то думала, что ее у меня сняли на Алайском базаре. Да брошке цены нет! Чистое золото с бриллиантиком. Ведь это единственная память о твоём дедё Борисе. Он подарил мне брошь в день, когда родился твой отец. Как хорошо, что ты погнался за этим сорванцом Витькой!

Я неожиданно стал героем дня. О моём подвиге бабушка рассказала вернувшимся с работы дяде Володе и тете Агнессе. Сестричка Юлька смотрела на меня восторженными глазами: ещё бы, нашел бабушкину брошь!.. Как это было давно! Десять лет назад...

Теперь, когда я внезапно возник на пороге в военной форме, бабушка чуть не лишилась чувств. Она резко вскочила с диванчика, у нее закружилась голова. Бабушка оперлась на край старинного резного буфета. Я успел обхватить ее за плечи, помог сесть.

— Тебя уже гонят на войну?! — испуганно воскликнула старушка.

— Почему гонят? Сам еду.

— Сам? — удивилась старушка. — А помнишь Витьку, за которым ты погнался, когда нашел у ворот мою брошку? Пришло извещение: убит.

— Как же, помню Витьку, — вздохнул я и тут же заметил, что на платье бабушки нет дедушкиного подарка.

— А где брошь?

Старушка ответила не сразу.

— Пришлось продать. И уже проели. Знаешь, какие теперь цены на базаре? Буханка хлеба — триста рублей, одно яйцо — десять. Кстати, ты хочешь есть?

Я хотел, но, услышав о таких ценах, отказался.

— Да ты не беспокойся, — сказала бабушка. — Это я так, к слову. Живем пока не хуже других. У твоих дяди и тети карточки рабочих. Мы с Юлькой получаем как иждивенцы. Сейчас разогрею борщ.

Бабушка всегда стряпала великолепно, теперь же ее обед вообще показался мне королевским. Я ел борщ и разглядывал бабушку. Она не менялась с тех самых пор, как я ее помню. Возможно, тогда я просто не улавливал разницы между пятидесятилетними и шестидесятилетними — все люди старше сорока казались мне безнадежными стариками.

Я быстро опустошил миску, обглодал две маслины и проглотил косточки (бабушка считала, что косточки маслин нужно обязательно проглатывать, это полезно). С такой же скоростью умял тарелку гороха с бараньим салом.

— Наелся? — спросила бабушка.

— Наелся, — соврал я.

Она принялась убирать посуду.

— Ты, может быть, приляжешь на дорогу? Сейчас с работы приедут дядя и тетя. Юлька прибежит с вечерних занятий. Тогда чаю поьем.

Я взглянул на огромные напольные часы с кукушкой, которые помнил с детства, и заторопился: стрелки показывали четверть восьмого.

— Подходит мой срок. Через сорок минут я должен быть в эшелоне. Пора ехать.

— Все будут огорчены, особенно Юля. — Бабушка заплакала.

— Я очень бы хотел повидать дядю, тетю, сестричку. Но эшелон уйдет, меня объявят дезертиром.

Бабушка сунула мне в карман баночку алычового варенья, проводила до трамвайной остановки, перекрестила, поцеловала в лоб.

— Ты уж там поберегись, не лезь самый первый, пожди других, — сказала она и опять заплакала.

По вокзальной площади болтались наши курсанты. Состав все еще стоял в тупике, и никто не знал, когда мы тронемся.

Меня с нетерпением ожидал Витька Шаповалов. Он забрался на верхнюю полку вагона, оглянулся по сторонам, заговорщически подмигнул и достал из-под сложенной шинели бутылку водки. На этикетке были изображены пшеничные колоски. Я вспомнил, что такую водку пил отец, когда еще жил с нами.

— Откуда разжился? — с деланным интересом спросил я. К водке я был абсолютно равнодушен.

Оказывается, у нашего вагона тоже появлялись барыги-скушники.

— Продам свое гражданское шмутье, — сообщил Виктор. — На кой ляд оно теперь мне сдалось! — добавил он, как бы сам себя утешая. — Сплошная обуза. Таскай за собой да гляди, чтоб не украли.

Мы выпили по полкружки, закусили бабушкиным алычовым вареньем.

— Ну как? — спросил Витька, — Нравится? А я тут

запасся еще одной бутылкой. Дорога ведь не близкая, а дальше все будет еще дороже. — Он пошарил под шинелью рукой, достал еще один сосуд с пшеничной наклейкой. — Спрячь-ка ее у себя.

Я потянулся к своему портфелю — он был пуст.

Витька помолчал, как бы изучая мою реакцию, и, убедившись, что я не возмущаюсь, сказал:

— Думаю, что ты не обидишься. Так уж получилось. Заодно со своим барахлишком я махнул и твое. За все запросил тысячу рублей. Дали не глядя восемьсот. И по рукам. Хорошо я спроворил это дельце, не правда ли?

— Не так чтоб уж очень, — ответил я, наслышанный от бабушки о нынешних ценах. — За все должны были дать, наверное, тысячи три, не меньше.

— Да быть не может! — озадаченно присвистнул Виктор. — Но откуда нам было знать в закрытом военном гарнизоне о движении цен на гражданском рынке? Тебе жаль шмоток?

— Ничуть, — вполне искренне ответил я. — Ты прав, сколько нам еще таскаться с барахлом!

— Правильно! — воспрянул духом Виктор. — Давай еще возьмем по восемь капель.

Я отказался. Виктор налил себе.

— Во время войны цены на шмотки растут, на человеческие жизни падают, — философствовал Виктор. — Я читал в каком-то научном журнале, что стоимость материалов, из которых состоит человек — вода, кальций, железо, минеральные соли и прочая химическая номенклатура, — составляет что-то около двугривенного. Ну а в военное время, когда все девальвируется, цена человеческой жизни падает даже ниже ее химической стоимости. Так чего же нам тужить о шмотках?

В десять вечера передали по вагонам, что сейчас тронемся. Начались бесконечные маневры: толчки, остановки, ляганье буферов, крики железнодорожных рабочих. Только ночью эшелон вырвался на оперативный простор.

Еще в Намангане ребята разместились по вагонам и купе, собираясь земляческими компаниями или прежними летними экипажами. Наше отделение было дружным, мы заняли купе с боковыми полками, негласно признавая старшинство сержанта Александровского.

Продуктов нам не выдавали, на крупных станциях были созданы вместительные столовые, в которых кормили проезжающие на фронт эшелоны. Обслуживали быстро, четко: бачок первого и кастрюля второго на де-

сять человек. Только меню было уныло-однообразным: суп из горохового концентрата да каша из пшеничного.

— Хорошо Борису Семеркину, воспитан человек на постной пище,— все пытался шутить Яшка Ревич.— А каково нам!

Впрочем, Борька мечтал о свиной котлете не меньше других.

А в разговорах мы по-прежнему обращались к нашей запутанной военной судьбе.

— Прошли четыре училища и двенадцать коридоров,— вздыхал Чурыгин.— Летчиков из нас не получилось. Авиамехаников не вышло. До командиров минометных взводов неделю не дотянули.

— Не понимаю, чем народ у нас недоволен,— с подковыркой отвечал Чамкин.— В пехотном на мандатной комиссии все рвались на фронт рядовыми бойцами. А когда командование удовлетворило вашу просьбу, опять слышится непонятный ропот. На вас просто не угодишь.

За городом Уральском кончался Казахстан, начиналась Россия. Непривычно ранние рассветы быстро гасили звезды в холодном небе, за окнами вагонов кружили перелески, под мостами бурлили полноводные весенние реки.

На остановках к эшелонам выходили крестьянки из окрестных деревень, возникали шумные базары. Цены на яйца, молоко, хлеб были уже солидные. Но еще охотнее денег в уплату за съестное брали соль, спички, мыло, чай. Особый интерес у хозяек вызывали вафельные полотенца, портянки, белье. Витька, взяв меня в компаньоны, отправился торговать шерстяные носки, которые прислала ему в посылке мать.

— Зачем сейчас шерсть? — усмехнулся Шаповалов.— На дворе скоро лето, а до зимы доживем, найдем, чем согреться.

Толстая молодуха в солдатской телогрейке, с хитринкой в глазах, громко кричала:

— Вот кому горячих щей со щековиной!

Перед нею на захваченной из дома табуретке стоял дымящийся котелок, издававший густой мясной дух, рядом были разложены миски, деревянные ложки, ломти пышного хлеба и даже соль в солонке — просто походный пищеблок. Толстуха налила нам по миске наваристых щей, отделила два ломтя хлеба и, тревожно оглянувшись по сторонам, проворно сунула за пазуху Витькины носки.

— Чаво пуфаетесь? — прошамкал Виктор, перека-  
тывая на языке обжигающе-горячую картофелину.

— Да милиционера, будь он неладен! Гоняет баб от поездов, торговлишке мешает. А какая у нас торговлишка? Котелок щец! Правда, в последнее время поутих наш Гаврилыч. Сказывают, что на какой-то станции стоял эшелон с краснофлотцами. Матросики покупали кое-что у женщин, когда подошел милиционер и стал придира-  
ться к бабам. И то продавать нельзя, и это запрещается, Матросы на него зашумели: дескать, ты, дармоед, застрял в тылу да горло дерешь, с солдатками воюя! Затащили горластого в вагон, напялили на него полосатую морскую тельняшку, а милицейскую форму в окно выбросили. И записочку жене написали: «Не горюй, Марфа, подался я на фронт в добровольном порядке. Ничего, авось с матросиками не пропаду». Сначала, говорят люди, милиционер переживал, домой просился, а попал на позиции, развоовался, даже медаль получил...

— Захватить, что ли, нашего Гаврилыча на фронт? — засмеялся Виктор, впечатляясь услышанным.

— Нет, что вы! — испугалась торговка. — Старик он, какой с него вояка! Да и мне свойственником приходится.

Женщина сочувственно посмотрела, как мы бережно добираем с донышка тарелок последние капустинки, сказала со вздохом:

— Налила бы вам, ребята, еще бесплатно, да вот что принесла, расторговать надо. Налог не плачен. А дома есть еще чугунок, зашли бы, накормила досыта.

— Некогда, эшелон уйдет, — тоскливо отозвался Виктор, вспоминая миску со щами. — Вот милиционер в дальнейшем отличился, а нас за дезертиров могут посчитать.

— Тогда обратно заезжайте, если путь будет, — пригласила молодуха. — Поселок у нас небольшой, спросите Настю, каждый покажет.

За Волгой соблюдалась непривычная для нас светомаскировка. На станциях, в поселках, в городах, мимо которых мы проезжали, с наступлением сумерек все погружалось во мглу. Ни огонька, ни вспышки. Часто в небе слышался зловеший гул моторов, грохот сотрясал землю, и вспыхивало оранжевое зарево. Рассказывали, что немцы бомбят многие железнодорожные станции. У нас пока было все благополучно. Но состав двигался очень медленно, стоял, можно сказать, у каждого теле-



графного столба. Навстречу ползли эшелоны со снятым заводским оборудованием, с беженцами, все чаще попадались санитарные летучки. Наши курсанты собирались у вагонов с красными крестами, откуда выглядывали раненые. Один из них, парень наших лет, держа перед собою руку в гипсе, спрыгнул на пути. Его сразу же окружили наши ребята. На лице парня лежала печать превосходства, он поглядывал на нас свысока, как-никак он познал то, что было для нас еще непознанным, неизвестным.

— Ну как там дела на передовой? — деловито осведомился Яков Ревич. — На театре военных действий?

— Постреливают. — Парень важно сплюнул сквозь зубы. — В кое-кого даже попадают.

— А сколько были на передовой? — поинтересовался Иван Чамкин.

Мы ожидали услышать, что парень воюет с первого дня войны, на худой конец, ну, полгода. Но раненый ответил:

— Был четыре дня.

У Ивана вырвался вздох разочарования:

— И только-то!

— А сколько сами пробить планируете? — спросил парень, не теряя своей важности. — Вот на Кочетовке, мы проезжали, вчера разбомбил он эшелон с вояками, вроде вашего. До фронта еще не добрались, а полные вагоны убитых. Ну, вот, допустим, в первый день наш полк пошел в атаку. Сколько осталось бойцов? Хорошо, если половина. А во второй атаке — от половины половина, стало быть, четверть. Ну а дальше прикинь сам. А сколько можно в атаку ходить? Ведь не заколдованные от пуль и осколков. Либо убьют, либо ранят. Другого пути нет.

Борька Семеркин, промышлявший на станции чего бы покушать, опоздал к разговору, растолкал впереди стоящих, протиснулся к раненому, спросил:

— А в психическую атаку они ходят?

То ли парень не видел «Чапаева», то ли просто не понял вопроса.

— В какую атаку, говоришь?

— В психическую. Ну, это значит в полный рост. Под барабанную дробь. Не стреляя...

— Чего не видел, того не видел. — Раненый определенно был не из хвастунов. — Да и вообще немца так просто не углядишь. Палит со всех сторон, головы под-

нять невозможно, а где он есть, черт его знает. Так вот и ранили...

— А на каком фронте? — спросил через плечо Бориса маленький Яков.

— Под Харьковом.

— А мы туда! — воскликнул Борис.

— Туда пути уже нет.

— Почему?

Наш собеседник махнул здоровой рукой — узнаете, мол, сами — и молча полез в вагон.

За этой летучкой мы встретили вторую, третью, десятую. Санитарные вагоны были набиты бойцами, ранеными под Харьковом.

— Так много?

— Много? — переспрашивали раненые. — Нет, мало. Куда больше осталось там.

Мы уже догадывались, что наши войска на харьковском направлении потерпели поражение, но всей тяжести катастрофы на Юго-Западном фронте представить себе не могли. Откуда нам было знать, что в эти самые часы дивизии, окруженные и разбитые на барвенковском выступе, с боями вырываются из вражеских клещей, что фронт откатывается к Ворошиловграду, Ростову, Курску, Щиграм...

Наконец мы дотащились до Тамбова. Думали, что это очередная остановка, оказалось, что тут конечный пункт нашего маршрута. На привокзальной площади мы построились по своим курсантским батальонам, полагая, что нам сейчас же раздадут виштовки и поведут в бой; где теперь проходит линия фронта, мы толком не знали.

Появившийся откуда-то лейтенант встал во главе нашего батальона и привел его в большое село Стрельцы, километрах в десяти от города. Привел, как выяснилось, лишь на ночлег. Густые запахи запоздалой весны висели в воздухе, на чернеющих полях серебрились лужи, только что прошел дождь, было холодно и сыро.

Село выглядело пустынным. Несколько любопытных мальчишек бежало за нашим строем, да повстречавшаяся старуха в солдатской гимнастерке отчаянно размахивала хворостинкой, пытаясь загнать во двор недисциплинированного петуха.

Из избы с голубыми наличниками на двери и окнах вышел статный красавец капитан в длинной кавалерийской шинели. На его бесспорную принадлежность к кавалерии указывали подковки на сапогах и синие петли-

цы на воротнике шинели. Кавалериста сопровождали две юные девицы, которые проворно щелкали подсолнухи. Капитан грызть семечки не мог, он поддерживал своих красавиц под бока. (Простим ему эту вольность, не пройдет и полутора месяцев, как в бою за воронежское село Подгорное ему оторвет обе руки.)

Сопровождающий нас лейтенант подбежал к капитану, взял под козырек, хотел было доложить.

— Вольно! — остановил его кавалерист. — И так вижу, что прибыли. Разводите бойцов по избам. Пусть отдыхают.

— Есть разводиться по избам! — Лейтенант хотел молодцевато повернуться, но, не удержав равновесия, сбил ногу. Девицы прыснули. Им стало смешно, что так выслуживаются перед их кавалером.

Строй распался на группы. Идущий с нами Александровский постучал в какую-то избу. На пороге появилась молодая женщина. На руках она держала мальчонку, другой, чуть постарше, цеплял ее за подол.

— К вам гости, — сказал сержант, здороваясь. — Не прогоните? Хозяин возражать не станет?

— Да какой теперь хозяин дома? — ответила женщина, опуская ребенка на пол. — Нашего хозяина забрали в сорок первом. Только одно письмо от него и было. Ну, заходите. Места хватит.

Я, среднеазиат, впервые попал в деревенскую избу и теперь с интересом разглядывал знакомую мне лишь по детским сказкам русскую печь с кочергой и ухватом, с набором разнокалиберных чугунков на прокопченных полках. Обстановка была небогатой. Вдоль голых стен — широкие лавки, в углу, за грубо обструганным столом, — иконы. «Неужели еще верят в бога?» — удивился я.

Вскоре пришел из школы старший сын хозяйки. В рваном отцовском пиджаке, в маминых ботах на ногах. Под мышкой завернутые в рогожу тетрадки.

Мать усадила паренька за стол, выложила перед ним три небольшие вареные картофелины, соленый огурец, луковицу.

— А ты, мам?

— Я уже поела, — ответила мать и отвела глаза.

Мальчик быстро расправился с ужином, подождал на всякий случай, хотя хорошо знал, что больше ничего не будет, проглотил слюну и сел к окошку учить уроки. Последние лучи заходящего солнца падали на странички его тетрадки, и мальчик торопился. Он быстро распра-

вился с примерами и стал учить стихотворение. Книжки у него не было, он повторял текст, списанный со школьной доски:

В пустыне чахлой и скупой,  
На почве, зноем раскаленной...

Стоило мальчику закрыть тетрадку, как он запинался, чесал в затылке и снова подглядывал в текст. На пустой желудок стихи запоминались плохо. К тому же мальчик, наверное, никогда не слышал таких слов: «анчар», «вселенная», «чело» — и плохо представлял себе, что такое пустыня и как выглядит дерево, с которого на землю капает яд...

Потом я не раз задумывался над тем, что случилось с этим мальчиком. Кто он сейчас? Доктор наук, ученый? Или по обстоятельствам военного времени был вынужден бросить школу, пойти работать в колхоз? Помогал матери пахать на коровах, стал механизатором, по сей день трудится комбайнером, бригадиром, заведующим фермой? Гадание не ответит на этот вопрос. Но когда я вижу теперь, как какая-нибудь московская бабушка хлопчет возле баловника-внука и, даже призвав на помощь папу, маму и тетю, не в силах оторвать его от цветного телевизора и усадить за уроки, я вспоминаю сорок второй год, голодную тамбовскую деревню, три картофелины на необструганном столе, вокруг которого лежали на шинелях солдаты, и мальчика в худых маминых ботах, который в сгущающихся сумерках у окна учил пушкинского «Анчара»...

Утром нас повели обратно в Тамбов. Мы прошли через весь город и оказались на грунтовой лесной дороге, выходящей вдоль железнодорожного полотна. Наконец добрались до маленькой станции Рада, состоящей всего из двух-трех кирпичных зданий. Вокруг лежали штабеля бревен — раньше где-то поблизости велись лесозаготовки. Тут же перешли через пути и углубились в лес. Колючие сумерки клубились под кронами деревьев, сухой валежник трещал под тяжелыми солдатскими ботинками, в чаще тревожно крикнула ночная птица. Мы шли очень долго.

Лес, пугающий своей тишиной и необитаемостью, на самом деле был полон людьми. Утром мы увидели повсюду длинные ряды солдатских землянок с площадками для построения. В капонирах были укрыты грузо-

вики, орудия, походные кухни, накрытые брезентом снаряженные ящики.

Это были знаменитые Тамбовские лагеря, где в годы войны формировались многие части. Сейчас здесь развертывалась 107-я стрелковая дивизия, ее 504, 516 и 522-й стрелковые полки. Мы были уверены, что из курсантов будут созданы отдельные ударные батальоны. Но оказалось по-другому.

Утром объявили построение. Мы стояли на полянке, образуя букву «П». Появилась группа офицеров во главе с майором — командиром 522-го полка. На его груди красовались два ордена Красного Знамени.

— Я знаю, что вы без пяти минут лейтенанты, — обратился к нам майор. — Опытные, хорошо подготовленные военные люди. Вы должны стать стержнем, боевой пружиной личного состава полка, батальонов, рот, взводов, помогать нам учить бойцов, показывать им пример, вести их за собой.

А затем состоялись торги, вроде тех, которые были в училище в первый день нашего прибытия. Только выбор здесь открывался гораздо шире.

— Пятнадцать человек ко мне в полковую артиллерию! — кричал артиллерийский капитан.

— Десять человек в роту связи! — зывал другой командир.

— Музыканты есть? Трубачи, барабанщики? — спрашивал капельмейстер полкового оркестра.

— Химвзвод!

— Отдельная рота автоматчиков!

Вперед вышел бравый капитан, которого мы видели накануне в деревне Стрельцы.

— Ну а кто хочет ко мне в стрелковый батальон, в минометную роту? — весело крикнул кавалерист.

Отозвалось много голосов:

— Мы хотим! Учились на минометчиков!

— Вот и превосходно! — обрадовался капитан. — Будем воевать вместе. Минометчики, выходите вон туда, на край поляны, к большой сосне.

Впрочем, из нашей курсантской роты у сосны оказались далеко не все. Минутой раньше во взвод пехей разведки ушли Володька Чурыгин и еще восемь ребят. Остался в строю бывший командир нашего отделения Александровский.

— А вы разве не с нами? — удивился я.

Сержант махнул рукой.

— Выбираю чистую пехоту. Там хоть одну винтовку с собой таскать, а не этот дурацкий самовар. Напился из него по уши, сыт по горло. Мерси!

Возле большой сосны собралось человек сорок. К нам подошел комбат вместе со старшим лейтенантом, невысоким, коренастым кавказцем.

— Очень здорово, что вы курсанты-минометчики, — все радовался капитан. — Значит, будете бить врага без промаха. С такой минометной батареей пехота не пропадет!

— А почему кавалерист командует стрелковым батальоном? — шепотом спросил меня Яшка Ревич.

— А чему удивляешься? — ответил вместо меня Ваня Чамкин. — Некоторые пехотинцы совсем недавно еще щеголяли в голубых петлицах.

Петлицы с пропеллером — это из голубого, несбывшегося сна. Бездонное ферганское небо, «тринадцатая-белая», разбегающаяся на взлетной полосе, раскачивающийся над головой белый купол парашюта, — как все это было далеко от утреннего тамбовского леса, от пахнувшей прелыми листьями земли, от лихого пехотного комбата с кавалерийскими петлицами...

— А вот и ваш командир роты старший лейтенант Хаттагов, — показал комбат на подтянутого кавказца. — Воюет с первого дня войны. Начинал бойцом.

Старший лейтенант привел нас в нашу землянку — землянку минометной роты третьего батальона 522-го стрелкового полка. В землянке уже обитало человек тридцать бойцов, зачисленных раньше нас в минроту. Тут же нас распределили по взводам и отделениям. Меня назначили командиром расчета вместо ушедшего в стрелковую роту сержанта Александровского. В нашем отделении оказалось еще трое курсантов — Виктор Шаповалов, Яков Ревич, Борис Семеркин, а также трое только что призванных в армию бойцов — подносчики мин Масленников, Булгаков и ездовой Небензя. Всем им было лет по сорок — сорок пять; в общем, они годились нам в отцы. С незнакомым чувством я приглядывался к ним — своим подчиненным. Раньше все было логично: мы, мальчишки-одногодки, были все на одном, курсантском, положении. Командовали нами люди, старшие по возрасту, по жизненному опыту, по военным знаниям. А тут!

Масленников, Булгаков и Небензя принесли с собою кусок совсем незнакомой мне жизни: печальные разго-

воры об оставленном доме, женах, детях, несмешные побасенки, житейскую мудрость, соседствующую с весьма приблизительным взглядом на вещи, с незнанием элементарных сведений, известных каждому десятикласснику.

Подносчик мин Масленников везал еще в империалистическую войну, которую закончил в австро-венгерском плену. Крупный, плотно сбитый мужчина с массивной головой на короткой шее, узкими бесцветными глазами и сильным, будто простуженным голосом. Из дому он привез мешочек самосада и, к зависти наших табачных курцов, вертел папироски толщиной в палец.

— Угостите табачком,— осмелел как-то стеснительный и деликатный Яша Ревич.— Курить хочется, аж уши пухнут.

— Значит, сначала мой табачок пустим по кругу,— ухмыльнулся Масленников,— а потом будем курить всяк свое.

Не поделиться с товарищем табаком по нашей курсантской морали было самым мерзким поступком, граничащим с подлостью, с предательством.

— Оставьте хоть бычка докурить нам с Яшкой! — унизился Виктор Шаповалов.

От жадности Масленников затыкнулся во всю мочь, закашлялся, из его глаз брызнули слезы.

— Это как же получается? — сказал он, отдышавшись.— Отдам вам, не накурясь, новую вертеть придется. А табак теперь дорог — пятнадцать рубликов стакап.

В эти минуты он напоминал мне знакомого по рисунку в учебнике кулака-мироода, сидящего на куле с пшеницей в голодный год.

Прижимистый подносчик мин до армии работал не то кочегаром, не то сцепщиком вагонов. Он всюду доказывал, что у железнодорожников есть броня и его мобилизовали по ошибке. Над ним посмеивались: ишь какой хитрый, надумал отвертеться от фронта! Тем не менее в штаб пришла бумага, Масленникова отпустили, и он уехал домой с мешком недокуренного табака, так и не угостив на прощанье щепоткой Витьку с Яшкой.

У второго подносчика мин, управдома из Саратова Булгакова, был вид рафинированного интеллигента, на которого потехи ради надели военную форму. Маленький, сухой, с узкой, впалой грудью, в очках, свободно болтавшихся на остром, птичьем носу, он и впрямь напоминал цыпленка, Пилотка у него была натянута на

уши, шинель висела эдакой поповской рясой, ботинки все время расшнуровывались, обмотки сползали с ног и тянулись за ним по земле траурной лентой. Он почему-то никак не мог сообразить, каким образом надевается штык на самозарядную винтовку Токарева, как уложить противогаз в сумку, а вот устройство угломера-квадранта или буссоли было для этого оправдано вообще тайной за семью печатями.

— Он просто придуривается,— утверждал Витька.— Рассчитывает, что всем надоест с ним возиться и его спишут куда-нибудь в обоз.

Может, Виктор был и прав: Булгаков был отчаянным трусом. Он бледнел, когда его назначали в караул, боялся углубиться в лес, ему мерещилось, что за каждой сосной притаился с кинжалом немец, который затеял прикончить именно его.

Ездовой Небензя, полный, с одутловатым лицом и лукавинкой в глазах, был колхозником из Псковской области. Приветливый, добрый, обаятельный, общительный. Но временами на него нападала тоска: семья Небензи осталась под немцем. Возможно, за напускной веселостью он хотел спрятать свою тревогу за жену, детей.

Как-то он подошел ко мне.

— Сержант, напиши письмо, я ведь малограмотный, спроси, что там с моими.

— Куда же писать, Павел Афанасьевич? Ведь во Пскове немцы!

— Да, немцы,— ответил ездовой и затуманился.

В отделении Небензя был очень полезным человеком. В отличие от нас, домашних мальчишек, он многое знал и умел: отыскивал съедобные грибы и щедро делился с нами грибной похлебкой, хорошо стирал свое белье, показывая нам, как надо это делать, штопал, латал. Чистил ботинки. С нетерпением ждал, когда ему дадут коня.

— С детства люблю возиться с лошадьми,— говорил он, прищелкивая языком.— Будет у меня коняка образцовый, накормленный, веселый...

К технике же никакого интереса не проявлял. Впрочем, как и наш командир взвода лейтенант Волков, техник-смотритель лет сорока двух, призванный из запаса. Миномета он никогда не изучал, а спрашивать у подчиненных, что к чему, считал для себя неудобным. На занятиях лейтенант целиком и полностью полагался на нас, курсантов, предоставляя командирам отделений полную свободу действий. Ну а мы старались на совесть:



рыли минометные окопы полного профиля, разворачивали батарею веером, дай только настоящие мины и команду «Огонь!» — тут же накроем цель. Лейтенант Волков сидел где-нибудь в сторонке и покуривал, к бойцам он относился благожелательно, не придирался, впрочем, лештяев среди нас не было.

После пехотного училища теперешние занятия казались нам совсем нетрудными. Мы хорошо попотели в Намангане и дело свое знали. Но училище вспоминалось нам не только марш-бросками, а и курсантским питанием. Теперь мы получали тыловой паек — третью норму, самую скудную изо всех, принятых в армии. С вечера нам выдавали продукты на весь следующий день: вместо хлебной пайки 175 граммов сухарей, кусочек селедки взамен мяса и ложку сахарного песка. (На деле же выходило и того меньше: сначала на всю роту получал старшина, делил по взводам, помкомвзводы дробили по отделениям, — кругом утруска, усушка.) Кроме того, в завтрак и обед — котелок горохового супа на двоих, а вечером — только чай. Подходи к котлу, наливай, сколько хочешь. Сухари и селедку я съедал вечером в один присест, а весь следующий день жил на гороховом концентрате.

Как-то вечером на лесной тропке я повстречал сержанта Александровского. Он нес две буханки круглого крестьянского хлеба, румяного, свежего, только что из печи! Хлеб! Откуда? Ведь здесь, под станцией Рада, мы ни разу не видели печеного ломтя, и лишняя горсть ржаных сухарей из бумажного мешка, зашитого еще до войны, могла явиться только в мечтаниях!

— Где взяли столько хлеба?! — воскликнул я, не в силах оторвать взгляд от пышных буханок.

— Часы продал, — грустно ответил сержант, свободной рукой доставая из кармана пустую цепочку. — Подарок Нины. Зачем мне сейчас часы? — добавил он, как бы убеждая себя в правильности своего решения. — Чтоб потом какой-нибудь Фриц вытащил их у меня из брючного карманчика и отправил в фатерланд своей фэрау? Какая мне будет польза? А сейчас я хоть отведу душу, поем досыта. Вот пошел в деревню, заглянул в первую же хату, часы с руками оторвали. Хозяйка налила огромную миску молочной лапши да еще, видишь, две буханки отвалила. Неплохо ведь, правда?

Я кивнул в знак одобрения,

— А у тебя ножик есть? — спохватился вдруг сержант. — Нет? Жаль, что нет ножа. Чем же отрезать?

Александровский немного подумал, как бы борясь сам с собою, и наконец решительно, чтоб не передумать, протянул мне буханку.

— Зачем мне две? Ведь не съем за раз. А на всю войну не напасешься. Бери, бери, не стесняйся. Угости Шаповалова, Ревича, Чамкина, Семеркина, всех, кому хватит. Скажешь — от сержанта Александровского. Бери... Сочтемся в следующий раз...

В следующий раз я увидел его уже мертвым.

Через несколько дней мы получали боевое оружие. Был праздничный день. Играл духовой оркестр. Были речи.

По этому случаю я написал стихи, отправил их в дивизионную многотиражку «За Родину». Стихи напечатали.

Мы стоим пред строем батальона.  
Солнце сверху льет свои лучи.  
Комиссар наш, в битвах закаленный,  
Миномет нам только что вручил.  
Наш расчет решителен и точен,  
И ребята неплохие мы.  
Было семь друзей у нас в расчете, —  
Будет другом он у нас восьмым...

Заключительные строчки редакция опустила:

А когда развеем вражьи тучи  
И придет святой победы хмель,  
С минометом — другом нашим лучшим —  
Мы придем из вражеских земель.

Тогда, в сорок втором, в нашей дивизионке, выпущавшейся в лесной землянке под тамбовской станцией Рада, просто не знали, что мы предпримем, когда дойдем до государственной границы, пойдем ли дальше или потребуем заключить мир...

Газету принесли после обеда. Яша Ревич взглянул па вторую страничку и воскликнул:

— Твои стихи!

Он один знал, что я послал их в редакцию. Я выхватил из его рук газету и побежал в глубь леса, чтобы еще и еще раз перечитать свои стихи, отлитые теперь в ровных типографских строчках. Но мне не довелось побыть наедине со своей радостью. Из-за кустов появился дневальный Лева Скоморохов, сказал, что меня срочно разыскивает политрук роты Парфенов.

— А где он?

— У выхода из землянки.

Я подумал, что случились какие-нибудь неприятности из-за моих стихов, будь они неладны! То ли не понравились, то ли посчитали, что в такое время я занимаюсь пустячками, мараю бумагу.

Рядом с политруком Парфеновым стояли Иван Чамкин, Эдик Пестов и Михаил Шаблин, тоже наш ферганский курсант.

— Ну, вот теперь все в сборе, — сказал политрук, когда я подошел и доложил. — Сейчас пойдете в штаб полка. Дело не совсем обычное. Понимаете, нашлась в дивизии такая мерзкая личность, дезертир. Словом, его поймали и судили по законам военного времени. Велели выделить из роты четырех человек на расстрел.

— И нас на расстрел? — охнул Эдик.

— Откуда такие мысли? — удивился политрук, не заметив, что он выразился не очень удачно. — Вас поведут не расстреливать, а наблюдать, как будут расстреливать дезертира. Это разные вещи. Вас посылаю потому, что Чамкин комсорг роты, а вы взводные агитаторы. Потом вы должны будете рассказать другим о том, что услышите и увидите. Старшим назначаю Чамкина. Чамкин, ведите людей!

— Есть вести людей! — повторил Иван.

Катившееся к закату солнце окрашивало верхушки деревьев в багровый цвет. Было тихо — ни треска сучьев под погами, ни шороха травы. И вдруг громко каркнула взлетевшая с низкой ветки ворона, испугавшись и испугав нас. И снова стало тихо. В голубом небе, кудрявясь, медленно плыли облака, молчал лес, молчали мы сами. Никто не хотел начинать разговор. О чем? О том, о чем думают и другие. Мы все очень дорого отдали бы за то, чтоб сейчас оказаться в нашей сырой землянке и чтобы вместо нас по этой вьющейся между деревьев тропке шел кто-нибудь другой.

Тошнота подступала к самому моему горлу, когда я думал, что сейчас у меня на глазах должны убить человека. Да, убить. Пусть мерзкого, плохого, но все-таки человека. Я никогда не видел дезертира да и не думал, что в наше время они могут быть. По книжным измерениям дезертир представлялся мне каким-то исчадием гражданской войны: бандюгой — антоновцем или махновцем — огромного роста, слегка подвыпившим, зарос-

гким, с пегими бровями, изъеденными махорочным дымом, и кастетом в руке. И все-таки он человек!

Пройдет немного времени, и я буду готов безо всякого сожаления застрелить своей рукой труса, который, увидев вражеский танк, идущий прямо на наши позиции, бросит винтовку, выползет из окопа и, сгибаясь в три погибели, попытается назад. Я взгляну в пепельно-серое лицо Чамкина, отстегивающего от пояса тяжелую гранату, увижу двух молодых бронебойщиков, устанавливающих на сопки свое неуклюжее оружие, и пойму, что танк тут не прорвется. Он переползет через окоп, брошенный дезертиром. И тогда всем сердцем, всем нутром почувствую, что нет большего преступления, чем трусость в бою, которая может стоить жизни Чамкину, Ревичу, Шаблину...

Но тогда я еще не созрел для понимания этих простых истин. Безмолвный лес, по которому мы шли в тот вечер, был еще так далек от поля танкового боя, от грохота канонады, от пустого окопа, брошенного бывшим товарищем...

Между тем мы уже шли довольно значительной колонной, из-за деревьев выходили все новые группы солдат, выделенных, как и мы, на расстрел. А мы все шли и шли. Наконец, когда уже казалось, что лесу не будет конца, деревья расступились, открывая большую поляну, в дальнем конце перерезанную заросшим оврагом.

Нам дали время перекурить, потом построили в четыре шеренги. Появился комиссар дивизии старший батальонный комиссар Кобзев, крупный мужчина с мясистым носом и налитыми кровью глазами. С ним были люди из особого отдела и дивизионного трибунала.

— В трудный для Родины час,— начал свою речь комиссар,— когда народ и его армия напрягают все свои силы, среди нас находятся презренные трусы, которые прежде всего спасают свою шкуру. Один такой подонок служил в нашей дивизии, забыв о воинском долге, о присяге. Но пусть ни один предатель не мнит себе, что ему, наплевав на своих товарищей, идущих в бой, удастся отсидеться в мышиной норе. Родина найдет его и покарает своей справедливой десницей!

Потом говорил председатель дивизионного трибунала. Толстый пожилой военюрист, вовсе не военного склада, откашлялся в кулак и хриловатым голосом принялся излагать суть дела. Призванный три месяца назад красноармеец Липков, тридцати шести лет, уроженец Рас-

сказовского района Тамбовской области, самовольно составил расположение части. Спустя семьдесят четыре часа он был обнаружен по месту своего жительства. В вагоне поезда, в котором везли пойманного дезертира, состоялось заседание военного трибунала.

— Приговор окончательный и обжалованию не подлежит! Он будет приведен в исполнение немедленно! — закончил военюрист.

Немедленно! У меня ёкнуло сердце, колючий холодок вполз за шиворот. Я вытянул шею, пытаюсь разглядеть за головами впереди стоящих вырытый на краю могилы столб, к которому привязан приговоренный в белой рубахе и черной повязке на глазах, полукольцо конвойных солдат, целящихся из винтовок, и бравого офицера, взметнувшего вверх оголенную саблю, чтобы опустить ее вниз вместе с командой «Пли!». Ведь Овода расстреливали именно так, я читал об этом в книге.

Но все оставалось по-прежнему: военюрист укладывал текст приговора в планшет, комиссар, заложив руки за спину, неторопливо прохаживался взад и вперед...

И вдруг он подал команду:

— Строй! Кру-гом!

Мы повернулись, и нам открылась такая картина. К оврагу подъехала черная эмка, из нее вышли четверо военных, шофер остался за рулем. Казалось, военные заняты непринужденной беседой. Ну а где же дезертир? И тут я заметил, что на одном из военных нет пилотки и брючного ремня. Это и был дезертир, маленький, щуплый, рыжеватый. Больше я ничего не разглядел. Шофер поддал газ, дезертир повернулся, стоящий сзади него военный поднес к его затылку пистолет.

— Строй! Кру-гом!

В тот же миг за нашими спинами хлопнул короткий выстрел. Чамкин обернулся и побледнел. Глаза его стали необычайно широкими.

Колонна двинулась в обратный путь, постепенно распадаясь на маленькие группки. В вечернем свете обострились контуры деревьев. Ломаные тени идущих удлиннялись, скользили по неперсыхающей под дождями траве, которая пахла горечью и плесенью. В сгущающейся темноте мы потеряли тропку, и теперь нас то и дело останавливали испуганные окрики часовых: «Стой! Кто идет!» В лесной чаще прятались какие-то воинские склады.

Когда вернулись, землянка уже спала. Я на ощупь отыскал свое место на нарах, не без труда оттолкнув Яшку Ревича, который разбросался так, что мне было уже не лечь. Яков подскочил на соломе, продрал глаза и тут же спросил:

— Ну как, было страшно?

Очевидно, он и засыпал с этим вопросом.

— Когда шли туда, было страшно. А потом нет. Все было просто.

— Почему просто?

Этот вопрос открывал двери для разговоров на полную. Я устал, мне вовсе не хотелось вспоминать, что я видел.

— Давай-ка, Яков, лучше спать. Завтра Чамкин обо всем расскажет.

А дни шли своим чередом. Теперь, отправляясь на занятия, мы брали боевое оружие. Понимая, что совсем уже скоро будем на фронте, старались все делать так, как учили нас в Харьковском пехотном. После завтрака — бросок при полном снаряжении. На станции Рада переходим через пути и опять бежим. Под подошвами ботинок чавкает болотистая грязь, здесь, в низине, никогда не просыхает. Прямо в грязи начинаем окапываться. Работа идет медленно, в вязкой, воюющей глине штыки малых саперных лопат то и дело натыкаются на сплетения корневищ. Но главная беда — это гнус. Над окопами висит сизое звенящее комариное марево. Паразиты набиваются в нос, уши, живым комом шевелятся в волосах, заползают под гимнастерку.

— Развести бы сейчас костерик, пугнуть комара, — кричит Борька Семеркин, хлопая себя лопатой по спине.

Разводить костры запретил старший лейтенант Хаттагов. Услышав Борькины речи, командир роты достал из кармана носовой платок, провел им по затылку и шее, платок тут же стал красным.

— Как видите, гнус грызет не только солдат и сержантов, но и средний командный состав, — сказал старший лейтенант, выбрасывая окровавленный платок в кусты. — Приятно бы, конечно, отсидеться в спасительном дымку, да нельзя, надо терпеть, джигиты. А не то избалуемся, привыкнем. Вот по этим-то самым антикомариным дымкам вас сразу же засечет вражеский артнаблюдатель. Выгоним из окопа комара, заманим осколочный снаряд...

— На фронте и без антикомариного костра много ды-

ма, — невесело усмехнулся Миша Шаблин. — На фронте комар не разгуляется...

Эх, фронт! Скорее бы на фронт! Зачем же тогда в Намангане нас по тревоге посадили в эшелон? Сколько же можно киснуть в этих гнилых болотах, получать бестабачную тыловую норму!

Впрочем, однажды, подходя после дневных занятий к кухне, мы учуяли, что пахнет мясным. Давно забытый запах жаркого тревожно защекотал ноздри, приятно закружил голову.

— Ощущаю мясной дух! — радостно воскликнул бывший вегетарианец Семеркин.

— Ощущаешь, да не про твою честь, — усмехнулся Виктор Шаповалов. — Готовят для командира полка, не меньше. Однажды я видел, как он, развалясь на плащпалатке, ел жареную картошку прямо со сковородки.

— Ну, неужели для майора приготовили целый котел? — усомнился Чамкин, первым выходя на поворот, откуда уже была видна кухня.

Румяный повар-узбек огромной шумовкой черпал из котла жаркое и раскладывал по солдатским котелкам. Наступил черед нашей роты. Как обычно, я стоял рядом с Яшкой, мы с ним составляли обеденную пару: в один котелок брали гороховый суп, другой был для чая. Из супа сначала осторожно вычерпывали жижу, а потом уже добирались до осевшей на самом доньшке гущи. Получалось у нас и первое и второе, а если считать чай, то и третье. В последние дни дело осложнялось тем, что у меня сломалась ложка.

— Солдат без малого шанцевого инструмента — не солдат, — шутил наш взводный Волков, но помочь ничем не мог.

Словом, положение безложечного солдата еще хуже, чем безлошадного бедняка. Но Яков был душевным человеком — мы обходились одной ложкой. На правах владельца оперативного орудия он обычно делал три первых захвата, после чего передавал ложку мне. Сейчас Яков, еще не успев проглотить первый кусочек, прошепелявил:

— А ведь это настоящее мясо, а не копсервы! И картошка настоящая, а не сушеная!

Я видел, что Якову очень трудно оторваться от котелка, но после трехкратного причастия к пище довоенных богов мой великодушный друг самым тщательным образом вытер ложку о пучок травы и вручил ее мне. Я тоже

трижды приобщился к небесному кушанью, и вновь ложка перешла к Якову. Но, увы, всему бывает конец. Яков вытер травой и без того вылизанный котелок, ополоснул в лужице, снова вытер травой доньшко и спросил:

— Может быть, ты мне объяснишь, откуда явился нам этот царский обед? Или прилетела на ковре-самолете скатерть-самобранка? Или нам заменили норму? Или наши начпроды сошли с ума?

Никто ничего не мог понять. Еще более всех озадачило, что после обеда на занятия нас не повели. Мы еще не добрались до своей землянки, когда нам навстречу попался бегущий политрук Парфенов.

— Прибавьте шагу! — крикнул он, запыхавшись. — Приехал Ворошилов! Сейчас он будет здесь!

Ворошилов? Откуда Ворошилов? Как может оказаться здесь, в лесной глухомани, наш первый маршал, легендарный герой гражданской войны, ближайший соратник великого Сталина? Не успели мы как-то осмыслить эту новость, как политрук Парфенов крикнул:

— Смотрите, идут!

Сначала мы увидели цепь автоматчиков, храбрых ребят в комсоставской форме: яловые сапоги, шерстяные гимнастерки, широкие комсоставские ремни. Потом мы увидели Климента Ефремовича. Он был такой же, как на знакомых портретах, только без ордезов. Матерчатая маршальская звезда в петлицах фронтового образца сливалась с защитным цветом гимнастерки. На шаг сзади поджарого, энергичного маршала следовали большие и грузные командир дивизии полковник Д. Ф. Дремин и военком старший батальонный комиссар В. Г. Кобзев. Шествие замыкала еще одна цепь автоматчиков.

Наш храбрый комбат — кавалерийский капитан отпечатал строевой шаг и, хвастаясь своей безукоризненной выправкой, приложил руку к фуражке. Ворошилов остановился и с явным восхищением посмотрел снизу вверх на громадного комбата.

— Товарищ маршáл! — рявкнул капитан и осекся. — Товарищ мáршал... товарищ маршáл! — Он никак не мог совладать с ударением. — Товарищ маршáл! Третий батальон 522-го стрелкового полка находится... — Капитан опять запнулся.

Командир дивизии нагнулся к маленькому Ворошилову, что-то шепнул на ухо. Климент Ефремович понимающе кивнул головой, отдал честь обалдевшему комбату и последовал дальше.



Утром нас подняли в пять часов, объявили, что назначены учения, на которых будет присутствовать Ворошилов.

Нашему полку повезло, мы должны были занять оборону километрах в двадцати пяти от расположения, а двум другим полкам предстояло наступать. Под вечер мы достигли исходного рубежа, на лесной опушке принялись копать окопы.

— Давайте еще поднажмем, джигиты! — вдохновлял нас возбужденный командир роты Хаттагов. — Кто знает, может быть, именно нашу позицию посетит Климент Ефремович!

И мы старались как могли. Соединили окопы ходами сообщения, расставили прицельные вешки, повесили маскировочные сетки, спрятали наблюдательные пункты.

— Теперь батарея полностью готова к бою, — сказал Миша Шаблин, закончив выдалбливать нишу для минных лотков. — Пусть приходит товарищ первый маршал, доложим как надо. — Он намекал на неудачный рапорт нашего комбата.

— А надо доложить, что мы курсанты летной школы. Ворошилов удивится, почему летчики роют минометные окопы, и распорядится отправить нас в авиационную часть, — размечтался Яшка Ревич.

— Только-то ему и дел разбираться с нами! — охладил его пыл Ваня Чамкин. — Как же теперь оставить сформированный стрелковый батальон без минометной роты?

Повздыхали, покурили. Все время выглядывали из окопов, боясь, что не заметим, как появится Ворошилов со своими автоматчиками. А Климент Ефремович в это время был совсем неподалеку от нас. Для него специально построили на поляне деревянную вышку, откуда он наблюдал в бинокль, как идут в атаку два других полка. Наступающие порядки маршалу явно не нравились, он дважды возвращал их назад, на исходные рубежи. Темнота застала атакующие батальоны где-то в дороге, они окопались, а с утра снова пришли в движение. Вскоре наше боевое охранение донесло, что наступающие опять повернули назад: маршал считал, что наступление развивается недостаточно стремительно. Только под вечер из-за дальнего леса показались долгожданные цепи. Взвились три красные ракеты — учения были окончены.

Мы построились и двинулись к лесной поляне. Климент Ефремович уже спустился с вышки и теперь, зало-

жив руки за спину, прогуливался вместе с комдивом и комиссаром возле грузовика с опущенными бортами, кузов которого был устлан большим цветистым ковром.

Наш полк появился на поляне первым, поэтому и занял самое удобное место, поближе к грузовику. Бойцы атаковавших частей, не в пример нам, свеженьким, пыльные, уставшие, расположились углом справа и слева. Громящая колесами своих пушек, подошел наш артиллерийский полк, появилась батарея стодвадцатимиллиметровых полковых минометов на конной тяге. По краю опушки расположились саперы, химики, связисты. Табором развернулись повозки медсанбата с носилками и палатками: все подразделения участвовали в учениях с полной боевой выкладкой.

По лесенке, подставленной к заднему борту, Ворошилов пружинисто впрыгнул на грузовик и, пройдясь по коврику, начал говорить:

— Четыре дня назад я виделся с товарищем Сталиным, и он послал меня к вам...

У меня захватило дух. Неужели Ворошилов совсем недавно разговаривал с самим Сталиным и Сталин знает, что мы есть и существуем?

— Так вот, товарищ Сталин прежде всего велел спросить у вас: до каких, собственно, пор мы собираемся бегать от немцев?

По рядам бойцов прокатился неясный шум — одни пытались выкрикнуть свой ответ, другие при упоминании имени Сталина стали хлопать в ладоши и кричать «ура».

Климент Ефремович поднял руку, прося тишины и внимания, и продолжал:

— Так вот, и я хочу спросить у вас: до каких пор будем бегать? Ведь проигрывать войну мы не собираемся! Ведь когда-нибудь мы должны начать бить фашистов в хвост и в гриву! А когда? Да тогда, когда мы наконец избавимся от благодушия. Мы должны понять, что идет борьба не на жизнь, а на смерть, что Гитлер — наш злейший враг, что он вторгся в нашу страну, чтобы поработить советские народы, уничтожить наше государство, разрушить города, сжечь дома, надругаться над нашими женами, матерями, детьми...

Маршал говорил просто, ясно, доходчиво, как старший товарищ, голос его был спокойным, ровным, он сразу же овладел нашими сердцами.

— Хочу взять с вас три слова, Первое. Ненавидеть

фашистов всем своим существом, всей своей душой. Даете мне такое слово?

И мы дружно крикнули:

— Даем!

— Но проникнуться ненавистью — это еще не значит одержать победу, — продолжал маршал. — Надо совершенствовать свое воинское умение. Тут по моей просьбе мне выделили отделение, и я проводил с ним стрельбы. Я обратил внимание, что бойцы незнакомы друг с другом. Какое же это отделение, где люди не знают друг друга? Догадываюсь, что мне подобрали лучших снайперов со всей дивизии. А стреляли они неважно. Понимаю, волновались. Ведь не всякий раз их экзаменует Маршал Советского Союза. Но я уверен: на фронте вы будете стрелять хорошо. Другое меня насторожило: с дисциплиной у вас неважно. Поэтому мне хочется здесь услышать от вас, что вы будете крепить железную воинскую дисциплину, все приказы своих командиров выполнять безоговорочно, точно и в срок. Даете мне такое слово?

— Даем! — тысячами голосов ответила поляна.

— И третье слово хочу с вас взять. Люди, побывавшие на фронте, подтвердят: вот приходит немецкая часть на передовую, и через полчаса уже никого не видать, все закопалось в землю. А наш брат ленится, кипит две-три лопатки, и весь на виду. Да еще бегаёт туда и сюда — то разжиться табачком, то просто поболтать с приятелем. Тут его и настигает пуля. И сам погиб, и свои позиции врагу показал. От этого мы несем никому не нужные и ничем не оправданные потери. Так берегите свои молодые жизни, дорогие товарищи, не подставляйте головы фашистским снайперам! Я хочу услышать от вас, что вы будете, не жалея сил, рыть настоящие окопы, строить надежные блиндажи, землянки, укрепления. Даете мне такое слово?

— Даем! — прогремело над лесом.

Ворошилов откашлялся в кулак.

— Это хорошо, что вы дали такое слово. Но слово дать проще, чем его сдержать. Сейчас я инспектирую многие дивизии, всех разговоров могу не упомянуть. Но здесь, в кабине машины, сидит стенограф, он все записывает. Так что я всегда смогу проверить, как вы держите свое слово. Уж не подводите ни себя, ни меня.

После Ворошилова говорил командир дивизии полковник Дремин. Он был явно обескуражен тем, что маршал пашел столько недостатков в боевой подготовке соеди-

нения. Его выступление отличалось решительностью и воинственностью. В голосе звучал металл.

— Железной рукой будем карать тех, кто посмеет нарушать дисциплину, не выполняя приказы командиров...

Ворошилов, который уже сошел с грузовика и теперь слушал, подняв голову и заложив руки за спину, вдруг крикнул:

— А ты нашего брата не стращай, мы еще не то видели!

Полковник смутился. А нам всем очень понравилось, как маршал осадил нашего комдива и при этом как бы взял нас в свои союзники.

Комиссар дивизии Кобзев быстро сориентировался, что грубый тон и угрозы маршалу совсем не нравятся, и начал по-другому. И тоже не попал в кон.

— У нас в дивизии прекрасные командиры, замечательные политработники, отличные бойцы... — только-то и успел сказать он.

— А ты не хвались, — осадил и его маршал. — Хвалиться мы все мастера. Покажи свою удаль в бою, тогда и бей себя в грудь.

Комиссар ступешался и, чтоб не наговорить в присутствии Ворошилова чего лишнего, быстро спустился вниз.

Митинг закончился. Комсоставу велели остаться, всем остальным — идти в расположение своих батальонов.

Начался нудный тамбовский дождик. Низкие плачущие облака уже окутывали верхнюю площадку наблюдательной вышки, откуда Ворошилов наблюдал за учениями. Шли мы молча, находясь под впечатлением встречи с маршалом.

— Эх, скорее бы на фронт! — проронил Миша Шаблин.

— Считаю, что одной ногой ты уже на фронте, — ответил Чамкин. — Проводы только что состоялись. Прощай, станция Рада!

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ, ЗАПИСЬ СЕДЬМАЯ...

«В бою за Советскую Родину  
20 июля 1942 года был тяжело ранен».

К нашему эшелону бежала мама...

А я стоял в строю у самого железнодорожного полотна спиной к красному вагону, на котором белела меловая

надпись: «Сорок человек или восемь лошадей». На облезлых боках вагона зияли пробоины разной величины: старенький вагончик уже не раз таскался к фронту. Хорошо, если при артобстреле в нем находилось восемь лошадей. Куда хуже, если сорок человек...

Нас тоже было сорок. Перед посадкой помкомвзвода Чепурнов делал переключку. Отставших, больных не было.

Стали затаскивать в вагон минометы. Осторожно укладывали их в углу на солому, покрытую брезентом. И тут, подойдя к распахнутым вагонным дверям, я увидел, как в густом орешнике мелькает так хорошо мне знакомый, беленький в крапинку, мамин платок. У меня екнуло сердце. Мама!

Беленький платок пропал в зелени кустарника, и тут же худенькая женская фигурка появилась у пешего перехода и замерла в двух шагах от меня.

Увы, это была не мама, мама не носила лаптей...

Пожилая крестьянка не ожидала встретить на этой пустынной станции эшелон с солдатами. Она оглядела нас удивленными, круглыми глазами и воскликнула с душевной болью:

— Какие молоденькие! И таких уже гонят! Господи, да что же это делается!

— Не каркай на дорогу! — рявкнул помкомвзвода Чепурнов, грозя своим латунным кулаком. — Пошла отсюда к... Неча глазеть!

Плечи у крестьянки задрожали, по щекам потекли слезы. И от обиды, нанесенной злым человеком, и от жалости к нам. Она закрыла лицо руками, повернулась и ушла в лес.

— Зачем же он так с нею? — охнул Иван Чамкин, сжимая мне локоть. — Она ведь женщина!

Нет, хорошо, что это была не мама. Как тяжело было бы ей увидеть меня здесь, исхудавшего, бледного, не по-мальчишески серьезного и растерянного от близости неотвратимых перемен. Ведь впереди уже не было ни учебных походов, ни тактических занятий, ни тренировочных стрельб по фанерным мишеням. Впереди была новая, неизвестная жизнь: окопы, фронт..

Нас разбудили по тревоге в два тридцать утра. Дневальные, эти сущие враги спящего человечества, завопили у землянок на разные голоса:

— Подъем! Выходи строиться! Все брать с собой!

Отовсюду стали появляться заспанные люди. Лесной городок наполнился шумом, суетой, неразберихой, обрывистыми командами помкомвзводов и старшин.

В момент мы разобрали ружейные козлы, вытащили из землянок свои минометы. Наш третий батальон рота за ротой двинулся на станцию Рада по знакомой, сто раз хоженной дороге. Короткая летняя ночь уползала в лесную чащу, с луж, разлившихся после вчерашнего дождя, клубясь, поднимался пар, изумрудно блестя трава, кричали в лесу птицы, испуганные человеческим присутствием. С каждым шагом мы удалялись от лесного городка, к которому уже не было возврата, и все больше сверлила голову мысль: куда же нас повезут, на каком участке советско-германского фронта должен грянуть гром?

На первом же привале Яша Ревич, бегавший в стрелковую роту навестить Александровского, вернулся с новостями.

— Сержант шепнул мне по секрету, что едем под Воронеж, — выпалил Яков.

— Под Воронеж? — не поверил Чамкин. — Так Воронеж от фронта ой-ой-ой...

Борис Семеркин повел плечами.

— Откуда же он может взяться под Воронежем?

— А черт его знает, откуда он может взяться! А откуда он взялся под Харьковом, под Ростовом? — бросил Виктор Шаповалов и повернулся к Якову: — Ты не напутал? Точно помнишь, что Александровский называл Воронеж?

Ревич попятился, будто хотел поскорее выйти из разговора, который затеял сам.

— Да что вы ко мне пристали? За что купил, за то и продаю.

Впрочем, уже на станции Рада солдаты из других рот почти открыто говорили, что нас срочно перебрасывают под Воронеж.

Отправлять, однако, не торопились. Маленький паровозик, как бы пробуя, в силах ли он увезти такую уймащину вагонов, надрывно пыхтел, свистел, выбрасывал облака пара, но с места не двигался. Говорили, что не все еще успели погрузить, что начальство ждет каких-то важных распоряжений, что заняты пути. Кто знает, как оно там было на самом деле!

Мы потащились с черепашей скоростью. Вагоны, как слепцы у плохого поводыря, оступаясь на стыках рельсов,

стонали и жаловались. В открытые люки вползал удушливый каменноугольный запах паровозного дыма.

Установили пост воздушного наблюдения. Вахтенные сидели на крыше с ручным пулеметом. Сбить самолет из ручного пулемета, да еще по ходу поезда, было, конечно, очень трудно. Задача вахты была иная: первой обнаруживать вражеские бомбардировщики и поднимать тревогу.

Остальные, пользуясь возможностью, валялись на соломе и отлеживали бока. Командир взвода Волков, собрав вокруг себя компанию, что-то рассказывал и сам же принимался хохотать, скалясь и запрокидывая голову. Я прислушался. Лейтенант нашел самое время просвещать желторотых юнцов, что между конфигурацией жепщины и ее темпераментом существует прямая взаимосвязь. Он обогащал свою лекцию пошлейшими подробностями и срамными словами.

Слушателей у Волкова становилось все меньше, пока вообще не остался один Ревич. Видно, он считал, что ему, как ротному весельчаку и остролову, полагается правильно воспринимать все смешное или даже то, что другим кажется смешным. Яшка глупо улыбался, шмыгал носом и изображал на лице живейший интерес. Наконец не выдержал и Яков. Когда лейтенант отвернулся, он дал стрекача. Ревич спрятался за меня в соломе и сказал:

— Если бы он так знал угломер-квадрант, как все эти ляжки да титьки, цены б ему не было. Хочет нажить дешевый авторитет своего парня.

— Может, просто хочет развлечь.

— Нашел чем развлекать, — скривился Яков и, заметив в моих руках огрызок карандаша, спросил: — Строчишь в газету вторую серию про наш любимый батальонный миномет?

— Да нет. Что-то такое пишу под настроение.

— Дай почитать.

Я не любил показывать неоконченные стихи, сказал, что пока ничего не готово. За окнами уже ползли замысловатые переплетения путей, мелькали низкие коробки пакгаузов, вверху, над крышей вагона, прошумел пешеходный мост, и навстречу эшелону выплыло здание вокзала.

В Тамбове стояли долго. Успели дойти до последнего вагона, в котором, в отличие от всех остальных, ехало не сорок человек, а восемь лошадей. Там нас встретил сия-

ющий Небензя, хлопотавший возле старенькой низкорослой клячи рыжей масти.

— Как назвали лошадушку? — спросил Миша Шаблин.

— Варваркой. Варварка в деревне у моего деда кобылка была. В ее честь.

— Не очень-то походит на Буцефала, — усмехнулся Эдик Пестов.

— Ничего, отойдет наша Варварка, — сказал Небензя, ласково хлопая лошадь по впалому боку. — Ей не меньше чем человеку уход нужен. А уход я обеспечу. Уж будьте уверены. Минометы — это по вашей части, а кобылка — по моей.

Лошадей привезли откуда-то всего за два дня до отправки. На всю роту досталась вот эта одна рыжая кобылка. Старший лейтенант Хаттагов требовал, чтоб нам дали хотя бы еще пару, но разве у интендантов чего выпросишь! Сказали: радуйтесь и этой, больше неоткуда взять.

— Хоть одна, а все божий подарок, — утешал нас Небензя. — Лошадь сейчас тысяч пятьдесят стоит. Попробуй купи!

На первой же остановке после Тамбова к нам поднялся политрук Парфенов. Вида он был явно не военного — щуплый, неказистый, гимнастерка мешком, галифе гармошкой, пояс под весом пистолета наискосок, чуть ли не как португеза, а сам пистолет надо искать где-то возле коленок. Но это был политрук! Живой, остроглазый, требовательный, справедливый, говорил убежденно, мог увлечь.

Увидев политрука, мы повскакали со своих соломенных лежбищ, стали отряхиваться.

— Садитесь в кружок, товарищи, — сказал Парфенов. — Поговорим.

Судя по его суровому лицу и нервно поджатым губам, новости были неважные.

— Так вот, друзья, в Тамбове нас, политруков и политотдельцев, собирал комиссар полка. На Верхнем Дону сложилась очень серьезная обстановка. Положение, можно сказать, критическое. Похоже, что немцам удалось переправиться через Дон и выйти непосредственно к Воронежу...

Парфенов вынул платок из кармана, вытер потный лоб.



— Прорыв фашистов к Воронежу, очевидно, был внезапным, там не оказалось сколько-нибудь значительных наших сил. Сейчас держат оборону несколько батальонов НКВД, курсанты командирских курсов, нестроевики из хозяйственных подразделений и армейских складов, легко раненные из госпиталей, милиция, ополченцы. Силы, как видите, ничтожные. Вчера в воздушных налетах на город участвовало тысяча сто самолетов. Воронеж горит.

Иван Чамкин, сидевший ближе всех к политруку, вздохнул:

— Воронеж совсем близко от моей Рязани. А там у меня больная бабушка. Совсем одна...

— Воронеж и от Москвы близко, — сказал Лев Скоморохов.

Политрук положил руку на плечо Чамкина, посмотрел на Скоморохова.

— А Воронеж, друзья, еще ближе от моего дома. Я ведь коренной воронежец, родился, учился, двадцать лет отработал на заводе «Электросигнал». На Придаче живут мои родители, на улице 9 Января остались сейчас жена и двое мальчишек. Если фашисты форсировали Дон у Семилук, то семилукская дорога приведет их прямо на улицу 9 Января. Кто-нибудь из вас знает Воронеж, бывал там?

Никто не отозвался. Виктор Шаповалов сказал:

— Мы в основном Средняя Азия: Алма-Ата, Фрунзе, Самарканд, Ашхабад, Чимкент.

— Землячество довольно далекое, — сказал Парфенов. — Но сейчас, ребята, ваш дом тоже там, в Воронеже. Отдавать Воронеж врагу никак нельзя. На нашу дивизию командование возлагает особые надежды. Задача у нас такая: если успеем, будем оборонять Воронеж; если опоздаем, будем брать его назад.

Политрук Парфенов перебрался к соседям во второй взвод, а мы с Виктором Шаповаловым полезли на крышу: подоспела наша очередь заступать на вахту. Я взял на коленки ручной пулемет, Виктор прилег рядом, попытался прикурить, отворотясь от ветра.

— Значит, Воронеж, уличные бои, — промолвил Виктор.

— Вчера это мог быть Харьков, Курск, Донбасс. Какая разница?

Виктор посмотрел на меня широкими глазами.

— Неужели ты не понимаешь разницы? Дивизию готовили в лесах и топях — в пору нам воевать где-то в Ка-

релии. А нас бы учить прыгать через огонь, лазать по отвесным каменным стенам, ходить по карнизам, забираться в окна верхних этажей.

— Да если надо, и мы с тобой по отвесной стене заберемся. Или ты, вратарь алма-атинского «Динамо», по карнизу не пройдешь?

Виктор махнул рукой.

— Да я не о себе вовсе. Я о нашей дивизии, которая на учениях не очень-то показалась Ворошилову. А завтра в бой...

А пока мы ехали по земле, еще не тронутой войной. С крыши старенького вагона нам открывались картины тихой сельщины. Вокруг разливалось кукурузное море, островками возникали деревни, к самому полотну выбегали беленькие крестьянские домики с резными наличниками на окнах. Было просто невозможно представить, что где-то совсем неподалеку тысяча сто самолетов бомбят незащитный город, закипают донские переправы и черные танки врываются с Семилукской дороги на улицу 9 Января, где задыхается в огне семья политрука Парфенова...

Но война стремительно мчалась нам навстречу. Едва сгустились сумерки, как заступившие на вахту Эдик Пестов и Толя Фроловский перегнулись к открытому люку и закричали в два голоса:

— Воздух!

Кто-то из них выпустил очередь из ручного пулемета.

Эшелон судорожно дернулся, задние вагоны с лягом накатились на передние. Не дожидаясь полной остановки, солдаты начали выпрыгивать на насыпь и разбежаться по полю. В багровом небе отчетливо слышался рокот многих моторов. Глухие взрывы оглушили степь. Впереди поднималось слепящее зарево. Вой самолетов утих, но вот он возник снова. Бомбардировщики подходили волна за волной, и в огромном, все разгорающемся костре до полуночи рвались бомбы.

— Что бомбят? — не понимали ребята.

Бомбили Кочетовку, крупный железнодорожный узел под Мичуринском, который связывал Москву с Пензой, Саратовом, Тамбовом, Липецком, Сталинградом... В те июльские дни Кочетовку бомбили каждый день. Но не успевали на развалинах Кочетовки растаять черные тени воздушных могильщиков, как на станцию приходили саперы, железнодорожные бригады, рабочие Мичуринска,

спасательные команды. Они откапывали раненых, хоронили убитых, расчищали завалы, засыпали воронки, заново настилали пути, чтобы до следующей бомбежки можно было пропустить несколько составов.

Вот в такое короткое окно наш эшелон, простоявший в степи около суток, проследовал через Кочетовку. Станции, как таковой, давно уже не существовало. На чадящих развалинах чернели остовы сгоревших вагонов, искореженные орудия, сорванные с платформ, опаленные снарядные ящики, вздувшиеся трупы лошадей. Слоем песка были присыпаны большие площадки, сквозь песок проступали бурые пятна крови.

Вечером мы разгружались на станции, которую бомбили с таким же остервенением, как и Кочетовку. Все пристанционные здания были превращены в руины, и только кирпичная водонапорная башня лежала совершенно целой, будто чьи-то сильные руки осторожно подняли ее и опустили на землю. Над станцией сегодня уже появлялись «юнkersы», считали, что они еще должны вернуться, поэтому нам было приказано не терять времени и уходить в лес.

В лесу было тихо и прохладно, легкий ветерок шелестел в молоденьких березках, неподалеку протекал ручеек, можно было умыться, снять ботинки, поваляться на траве.

Подошел политрук, задержавшийся по каким-то делам на станции. Сказал, что во вчерашней вечерней сводке Совинформбюро впервые упоминается Воронеж. Сообщение очень скупое: идут бои западнее города. Вот и все. Ясно, что положение на Верхнем Дону остается очень тяжелым. Представляете, с каким нетерпением и надеждой сейчас нас ждут защитники Воронежа!

Тут же Парфенов объявил, что своим первым заместителем он назначает Чамкина, а вторым — меня. Политрук отвел нас в сторонку, мы сели в траву, опершись спинами о стволы деревьев.

— Теперь вы мои самые верные помощники, — сказал политрук, — и ваша главная задача — поддерживать в роте боевой дух: переход будет очень трудным. Привлекайте вашего друга Ревича, всегда веселого, неунывающего парня. А где шутка, смех, там и хорошее настроение. Обращайте внимание на пожилых бойцов. По себе не равняйте, вы, молодые, горы можете свернуть, а им трудно. Когда подкатывает к сорока, начинаются разные болезни: сердце, печень, желудок, суставы... Вот и мне

непросто. Если б не война, то надо бы мне в отпуск ехать на курорт, пить кислую воду, принимать ванны...

Между тем на лесной полянке старшина роты Челимкин расстелил плащ-палатку и стал делить продукты.

— Горячего не будет, — объявил старшина. — Сами видели, кухни только еще выгружают.

Опять были сухари, по 175 граммов, вместо дневной пайки печеного хлеба. Старшина, священнодействуя, разделил все сухари на три кучки — по числу взводов. Потом помкомвзводы делили эти кучки еще на четыре части. Наконец, за дело взялись отделенные командиры. В конечном счете каждому досталось по сухарику с добавкой. Принесли еще американскую свиную тушенку, банку на десять человек. Прямо на сухарики намазывали по ложке растаявшего жира. Ожидание было долгим и мучительным, ужин занял полторы минуты.

— Ничего себе, королевский пир, — вздохнул Борис Семеркин, щелкая зубами, как февральский волк.

После «королевского пира» стали укладываться спать. Спали мы обычно шарами, так теплее, мягче. Одну шинель стелили на землю, другою укрывались, вещмешки — вместо подушек. «Как в лучших домах», — смеялся Яков.

Выставили боевое охранение. Нашему отделению выпала очередь заступать перед рассветом. Мы лежали на краю леса, не выпуская винтовок из рук. Было зябко и немного жутковато. Ветер шевелил кусты, нам мерещилось, что мы видим чьи-то головы, руки.

— А вдруг немцы совсем близко? — испуганно шепнул Яков. — Кинутся на нас со всех сторон, даже выстрелить не успеем.

Я ответил, что немцам взяться неоткуда.

— Ночью они в атаку не ходят. Спят.

Послышался прерывистый гул моторов. Небо над станцией прочертила красная ракета. Какая-то сволочь наводила бомбардировщики на цель. Но самолеты прошли стороною. Видно, они летели дальше — бомбить Кочетовку, Грязи, Тамбов... К слову, когда мы уже были на марше, то чьи-то злые глаза все время следили за нашей колонной. Ночью то слева, то справа взлетали ракеты. Иногда мы даже слышали выстрел ракетницы, но как поймаешь лазутчика! В чистом поле, в темноте...

Мы выступали с первыми зорями. На построении старший лейтенант Хаттагов сказал, что придется нелегко, пойдем форсированным маршем, спать придется три

часа, не больше. Каждая минута промедления стоит жизни многим защитникам Воронежа.

— Пугать вас, джигиты, не собираюсь, но не исключая, что мы прямо с марша вступим в бой. Впрочем, принять бой мы можем и раньше. Фашистские десанты забрасываются далеко в тыл, или прорвутся танки.

Подъехал на подводе Небензя, впервые представ перед нами в своей роли ездового. Он лихо натягивал вожжи, размахивал кнутом, кричал на Варварку и вообще хотел показать себя с самой лучшей стороны.

— Вот если кого-то старший лейтенант Хаттагов с полным правом и может назвать джигитом, то это только нашего Небензю, — заметил Яков.

Мы уложили минометы на телегу: слава аллаху, их не тащить! Но и без минометов груза было предостаточно; на плече винтовка, за спиной вещмешок, шинель в скатке, на поясе подсумок с обоймами, стеклянная фляжка, малая саперная лопата и, будь он не ладен, противогаз. А вот касок не дали, на передовую мы так и пришли в пилюлках. Касок едва хватило стрелковым ротам. («Минометчики пока обойдутся, — сказал какой-то чин. — Будут сидеть в укрытии, в атаку им не идти. — И обнадежил: — А после первого боя разживетесь касками. Каски освободятся у стрелков».)

— Шагом м-арш! — скомандовал старший лейтенант Хаттагов, и мы пошли в Воронеж.

Держались ближе к перелескам, чтобы не так быть приметным с воздуха и лучше укрываться во время налетов. «Мессершмитты» высмотрели нас на второй день. Желтокрылый истребитель прошел над растянувшейся колонной, накрыв нас своей холодной тенью, развернулся и зашел в пики. Мы разбежались по ближнему лесу, упали в траву. Сквозь зеленую крону я увидел «мессершмитт», зависший над нами. Дрожа всем своим длинным, худым телом, он вел огонь из пушек и пулеметов. «Мессершмитт» напоминал оцетинившегося, остервенелого пса, который выследил крупную добычу.

Потом из придорожных канав, из-за пней, из кустов стали появляться ребята, стыдливо отводя глаза: уж больно резво, обгоняя друг друга, улелетывали они от «мессершмитта».

— А здорово он нас, — хихикнул Борис Семеркин, вновь обретая смелость. — Мы что, уже воюем?

— Пока еще только идем воевать, джигиты, — сказал Хаттагов. — Командирам взводов проверить своих людей.

Все минометчики были на месте, никто не пострадал. И мы пошли дальше. А идти становилось все труднее. Полуденное солнце напекало голову через пилотки, раскаленная земля жарила подошвы ног даже сквозь подметки ботинок. Пыль, взметенная впереди идущими стрелковыми ротами, душным серым облаком висела в воздухе, оседала в волосах, скрипела на зубах, лезла в нос, смешиваясь с потом, липкой грязью пачкала лица. Заныли спина, плечи. Я ощущал теперь не только тяжесть винтовки, появился вес у подсумка, фляжки; саперная лопата, раскачиваясь в такт шагу, уже набила синяки на бедре. Стал отставать боец из моего отделения Булгаков. Я возвращался назад, брал его винтовку, но он по-прежнему плелся еле-еле, жаловался на сердце, стонал. Скверно чувствовали себя наши «старички» — сержанты Булавин, Чебаков, Верзунов.

Первыми, однако, выбились из сил не люди, а лошади. Варварка дрожала мелкой дрожью, с губ капала кровавая пена, она никак не могла взять очередной подъем.

— Но, но, голубушка, — трепал ее за холку спешившийся ездовой Небензя. — Ну, пойдем! — Он пытался тянуть ее под уздцы.

В глазах кобылки застыл почти человеческий укор. «Ну пожалейте меня, — говорил ее просящий немой взгляд. — Вы собрались на войну, это ваше дело. А я-то здесь при чем? Я — лошадь».

Мы взялись толкать телегу сзади. Варварка сделала два шага, покачнулась, ноги ее зашлелись. Пришлось снять несколько минометов, положив на телегу скатки, вещмешки, противогазы. А мы потащили минометы на выюках: кто опорную плиту, кто двуногу-лафет, кто ствол. Почувствовав легкость, кобылка забралась на косогор.

— Эх, если бы сейчас насыпать ей мерку овса! — мечтательно присвистнул Небензя, шагая рядом с лошадью. — Ожила бы совсем Варварка, повеселела б моя красавица!

Эх, если бы Варварке мерку овса! Если бы нам хотя бы по тарелке супа! Как-то нам дали опять по полтора сухаря, уже без ложки тушенки. Объяснили, что кухни отстали, но вот-вот должны подойти.

Мучила жажда. К пересохшим деревенским колодцам со всех сторон сбегались солдаты. Толкали друг друга, хватались за ведра, расплескивали воду. Вид опустевших деревень был печален, в деревнях оставались одни старики.

— Далеко ли до Воронежа? — спрашивали мы.

Ответы озадачивали. Утром говорили, что до Воронежа сто километров, а к вечеру выходило, что уже сто двадцать.

— Так куда же мы идем: вперед или назад?

Жители пожимали плечами. Видимо, в каждой деревне испокон веков был свой счет расстояниям.

Борька-вегетарианец, обладавший самым могучим аппетитом в роте, оставшимися километрами интересовался не очень. Вот он подбегает к старушке, виновато улыбается и говорит:

— А поесть у вас, бабуся, ничего не найдется?

— Рада бы, сыночек, угостить, да нечем. Хоть шаром покати.

Одна старушка сказала Борису:

— Вон в огороде растет лук. Бери, если хочешь. Грядка за домом. Рви хоть все.

Борька метнулся в огород, за ним устремились несколько ребят. Сели у грядки на корточки, стали жадно вапихивать в рот луковые перья. Запершило горечью.

— Невкусно, — фыркнул инициатор мероприятия, сплевывая густую зеленую слюну. — Трава, она и есть трава.

Все были заняты делом и не сразу заметили, что у грядки появился политрук Парфенов.

— Ну что, козлы, попаслись в огороде? — весело спросил он.

— Нам бабушка разрешила, — поспешил оправдаться Борис Семеркин.

— Знаю, что разрешила. Неужели без разрешения! — Политрук извлек из кармана тридцатирублевую бумажку, протянул старушке: — Возьмите!

— Что ты, бог с тобой! — испугалась старушка. — За что?

— Как за что? Ребята вам всю грядку испортили. Берите, берите. На фронте нам деньги не нужны, а вы тут что-нибудь купите.

На привале политрук подозвал Ивана Чамкина и меня.

— наших «огородников» понять можно, — сказал он. — Правильно говорят: голод не тетка. У самого в животе кишка на кишку в атаку идет. Но позволять себе распускаться нельзя. Вы, агитаторы, должны подбодрить ребят. Думаю, хорошо бы провести беседы о походе Суворова через Альпы. Ведь еще труднее приходилось. Помните?

— В школе проходили. Чудо-богатыри. Сен-Готардский перевал. Разгром французского генерала Массены,— сказал я.

— Вот-вот, — обрадовался политрук.

Мне показалось, что такие беседы принесут не очень много пользы.

— Ребята о Суворове знают не хуже нас. Тоже учили. Скажут, что в Альпийских горах кухни было тащить куда труднее, чем по равнинной Воронежской области. К тому же настроение у чудо-богатырей было совсем другое: Суворов громил врага далеко от российских границ — в Австрии, Италии, Швейцарии... Теперь же враги ворвались в самый центр России...

— Будут и у нас победы, — сказал политрук. — И еще какие победы!

Первый заместитель политрука Чамкин тоже, видимо, сомневался, что сейчас самый удобный момент рассказывать таким же десятиклассникам, как и мы, о Сен-Готарде, спросил:

— А если подойдут кухни, то бесед можно не проводить?

— Тогда подумаем, — ответил политрук.

Кухни не подходили, а для бесед мы никак не могли выбрать время. Мы шли днем и ночью. Есть нам очень хотелось. Но еще больше хотелось спать. Некоторые ребята приноровились даже спать на ходу. Один обхватывал приклад винтовки и закрывал глаза. Другой брался за ствол и тащил товарища, словно на буксире. Потом они менялись местами. Случалось, что ведомый засыпал. Его тут же забрасывало в сторону, он натыкался на идущих рядом, но приклада не выпускал. Когда на походную колонну нападали «мессершмитты», солдаты лениво разбегались по обе стороны дороги, падали на землю и мгновенно засыпали, не слыша уже ни надрывного воя моторов, ни пулеметной стрельбы, ни отчаянных криков сержантов, пытавшихся разбудить свои отделения.

А нам все чаще и чаще приходилось тащить минометы на себе. И не только потому, что наша Варварка начала буксовать на ровном месте. Упал и не смог подняться Булгаков. Едва мы только положили его на телегу, как налетел помкомвзвода Чепурнов, затопал ногами, закричал:

— Отставить, сержант! Вы что у него, нянька? Не видите, придуривается человек! Воспитывать надо подчиненных, сержант, а не баловать. Верните ему его винтов-



ку, сержант, да еще отдайте свою. Пусть топают своими ножками и крепнет.

— Прекратите балаганить, Чепурнов, — осадил его политрук. — Как все это противно! Оставьте бойца в покое.

Чепурнова аж передернуло. Он злобно сверкнул глазами и ушел вперед.

Впрочем, я тоже подозревал, что Булгаков симулирует. Чуть позже он довольно легко слез с телеги, побежал в кусты. А вернувшись, улегся на солому, скрестил руки на груди, стал кашлять, хрипеть, подвывать — умирает человек, да и только.

За Усманью стали встречаться люди, еще более измотанные и уставшие, чем мы. Шли старики, женщины, дети. Помогали передвигаться больным, совсем дряхлым. Несли корзины, баулы, узлы. Рассказывали, что из Воронежа уходили по Чарнавскому мосту. Вогресовская дамба была уже взорвана. Когда на мосту было полным-полно народу, немцы стали стрелять из пушек. Мост вместе с людьми рухнул в реку. Кто не успел перебраться на левый берег, тот остался у врага; пути из города теперь нет. На улицах идут бои. Фашисты привязывают к танкам раненых красноармейцев, чтоб наша артиллерия не стреляла по своим. На переправах впереди себя гопят мирных жителей. В городе целых зданий не осталось. Все горит.

— Когда же немцы вошли в Воронеж? — спросил политрук.

Опять заговорили все разом. Замелькали названия улиц, площадей, пригородных поселков.

— Так нас товарищи военные не поймут, — сказал худенький человек в пенсне. Он толкал перед собою детскую коляску, в которой вместо младенца лежали перевязанные пачки книг. Старичок оказался профессором Воронежского университета. — Я расскажу, как было.

Сначала немцы форсировали Дон южнее города, у села Малышева, овладели Шиловским лесом, перерезали Острогожское шоссе. 6 июля танки ворвались на Чижовку, вышли на улицы 20-летия Октября, Степана Разина. В тот же день фашисты нанесли удар и с запада. Переправились у Семилук, смяли наши заслоны у Песчаного лога...

— Когда мы уходили, фашистские танки были уже на улице 9 Января, — закончил свой трагический рассказ старичок-профессор...

Я взглянул на Парфенова. «Ведь на этой улице у него дом, жена, дети», — вспомнил я. Политрук сделался белым как полотно, он подошел к Семеркину, попросил вакурить, хотя был некурящим...

На седьмые сутки нашего пути впервые услышали канонаду. Фронт был уже где-то рядом. В небе висели фашистские самолеты. И только однажды мы увидели наши «ястребки». Два «мига» напали на эскадрилью «юнкерсов», которые шли в сопровождении восьми «мессершмиттов».

— Молодцы! Ничего не боятся, — обрадовался Яшка Ревич. — Атакуют малым числом!

Но, скорее всего, это был подвиг обреченных. Силы были слишком неравны. Оба наших истребителя задымили, упали далеко в степи и взорвались.

— Двое против семнадцати, — вздохнул Ваня Чамкин. — А где же другие наши летчики?

— Другие, вместо того чтобы летать, волокут минометы по земле, — откликнулся Виктор Шаповалов. — Оглянись на себя.

Тащить минометы нам оставалось теперь уже не долго. Но каждый километр давался все тяжелее. На большом привале у меня даже не было сил освободиться от груза, ослабить пояс, расшнуровать ботинки, дать покой натертым до волдырей ногам. Не снимая вещмешка, я опрокидывался спиной к дереву и, сидя на корточках, забывался на три часа.

Доходили разговоры, что маршал Ворошилов провожает дивизию на фронт. Будто его видели в задних колоннах, он ободрял отстающих, а узнав, что горячей пищи мы не получаем, отдал под суд продовольственных начальников... Как бы хотелось во все это верить!

В густом лесу, куда втянулся наш батальон, все отчетливее слышалась канонада. В чаще белели палатки медсанбата, чуть дальше угадывались позиции зенитной батареи, ближе к проселочной дороге, сбившись в кучу, сидели какие-то люди в ненашей форме. Возле них прохаживались четыре красноармейца с винтовками в руках.

— Братцы! Да ведь это пленные! — догадался Борис Семеркин. — Айда посмотрим!

При виде бегущих к ним солдат лица немцев исказил ужас. Они, наверное, решили, что сейчас их отобьют от конвоиров и растерзают на месте. А нам было очень любопытно посмотреть на фашистов, которых мы видели

только в кино. Они являли жалкое зрелище: оборванные, грязные, заросшие. У многих были забинтованы головы, руки; повязки почернели, на них проступала запекшаяся кровь. Несколько солдат были босы, один вообще без брюк. И это были солдаты пока еще непобедимой армии, завоевавшие всю Европу, отхватившие у нас Украину, Белоруссию, Прибалтику, дошедшие до самых глубин России, до Воронежа...

Яшка Ревич нагнулся к пленному, который был без штанов, и закричал ему в самое ухо.

Немец втянул голову в плечи, качнулся назад, словно уворачиваясь от удара, закрыл лицо забинтованной по локоть рукой. А Ревич втолковывал ему что-то такое о международной пролетарской солидарности, об обманутом немецком рабочем классе, о набирающей силу антигитлеровской коалиции...

— Гитлер зер шлехт! — закончил Яшка свое выступление, перейдя на немецкий.

— Гитлер зер шлехт! — к величайшей радости Ревича, повторил немец.

— Видите, как я его быстро распропагандировал! — обернулся к нам Яков.

— Этих немцев распропагандировали другие, — заметил политрук. — А те, кого мы должны заставить сказать: «Гитлер зер шлехт!» — еще опасны, как взбесившиеся шакалы. Завтра мы увидим совсем других немцев. В штанах и при пулеметах...

И тем не менее встреча с пленными ободрила ребят, прибавила силы. Значит, можно и на них нагнать страху, заставить бросить свои автоматы, побежать назад, поднять руки...

Стали попадаться наши раненые. Тяжелых везли на повозках; кто мог, шел своими ногами. Раненых было много.

— Откуда идете? — спрашивали мы.

Раненые отвечали охотно:

— Оттуда, где вы скоро будете. Подгорное. Задонское шоссе.

— А как он там?

— А что ему делается? Шнапс свой пьет. В губные гармошки играет. Постреливает. Вас дожидается...

Лес кончался, переходя в отдельные рощицы, стоявшие островками среди поля. Вечерело. Дали привал. Спали долго, потому что, когда роту подняли, была ночь. Прошли совсем немного, и за редкими деревьями откры-

лась широкая дорога. Лунный свет неярко серебрил булыжный настил, по которому, приглушив моторы, проползала колонна тридцатьчетверок. Потом пришлось переждать артиллеристов — взмыленные копи в упряжках тащили семидесятишестимиллиметровые пушки.

— Это и есть Задонское шоссе, — сказал политрук Парфенов. — Направо оно ведет в Москву, налево — в Воронеж.

Рота вышла на шоссе и повернула налево. Впереди вздымалось иссиня-багровое зарево — это горел Воронеж. Справа от дороги все время распускались осветительные ракеты, ночной полумрак шутал расстояния, казалось, что немцы сидят совсем рядом. К самой дороге лепились перелески, изрезанные неглубокими оврагами. Привыкнущий к темноте глаз обнаруживал присутствие многих людей, а войска все шли и шли. Полки и дивизии 60-й армии, проделавшие многодневный пеший переход к Воронежу от Тамбова, Тулы, Мичуринска, Раненбурга, Грязей, занимали исходные позиции.

Наконец мы свернули с шоссе и спустились в поросшую кустарником балку.

— Вот и прискакали, джигиты, — сказал старший лейтенант Хаттагов. — Осадите своих коней. Отдыхайте. А нас с политруком требуют к комбату.

Со дна оврага тянуло сыростью и прохладой. Никто не ложился спать. Тревожное ожидание близкого боя до предела взвинтило нервы. Все молчали. Каждому хотелось побыть наедине со своими мыслями. За лесом вставало солнце. Наливалось золотом холмистое пшеничное поле по другую сторону Задонского шоссе. Оно было пустынным и безлюдным. Пехота, артиллерия, танки, всю ночь проходившие по булыжной дороге, казались теперь лесными призраками, исчезнувшими при свете дня.

Вернулись командир роты и политрук.

— Остаемся здесь, — сказал Хаттагов. — Место укрытое и вообще для батареи очень удобное. Прямо перед нами село Подгорное, оно в низине, отсюда за холмом не видать. Только вон там, если хорошенько приглядеться, выглядывают несколько крыш. Подгорное немцы брали, сдавали и вот вчера отбили опять. А кто владеет Подгорным, тот является господином в междуречье Дона и Воронежа. Теперь, захватив Подгорное, они хотят перерезать Задонское шоссе, захлопнуть в котле наши войска и начать наступление на север, к Москве. А мы дол-

жны сегодня сбросить их к чертовой матери в Дон. Приказ командования ясен? Тогда за дело, джигиты!

Зазвенели лопаты. В училище на холмах Намангана, в тамбовских лесах на формировке мы вынули сотни кубометров грунта, выкопали десятки и десятки окопов, натерли мозоли, проливали семь потов, и все ради того, чтобы быстро и безупречно подготовить к бою вот эти самые окопы на обратном склоне оврага у Задонского шоссе.

Как будто бы и не было позади многодневного пешего перехода, бессонных ночей, отставших кухонь, высохших колодцев, стертых до кости ключиц и хребтов. Никем не надо было командовать, никого подгонять, учить. Все движения были отработаны до автоматизма. Быстро вырыли окопы, пробили ходы сообщения, укрыли дерном наблюдательный пункт, навесили маскировочные сети, расставили вешки, выбрали ориентиры.

— Сам маршал Ворошилов ни к чему придраться не сможет, — сказал Виктор Шаповалов, оглядывая наш окоп.

Ворошилова вспомнили и на комсомольском собрании, которое тут же началось на батарее. Президиума не выбирали, протокола не вели. Резолюцию не писали, текст предложил Иван Чамкин:

«Комсомольское собрание минометной роты, обсудив вопрос «О задачах комсомольцев в бою», постановляет: «Твердо держать слово, данное маршалу Ворошилову. 1) Всем своим комсомольским сердцем ненавидеть фашистских оккупантов. 2) Неустанно крепить воинскую дисциплину, беспрекословно выполнять приказы командования. 3) Окапываться, как учили. Беречь себя и боевую технику».

Голосованию помешал снаряд, разорвавшийся за оврагом. Он подвел черту и поставил точку.

— Собрание продолжим в Воронеже, когда его возьмем! — крикнул политрук.

Мы спрыгнули в окопы. И тут все вокруг загрохотало, загудело, затряслось, в роще Круглой, где прятались наши танки, блеснули молнии. Артобстрел начало Подгорное. Ему ответило Задонское шоссе. Появилась девятка «лапотников» — пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87». Эскадрилья шла тремя звеньями, образуя правильный треугольник; самолеты летели крылом к крылу, строго выдерживая дистанцию.

— Как на воздушном параде летят! Впору им сейчас сделать «мертвую петлю» и войти в штопор! — Эдик Пестов погрозил им саперной лопатой, высоко поднятой над головой, и крикнул выругался.

Не нарушая строя, эскадрилья кружила над нашими позициями. Никакой реальной опасности, кроме Эдкиной саперной лопаты, для них не существовало. Лишь на втором облете «лапотники» бросили бомбы. Гороховое облако, вырвавшись из-под плоскостей, с нарастающим свистом понеслось вниз. Качнулись стволы деревьев, в дальней стороне леса вспыхнул пожар. Ведущий группы свалил машину на крыло, сломав строй. За ним нырнули остальные. Теперь «лапотники» шли чуть ли не на бреющем полете, прочесывая из пулеметов рощи и балки, где сосредоточивались для атаки батальоны нашего полка. Одна очередь прошла совсем рядом. Пули хлестнули по веткам ближней березы, сорвали с окопа маскировочную сетку, подняли над бруствером фонтанчик земли.

— Пестова убило! — закричал из соседнего окопа командир второго отделения сержант Булавин.

Я побежал по ходу сообщения. Мертвый Эдик медленно сползал на дно окопа. Из-под сдвинутой со лба пилотки стекала кровь. Глаза были открыты, на спокойном лице было написано легкое удивление.

Сержант Булавин был бледен, самый кончик его носа мелко трясся, он расстегивал воротник, ему не хватало воздуха: пуля, убившая Пестова, просвистела совсем рядом.

— Видишь, как получилось, — говорил он, обращаясь к убитому. — Пригрозил ты летчикам, обляял, а они словно слышали тебя и тут же дали ответ. Семь человек сидело в окопе, а пуля отыскала только тебя. Вот и не стань теперь суеверным...

Мы подняли Эдика из окопа, осторожно положили на расстеленную шинель. Подошел командир роты, снял пилотку, поклонился.

Мы вырыли могилу позади батареи под могучей сосной. Попытались распрямить тело — не получилось; ноги были поджаты, руки согнуты. Эдик умер сидя и уже оконченел. Насыпали холмик, положили букетик незабудок, их собрал на полянке Толик Фроловский.

— Прощай, мечтатель из Бухареста, — незнакомым голосом произнес Виктор Шаповалов. — И прожил-то он при Советской власти всего два года, а ведь был совсем наш парень...

— Плохо похоронили, — вздохнул Толик. — Неудобно будет ему лежать.

— Ничего, он простит, — сказал Миша Шаблин. — У него все же есть могила, он погиб первым. А тех, кого убьют последними, и похоронить будет некому.

Миша совсем пал духом, у него навертывались слезы. Наше состояние было не лучше. Здесь, у могилы товарища, мы повзрослели сразу на десять лет. Мы выбросили из карманов коротеньких штанишек оловянных солдатиков; война, в которую мы играли с детских пор, перестала быть игрой, смерть, хлопая черными крыльями, слетела со страниц занимательных военных романов и теперь смотрела на нас жадными, пугающими глазами с верхушки сосны, под которой лежал Эдик Пестов...

«Лапотники» улетели за Дон мыть руки и готовить себя к обеду. Извергнув тонны металла, утомились пушки. Тишина, распуганная взрывами, возвращалась, садясь на острые верхушки леса.

На дне минометных окопов появились желтые лужицы — это дали о себе знать высокие грунтовые воды. Командир роты покачал головой.

— Если так пойдет дальше, тут нам не усидеть. Зальет.

А пока выдолбили новые ниши. В задней стенке окопов — для шинелей и вещмешков, в передней — для мин, виштовочных патронов, гранат.

На батарее появился старшина роты Челимкин, прочно обосновавшийся в районе складов и кухонь, сказал, что Небензя привез к оврагу телегу мин, а теперь на своей Варварке отправился за обедом. Мы поспешили достать из вещмешков котелки, даже вроде бы похудевшие от длительного неупотребления.

Но пообедать не удалось. На косогоре появились танки. Они шли параллельно Задонскому шоссе, оставляя за собою черные ленты на хлебном поле. Не этим ли танкам вчера вечером мы уступали дорогу? Если им, то они должны повернуть к Подгорному. Если нет...

Хаттагов приложил к глазам полевой бинокль.

— Так это же немцы! — сказал он почему-то таким веселым тоном, будто на своей улице заметил хороших знакомых, которых встречает чуть ли не каждый день. — Это немцы! — повторил он. — Ясно вижу кресты. А на танках сидит десант.

Бронированный клин все ближе. Теперь уже понят-

но, что на Подгорное танки не пойдут. Они рвутся к Задонскому шоссе.

— Первое отделение первого взвода! — крикнул Хаттагов. — Приготовиться к стрельбе!

Первое отделение — наше. Мы бросились к миномету. Я прищипнул глазом к угломеру-квадранту. Снарядный Шаблин снял предохранительный колпачок с мины и передал ее заряжающему Шаповалову.

— Дистанция восемьсот метров. Одиночным. Огонь!

Виктор, уже державший мину наготове, запихнул ее до половины в ствол и отдернул руку. Чугунная болванка с неприятным скрежетом поползла вниз, напоролась вышибным патроном на острый боек миномета, издала хлопающий звук и, обретя дикую, необузданную силу, вырвалась на простор, наполнив окоп вонючим пороховым дымом.

Немного в стороне и чуть сзади несущихся танков вырос оранжевый грибок.

— А ну, всадим еще одну! Наводчик, возьми два пальца влево. Дистанция семьсот пятьдесят метров. Огонь!

Мина разорвалась метрах в двадцати впереди ближнего танка. Сидевшие на броне автоматчики скатились вниз, исчезая в пшенице.

— Ага, не понравилось, кисло! — радостно воскликнул командир роты. — Это еще на закуску. Погодите, гады, будет вам и шаплык. Батарея, готовься!

Учесть на всех минометах поправку — сместить влево угол вертикальной наводки и уменьшить дистанцию — было секундным делом.

— Беглым! Огонь!

Мины накрыли танковую колонну.

— Молодцы, джигиты! — захолопал в ладоши Хаттагов. — Не сплеховали. Жарь еще!

«Джигиты» работали дружно и быстро. Подносчики с тяжелыми дотками метались по оврагу. Снарядные готовили мины. Наводчики следили, чтобы при беглой стрельбе не сбился прицел. А зарядные старались досыта накормить минометы чугунной пищей. В их прожорливых тонких глотках исчезали бесследно мина за миной, они казались какими-то ненасытными чудовищами.

В окопе прибывала вода. Мы стояли уже по щиколотку в желтой грязи, она подбиралась к площадке, на которой стоял миномет.



Из пыльного облака, поднятого разорвавшимися минами, выползли танки. За ними бежали спешившиеся автоматчики. Десант с танков мы сняли, теперь надо было его отсечь.

Перед бегущими автоматчиками встала стена рвущегося металла. Пехота заметалась, залегла.

— Ура! — закричал Хаттагов.

— Ура! — закричала вся батарея.

Рядом по-лягушачьи крикнула мина. Над головами минометчиков прозвенели осколки.

— Шальная дура! Откуда она залетела? — выругался Борис Семеркин, прикрываясь котелком, приготовленным для обеда.

— Пустой котелок к пустому котелку не прикладывают, — сострил Яков.

И тут на наши позиции обрушился огненный смерч. Мы плюхнулись на дно окопа в жидкую грязь.

— Быстро они нас засекли, — охнул Семеркин, поняв, в чем дело. — Их наблюдатель сидит где-то рядом.

— А вы наверх взгляните! — крикнул Шаповалов.

Над нашей батареей в лучах солнца кувыр-калась «рама» — разведчик и корректировщик «Фокке-Вульф-189». А вокруг наших окопов продолжалась дьявольская пляска мин. Разрывы то удалялись, то приближались, стонала земля, поверх окопа упала молодая сосенка, срубленная осколком.

Казалось, что налет продолжался целую вечность. Потом из-за брустверов стали осторожно выглядывать перепачканные грязью и копотью физиономии, трудно было кого узнать.

— Командиры взводов, проверьте своих людей!

У нас в отделении все были целы, мы работали лопатами, как говорится, и за совесть, и, что уж тут скрывать, за страх.

— Все бойцы на месте, никто не пострадал, — докладывали взводные.

Не откликалось лишь второе отделение третьего взвода. Заглянули в окоп. Возле обгоревшего, как в печке, миномета был весь расчет — шесть наших наманганских курсантов. Никто из них не шевелился. Будто волшебник из детской сказки взмахнул своей чудесной палочкой, и все тут же уснуло, кто где был. Онищенко стоял на коленях, держась за опорную плиту. Хаит пригнулся над полуоткрытым лотком. Ястребцов, обернувшись, протягивал руку к нише, что-то хотел достать... Ни на ком ни

царапинки, ни кровинки. Но смерть уже высветила их лица холодной мраморной белизной, и все волшебники мира теперь ничем помочь не могли.

Из тысячи выпущенных мин, по теории вероятности, только одна может попасть в окоп. Мина влетела в окоп второго отделения, закопалась в слое жидкой глины, осколки ушли вниз. Шестеро минометчиков мгновенно были убиты взрывной волной...

А бой продолжался. Вражеская пехота, отсеченная минометным огнем от своего броневого щита, окапывалась, закрепляясь в пшенице, а стальная лавина неудержимо подкатывалась к Задонскому шоссе. И когда казалось, что никакая сила не может остановить ее на последнем рубеже обороны, за которым уже начинается паника и неразбериха, из леса прямой наводкой ударил наш противотанковый дивизион. Три танка вспыхнули, как лучины. Остальные дрогнули, засуетились, потеряли ход. Судя по всему, фашисты совершенно неожиданно для себя напоролась здесь на наши батареи. Впрочем, замешательство длилось всего миг. Танки открыли ответный огонь из своих пушек. Но уже было ясно, что внезапная танковая атака не удалась, танки потеряли маневр, их связали боем наши артиллеристы.

Из придорожных перелесков, из лощин показались цепи. Наша дивизия, перешагнув Задонское шоссе, нацелилась на Подгорное. По немецкой пехоте, взбирающейся на косогор, открыли яростный огонь артиллерия и минометы. Пошли танки. Теперь это были наши танки, в бой вступал танковый корпус генерала И. Д. Черняховского, который через несколько дней будет назначен командующим нашей 60-й армией.

Прибежал запыхавшийся связной командира батальона, передал приказ перенести батарею вперед. Мы разобрали минометы, потащили их на вьюках. Роту обстреляли из пшеницы. Дико закричал помкомвзвода Чепурнов:

— Передайте по цепи: меня ранили!

Виктор Шаповалов, сгибаясь под тяжестью минометного ствола, который тащил на плече, сплюнул:

— Тьфу, тоже Чапаев выискался! «Передайте по цепи!» Ишь, чего надумал! И так все слышат, как орет!

С высоты, где мы расположили батарею, открылось горящее Подгорное, на улицах уже шел бой. С той и с другой стороны сюда, как в гигантскую мясорубку, всасывались новые батальоны, их хватало совсем ненадолго,

рукопашные схватки велись за каждый дом, и каждый клочок деревенской улицы был залит кровью. Под вечер, когда наша сила начала одолевать и мы захватили северную часть села, последовала мощная контратака гитлеровцев, наши не выдержали стремительного натиска, стали отходить. На Задонском шоссе опять заметили вражеские танки. Они двигались от городка сельхозинститута с пехотой, пытаясь отрезать наши части, выдвинувшиеся к Подгорному. От разъезда Подклетное к немцам спешили подкрепления, переброшенные через Дон из армейского резерва.

Сражение разгоралось с новой силой...

Необычайная тишина висела над селом. Бой за Подгорное, длившийся, не стихая, шестьдесят часов, закончился полным разгромом гитлеровцев. На бордовых углях догорающей избы мы с Ревичем и Шаповаловым варили картошку, выкопанную в огороде. Картошка поспевала мгновенно, достаточно было подцепить ведро длинной жердью и сунуть его в самый жар — температура там была огромной.

С нами сидел старик лет семидесяти, владелец этой избы, превратившейся в костер. Тело его покрывали какие-то полустлелвшие лохмотья, был он бос, нечесаная борода начиналась от самых глаз. Старик был единственным жителем, оставшимся в селе. Остановившимся, посторонним взглядом он смотрел, как догорают последние венцы его дома. Он так настрадался и натерпелся за эти дни, что уже ничего не воспринимал.

— В Подгорном было семьсот четырнадцать домов, — сказал старик, — теперь ни одного не осталось.

— Дедушка, а почему вы не ушли, как все? — спросил Яков.

— Черт его знает, почему не ушел. Ошибся я в своих военных расчетах. На вас понадеялся, а вы подвели. Всем говорил, что не пустите его в Подгорное. А потом вот пришлось в подвале ховаться. Когда выбили отсель немца, вылез я из подвала с мыслью, что у вас оплошность какая вышла, случайный момент. И опять я в подвале сидел. Вот я у вас и спрашиваю: может, мне снова в подвале сидеть придется, отдадите Подгорное?

— Не отдадим, — важно сказал Яков, дуя на горячую картофелину, которую перебрасывал с ладони на ладонь.

— А ты почему знаешь?

— Большие силы к Воронежу подошли, — воображая себя по крайней мере заместителем командующего, объяснял старику Яков. — Артиллерия, танки. Фактор внезапности у немца утерян. Ставка на окружение провалилась. У нас теперь сплошная линия фронта. Локтевая связь соседа с соседом..

— Ну, разве что локтевая, — недоверчиво сказал старик и ушел.

С голодухи мы съели картошки меньше, чем хотели, но больше, чем могли.

— Надо бы отнести ребятам, тоже ведь есть хотят, — сказал я. — А в чем?

— Знаю в чем, — быстро сообразил Виктор. Он открыл противогазную сумку, вытянул за гофрированную трубку противогаз и решительно швырнул его в сторону. — Вот вам и торба. Легка, удобна. Не в котелке же картошку нести, тут руки свободны.

Яков боязливо втянул голову, поежился.

— А не попадет? Все-таки военное имущество. За нами числится

— «Числится, числится», — передразнил его Виктор, уже укладывая картошку в противогазную сумку. — Ты полагаешь, что здесь, в Подгорном, будут сличать вещевые аттестаты? Хозяев долго придется искать. — Он сделал врачательное движение рукой. — Оглянись, посмотри.

Вокруг нас, на изрытых траншеями улицах, во дворах, в огородах, лежали еще не убранные трупы немецких и наших солдат, валялись винтовки, автоматы, гранаты, диски, вещевые мешки, каски.

— Вот каску, пожалуй, надо взять, — деловито заметил Шаповалов. — Если б у Эдика Пестова была бы на голове каска, может быть, он и остался жив..

Виктор подобрал немецкую каску, напялил на голову поверх пилотки.

— Хорошо сидит, не правда ли? — обрадовался Виктор. — Плотнее нашей облегает башку. Пожалуй, ее я и возьму.

Яков засмеялся, хлопнул в ладоши.

— Было у Тараса Бульбы два сына! А ну-ка, поворотись, сынку! И в самом деле, совсем недурно. Похож, похож, ничего не скажешь. — Он наставил винтовку на Виктора: — Хенде хох, колбасник проклятый!

Рсвич тоже пошел за каской. Я с ним.

— Братъ от своего убитого очень уж неприятно, — рассуждал я. — Будто у товарища крадешь. А от немца проще: будем считать военным трофеем.

Напялили каски, поднялись, пора было возвращаться на батарею.

— Значит, будете оставлять картошку? — укоризненно спросил Виктор.

Сомнения очень недолго терзали наши дисциплинированные души. Мы тоже выбросили противогазы и набили сумки еще теплой картошкой.

За селом опять начиналось пшеничное поле. Хлеба стояли высокие, по грудь. Из-под ног выпорхнул жаворопок, мы чуть не наступили на гнездо.

— Живет же птица среди огня и дыма, — удивился Виктор.

— Она так же, как и тот старик, не думала, что немец дойдет до Подгорного, — сказал я.

Яков опять стал проявлять беспокойство.

— Я все думаю, не попадет ли за противогазы. Может, вернуться, подобрать, пока недалеко ушли?

— Пустое, — успокоил его Виктор. — На данном этапе противогаз только обуза для армии. Если считать, что противогаз весит около килограмма, а на фронте, предположим, пять миллионов солдат, то выходит, что армия таскает на себе пять тысяч тонн никому не нужного груза.

Чтоб окончательно успокоить Якова, он принялся излагать свои взгляды на перспективы химической войны. Они были обнадеживающими.

— Немцы этим летом не пустят удушливые газы, — убежденно заявил он. — К химическим средствам, скорее всего, прибегнет отступающая сторона. А немцы наступают и уверены, что будут наступать. Какой же им смысл отравлять местность, по которой нужно идти, губить водоемы, из которых пить? Так ведь?

— Нет, не так, — возразил я. — Дело не в том, кто наступает, а кто обороняется, а в том, кто более коварен, бесчеловечен, жесток. В прошлую войну мамин дядя паниковал на фронте газов, лежал в Нальчике, там для отравленных были специальные лазареты. Так вот, в шестнадцатом году немцы как раз наступали.

— А на Западе, на реке Ипр, — вставил Яков, — когда немцы применили газы...

Закончить он не успел. Раздался близкий pistolетный выстрел, пуля просвистела над нашими головами. Мы плюхнулись на землю, испуганно глядя друг на друга.

— Стреляли вроде бы с нашей батареи, — определил Яков. — Куда поползем?

— А ну, поднимайтесь, негодяи! — услышали мы разяренный голос старшего лейтенанта Хаттагова. — Расстрелять вас, сукиных детей, и то мало!

Командир роты размахивал пистолетом перед нашими носами. По его свирепому виду я понял, что он и в самом деле готов нас убить. Но я не понимал, в чем же мы все-таки провинились: он сам разрешил нам отлучиться на пятнадцать минут.

— Что означает этот дурацкий маскарад? — кричал Хаттагов, стуча рукояткой пистолета по нашим каскам. — Еще бы чуть-чуть, и вас бы уложили на месте свои же ребята. Да черт с вами, погибайте, если вам нравится! А что прикажете делать командиру роты, когда совсем рядом с батареей мелькают немецкие каски? Докладывать комбату, что фашисты зашли нам в тыл? А комбат должен снимать с передовой роту автоматчиков и бросать сюда, так, что ли? Вы понимаете, что натворили?

— Понимаем, — упавшим голосом пролепетал Виктор. — Только я больше всех виноват: мне пришла в голову мысль надеть эти каски. Простите.

Хаттагов никак не мог успокоиться:

— Как — простить? Фашисты специально забрасывают диверсантов, чтоб посеять панику в тылу. А когда у нас есть такие олухи, как вы, им и забрасывать никого не надо. Не ждите никакого прощения, пойдете под военный трибунал. Марш по местам! Да выбросьте, черт возьми, эти фашистские каски!

И этот разговор слышала вся батарея. Позор! Мы поплелись, понутив голову, стараясь не глядеть ребятам в глаза. Что тут скажешь, подвели роту, наделали переполох, чуть не спровоцировали настоящее сражение...

Нас, однако, встретили не руганью, а насмешками. Пищу для шуток мы дали богатейшую. Видя наши душевные терзания, Ваня Чамкин осадил не в меру развеселившихся остряков, проезжавшихся по нашему адресу. А нам шепнул:

— Не казнитесь, за немцев всерьез вас никто не принял. Одного сразу же опознали по чарличаплинской походке, двух других, долговязых, ни с кем спутать нельзя. А командир роты правильно сделал, что вам устроил втык. Додуматься же до такого: разгуливать по передовой в форме врага! Только не бойтесь: под трибунал стар-

ший лейтенант вас не отдаст. Мужик он отходчивый. Простит на первый случай.

После долгого и тяжелого сражения за Подгорное батарея приводела себя в порядок. Банником очищали от гари и копоти минометные стволы, смазывали маслом, наводили марафет в окопах, будто собирались прожить в них очень долго. Небензя на своей Варварке отвез в полковую санчасть помкомвзвода Чепурнова и еще трех бойцов, раненных при смене позиции. На обратной дороге захватил сухарей, сахару, табак да еще принес новости: сегодня на батарее должен быть почтальон. Кинулись писать письма. Я прилег на солнышке, положил клочок оберточной бумаги на пустой лоток, достал карандашный огрызок. «Дорогая мама!» — только-то успел написать я.

Кто-то тронул меня за плечо. Возле меня сидел сержант Булавин и загадочно улыбался каким-то своим мыслям. Был он человеком задумчивым, неразговорчивым, скромным, в училище очень любил писать заметки в боевой листок, хотя грамота у него была небольшая, заметки получались корявые, порой смешные. Заметки помещали: такому солидному автору отказать было неудобно, как-никак он сержант, командир отделения.

— Ты видел сахар, который нам только что раздали? — спросил меня Булавин.

— Не только видел, но уже съел.

— И не заметил, что сахар красный? — Сержант достал из брючного кармана тряпицу, завязанную узелком. В нем лежала его порция сахара. — Смотри! Видишь, совсем красный.

Сахар был желтоватый. Со значительными примесями ниток, мешковины, всякого сора.

— И не замечаешь, что он весь пропитан кровью Эдика Пестова, моего наводчика? — усмехнулся сержант, завязывая тряпицу. — Вот и Толя Фроловский ничего не увидел. Значит, не всем открывается эта кровь.

Я заметил, что, легок на помине, Толя Фроловский делает мне какие-то знаки.

— Булавин и тебе показывал свой сахар? — спросил Анатолий, когда сержант ушел. — После гибели Эдика с ним что-то случилось. Заговаривается, бормочет, ничего не поймешь. Боюсь с ним спать в одном окопе. Задушит ночью или что-нибудь еще натворит. Может, повредился в уме?

Кончался душный день. Наступали сумерки. Последняя стая «лапотников» сбросила бомбы на дымящиеся

развалины Подгорного. Сгущалась ночь. Над немецкой передовой, откатившейся теперь к Подклетному, повисли осветительные ракеты.

Мы проснулись от жуткого, раздирающего душу крика. Сержант Булавин стоял на гребне высоты, сжимая в руке узелок с сахаром.

— Вон они идут! Стреляйте! — вопил Булавин.

Подняв руки, сержант откинулся назад, потерял равновесие, упал на спину и покатился вниз. Спросонья нас всех обуял ужас, я почувствовал, что ноги мои отянулись, язык прилип к зубам, гортани. Если бы в тот миг и в самом деле появилось хотя бы трое немцев, они бы переловили нас всех, как птенчиков.

Дикий вопль сошедшего с ума сержанта разбудил не только нас, но и немцев. Вражеский пулеметчик дал слепую очередь. Ему ответили с нашей стороны. Хлопнула мина. Началась беспорядочная стрельба, которая долго не утихала.

Спать уже не пришлось. Получили приказ выдвигаться вперед. Пришлось оставлять прекрасные позиции и опять рыть новые окопы. Я слышал, как командир роты Хаттагов сказал политруку Парфенову:

— Доказывал, что менять позиции не имеет смысла. Миномет поражает цели на три тысячи, поэтому триста метров нам никакого выигрыша не дадут. Да разве с ним поспоришь! «Выполняй приказ! Вперед!» Вот и весь разговор.

Кто отдал такой приказ, Хаттагов не назвал.

Утро застало нас на высоте с отметкой 164,9. На высоте, где спустя два часа погибнет наша минометная рота.

(Через много лет, впервые после войны попав в Воропеж, я попросил в обкоме партии машину и поехал по Задонскому шоссе к селу Подгорное. И вдруг из окна «Волги» увидел высоту, на которой окопалась тогда наша рота. Впереди по-прежнему лежало пространство ничьей земли. Город еще не дошагал сюда своими многоэтажными домами, а пшеничное поле обошло высоту стороной, словно боясь потревожить еще незажившие раны: полу-васыпанные, поросшие осотом минометные окопы, воронки, выщипавшие южный склон, как оспа лицо.

Сколько лет я хотел побывать у этой высоты с отметкой 164,9! Хотел и страшился. Было безумно тяжело вернуться в тот жаркий июльский день сорок второго года,



когда вражеские автоматчики вышли на позиции нашей батареи.

Но, пожалуй, сильнее давнего страха было чувство какой-то стыдливой неловкости, цемящей вины за то, что ребята остались навсегда здесь, под этим холмом, а я вернулся с войны...

Неподалеку тарахтел экскаватор. Он тянул траншею для газопровода, выбрасывая в отвал жирные, лоснящиеся комья земли. Черные металлические трубы, разложенные вдоль отвала, были едва различимы на черном фоне земли. Трасса шла к холму, и мне показалось, что экскаватор ткнется своим ковшом в артиллерийскую воронку, где похоронены без гробов мои товарищи...

— Вы же хотели погулять по полю, — обернулся ко мне молоденький шофер. — Мальчишки до сих пор подбирают здесь гильзы, осколки. Одному пареньку повезло: нашел почти целый стабилизатор от мины. Может, возьмете осколочек себе на память?

— Осколочек на память я тут уже давно подобрал и пошу всегда с собой, — сказал я. — Хирурги не смогли его достать.

Я вышел из машины и тут же почувствовал, что ноги у меня стали ватными. Чтоб не оступиться, я схватился за дверцу.

— Скорее в гостиницу, — попросил я шофера.

Вечером у себя в номере я положил перед собою стопку бумаги. Я глядел за окно, где за громадой новых кварталов лежала высота с отметкой 164,9, до сих пор хранящая шрамы войны. Мне виделись лица ребят, я слышал их голоса. Я просидел всю ночь, но бумага так и осталась чистой...

И вот я пишу теперь, спустя много лет...)

Итак, утро застало нас на высоте с отметкой 164,9. Мы сидели в окопах на северном склоне, обращенном к Подгорному. Гребень высоты, на котором стояли прицельные вешки, закрывал нам широкий обзор. А с наблюдательного пункта командира роты хорошо был виден Воронеж, до него было рукой подать. В обычное время — часовая прогулка санаторно-курортным шагом, да еще с отдыхом в трех зеленеющих рощах. Рощи, как и повсюду в этих местах, имели свои названия: Малая, Длинная, Фигурная. Сейчас там были гитлеровцы. Не удержав Подгорное, они создали здесь мощный узел обо-

роны. Он прикрывал разъезд Подклетное, поселок Рабочий, Семилукскую дорогу, переправу через Дон.

Наши заклятые знакомые — «Юнкеры-87» еще не появлялись. Молчали артиллерийские батареи. Пехота доедала свою утреннюю кашу из пшеничных брикетов.

За Подгорным возник раскатистый грохот, будто завыли одновременно пять тысяч собак Баскервилей. Над нашими головами мелькнули огненные кометы с цветистыми павлиньими хвостами. Выскочившие на бредущем «мессершмитты» кинулись всей сворой терзать лесок, где только что отстрелялись «катюши». Но их и след простил.

Залп «катюш» прозвучал сигналом к бою. Из окопов, изрезавших холмистое поле от Задонского шоссе до каменоломен у Подклетного, поднялись поредевшие батальоны. Поддерживая атаку, наша батарея открыла беглый огонь. Нас же самих не обстреливали. То ли не обнаружили, то ли фашистам было сейчас важнее обратить всю свою огневую мощь против наступающей пехоты. В атакующих порядках рвались снаряды, и сразу же образовывались зияющие проплешины. Но ошестинившаяся штыками людская масса катилась и катилась вперед. В роще Фигурной, окутанной дымом и копотью, разгорался рукопашный бой. Накалившиеся от стрельбы минометы смолкли. Они теперь ничем не могли помочь тем, кто, собрав последние силы, ворвался в немецкие траншеи, сошелся грудь грудью с врагом, колот штыком и стрелял в упор.

Возле батареи появился солдат-пехотинец. Увидев нас, в нерешительности остановился, тяжело перевел дух, оглянулся через плечо.

— Почему бежишь с передовой?! — крикнул Парфенов, чувствуя, что впереди случилось что-то неладное.

— А где передовая? — ледяным голосом ответил боец. — Там никого нет. Только немцы. Обошли Фигурную, сейчас будут здесь!

За первым бежало еще человек восемь перепуганных насмерть бойцов. Один из них нес на плече дегтяревский ручной пулемет, двое тащили противотанковое ружье.

Командир роты Хаттагов бросился им наперерез.

— Стой, паникеры! — закричал он. — Бежать! С оружием! С противотанковым ружьем, с пулеметом! А тут минометная батарея. Значит, ее бросим, отдадим врагу! Занимайте с нами оборону, окапывайтесь!

Из минометных окопов на обратном склоне высоты нам ничего не было видно. Я пополз на вершину. Из

ближней лоцины выходили фигурки в серо-зеленых мундирах, с автоматами у живота. Фашисты двигались на высоту в полный рост, не сгибаясь, полагали, что здесь никого нет. Они были уже вне зоны минометного обстрела, минометы превратились теперь просто в самоварные трубы.

Никто из нас даже представить не мог, что впереди нас совершенно нет пехоты. Видно, тот старший начальник, который не посчитался с мнением нашего командира роты, нерасчетливо выдвинул минометную роту прямо к немецким позициям. Удерживать высоту было фактически нечем. На отделение несколько винтовок и автоматов, подобранных прямо на поле боя, десятка четыре гранат да девять приставших к нам бойцов с ручным пулеметом и бронебойным ружьем. Но отходить было нельзя. Нельзя было бросить минометы, отдать высоту...

— Без команды не стрелять, пусть подойдут поближе, — распорядился командир роты. — Вся наша сила сейчас во внезапности огня.

Спустя много лет на мирной карте этих мест появятся названия: высота Стойкости, курган Мужества... А тогда здесь проходил передний край, полоска истерзанной родной земли, отделяющая минометную батарею от фашистских автоматчиков, за которую не должен был пройти враг.

Мы лежали на гребне высоты совершенно открытые, не было даже времени вырыть хотя бы окоп для стрельбы лежа. Я прижал приклад к плечу и впился глазом в прицел. Я уже выбрал себе ближнего немца, вон он — высокий, узкоплечий, с вихляющим задом — это мой. Но вот его на полшага обогнал другой, приземистый, толстый, значит, теперь буду стрелять в толстого... Я испытывал не только страх, я ощущал огромную ответственность. Мне как-то вдруг отчетливо представилось, что впереди меня никого нет, только враг, и там, где я лежу, проходит рубеж моей страны, и если я отойду на полшага, то ровно на полшага станет меньше свободной советской земли...

Рядом тяжело дышал Боря Семеркин. Он тоже держал на мушке «своего» немца.

— Как думаешь, скоро придет к нам подмога? — тревожно спросил Борис. — Одни долго не продержимся.

— Думаю, что скоро, — ответил я. — Наши должны заметить, что немцы штурмуют высоту.

Фашисты все ближе. Я впился глазами в «своего» немца. Лица еще не разглядеть, но мне кажется, что это пожилой человек.

— Пора, пора, — шептал Борис. — Иначе...

И тут мы услышали твердый голос командира роты:

— Пулемету пока не стрелять! Остальным приготовиться! Раз, два, пли!

Немецкая цепь поредела, отпрянула, остановилась в перешительности.

— Еще приготовились! Пли!

Гитлеровцы залегли, открыли огонь из автоматов. Вскрикнул командир взвода Волков, выронил винтовку, зарылся лицом в пыль. Пули долго хлестали по высоте, пока немцы отважились опять подняться в атаку. И тут ударил с фланга наш пулемет. Молодец, Хаттагов, прибе-рег сюрприз, не все гостинцы раздавать сразу...

Гитлеровцы залегли снова. Теперь они не спешили атаковать высоту. А для нас минуты тянулись вечностью.

— Чего же они ждут? — сжал зубы Борис Семеркин.

Разорвался тяжелый снаряд. За ним второй, третий...

— Пулеметчика убило! Меня ранило, пулемет в щепки! — заорал второй номер из бойцов, остановленных Хаттаговым.

Высоту заволакивало дымом и пылью. Я увидел, что Виктор Шаповалов вскочил на ноги и побежал. Куда же он? Что такое? Виктор сделал два огромных прыжка и упал. У Виктора не было плеча, из огромной раны фонтаном била кровь. Я метнулся к нему, поднял его голову.

— Витька, Витька! Друг мой! — заплакал я, не в силах сдержать слезы. — Витька!..

Виктор Шаповалов был мертв.

Я пополз назад и наткнулся на сержанта Верзунова. Он стоял на коленках и собирал с земли свои кишки, вывалившиеся из распоротого живота.

— Кто есть живой? — услышал я знакомый голос. — Я политрук Парфенов, взял командование ротой на себя. Все назад в минометные окопы! Пока артобстрел, в атаку они не пойдут.

Я кубарем скатился в ход сообщения, через меня перепрыгнули Семеркин, Чамкин, Ревич.

— Выходит, убили Хаттагова? — спросил я.

— На моих глазах, — глухо ответил Ревич. — Прямое попадание. В клочья.

А снаряды с оглушающим ревом все падали и падали на высоту, переворачивая земные толщи и заваливая нас

в окопах. Смерд и копоть набивались в легкие, нечем было дышать.

В ушах возникло какое-то новое ощущение, давящая боль сменилась режущим звоном, будто возле самых барабанных перепонок начали бить в большие церковные колокола. Земля, ходившая ходуном под ногами, как корабельная палуба в шторм, перестала колыхаться, столбы пыли и дыма, взметенные взрывами, медленно уплывали с высоты. Я понял, что артобстрел кончился.

— Сейчас пойдут снова, — сказал политрук Парфенов, едва держась на ногах. — Вперед! Прыгайте в воронки, оттуда лучше стрелять, там не достанут пули.

Он первым выбрался из окопа.

А медлить было нельзя. Два танка, выскочив из ложины, ползли по склону. За ними бежали автоматчики.

Лев Скоморохов, наш товарищ по Фергане и Намангану, уронил винтовку и на четвереньках попытался назад. В его огромных зрачках застыл ужас.

— Вернись, подлюга! — закричал Чамкин, наставляя на него автомат. — Бежать надумал, бросить товарищey, шкуру свою спасти! Трус презренный!..

Скоморохов сел, растопыренными ладонями закрыл лицо.

— Да не боюсь я смерти, — захныкал он. — Убейте, если хотите! Лучше смерть, чем видеть все это: оторванные руки, кровь...

— А я тебе говорю: бери винтовку! Считаю до трех. Раз...

В нашу воронку скатился Парфенов.

— Опустит автомат, Чамкин, — примирительно сказал политрук. — Прибережем патроны для врага. А тебя, Лева, я понимаю. Страшно. Всем умирать страшно, не только тебе. Ну а зачем умирать? Не пришло время. Отобьемся гранатами.

Спокойный голос политрука погасил у Скоморохова вспышку внезапно охватившего его безумного страха. Опустив голову, он подобрал винтовку, вернулся на свое место.

А немцы совсем близко. Казалось, я уже слышал тяжелое дыхание бегущих солдат, чувствовал жар перегревшихся танковых моторов.

Донеслась команда политрука:

— Гранаты к бою! Бросайте все вместе после меня!

И вдруг танки остановились, пехота повернулась спиной и побежала впиз, исчезая в ложине...

Мы не сразу поняли, что случилось. И лишь потом узнали, что две наши танковые бригады с ходу протаранили вражескую оборону в роще Длинной, выскочили на дорогу Подклетное — Воронеж, отсекая фашистов, штурмовавших высоту 164,9, от их главных сил...

Потом мы сидели в большом стрелковом окопе — семнадцать бывших минометчиков и политрук Парфенов, все, что осталось от нашей роты. Позади чернела перепаханная снарядами, разорванная гранатами, засыпанная осколками высота 164,9, которую так и не смогли взять фашисты. Из соседних окопов выглядывали незнакомые солдаты. Они только сегодняшней ночью пришли на позиции, и все им было внове: сгоревшие танки, все еще дымившиеся среди пшеничного поля, облезлая, как старая платяная щетка, верхушка рощи Фигурной, развалины Воронежа, почерневшие, неживые, словно нарисованные на театральном заднике... На солдатах были еще незамурзанные гимнастерки, выглядели они свеженькими, розовощекими, в руках у них поблескивали новенькие автоматы ППШ и самозарядные винтовки Токарева.

— А нас не меняют, — вздохнул Семеркин. — Пора и в резерв отвести. Воюем уже семь дней, полную рабочую неделю, да еще без выходных.

— Не уже семь дней, а только семь дней, — мрачно поправил его Анатолий Фроловский. — На войне это не ветеранский срок. Да и потом, кто о нас сейчас помнит? Хаттагов убит, комбат убит, ни одного миномета не осталось, а до командира полка так же далеко, как до маршала Ворошилова.

— Ну, зачем же так грустно, друзья мои? — возразил Парфенов. — Помнят о нас не только в полку, но и в дивизии. Только о каком отдыхе может быть разговор, пока не взят Воронеж?

Я шепнул Ивану Чамкину:

— Если мы все уйдем на формировку, то политрук все равно останется. Один. А если он останется, то разве мы уйдем?

Иван согласно кивнул.

На нашем участке фронта установилось относительное затишье. Затишье перед бурей. Пыльными задонскими дорогами к Воронежу подходили свежие дивизии. На маленьких лесных полустанках разгружались танки. Иногда как-то сама собою возникала артиллерийская дуэль, не

имевшая продолжения. После артобстрела оранжевая пыль подолгу висела над полем. В узких просветах проступал усталый диск солнца, казавшийся обгорелым, обуглившимся. С утра, как обычно, прилетали «лапотники». С неторопливой деловитостью сельскохозяйственной авиации, опрыскивающей посевы, «юнкеры» безнаказанно обрабатывали передний край. Участок за участком. Точно по расписанию. С перерывами на обед, на полдник, на вечерний кофе...

Стояли жаркие, душные, безветренные дни. Мы мечтали о забайкальской вьюге, о таймырской пурге, о лондонском тумане. Тогда бы фашистские бомбардировщики остались сидеть на своих аэродромах, и мы бы не слышали раздирающего душу свиста бомб, летящих, как всегда кажется, прямо в твой окоп.

Очень хотелось пить. В окопы по-прежнему проступали рыжие грунтовые воды, а нас мучила жажда. А родничок был далеко. Вот все сидели и думали: кому идти? А пить хотелось.

В окоп заглянул парнишка из соседнего окопа.

— Браточки, вы тут старожилы. Где берете водичку? Покажите!

— Идти неблизко и непросто: местность простреливается.

— Так как же быть?

— Хорошо, пойдём, — согласился я и стал собирать фляжки со всей роты.

Мы перебежали через шоссе, прошли полем, углубились в рощицу. Познакомились. Моего попутчика звали Василием, лет ему было, как и мне, восемнадцать, он из города Прокопьевска, сибиряк, да и вся дивизия сибирская, формировалась в городе Кемерово, откуда и прибыла на фронт.

Пришлось немало поплутать, прежде чем в узком овраге набрали на родничок, схваченный четырехугольником легких бревнышек. У сруба на коленях сидел немец, сунув голову под воду, окрашенную в бурый цвет. Немец был мертв. Он тоже пришел за водой, и здесь его настигла пуля. Мы оттащили тело, подождали, пока стечет вода, и стали наполнять фляжки.

— Видишь, на водопой не только мы сюда хаживаем, — сказал я. — Надо брать правее. А то угодим прямо фрицу в лапы. А чем будем отбиваться? Баклажками?

Мы сделали большой круг, вышли чуть ли не к Подгорному, дорога опять пошла перелеском. Вдруг я уви-

дел, что нам навстречу между деревьями катится какой-то большой бурый рычащий ком.

— Да это наш Мишка! — радостно воскликнул Василий.

За медведем поспешал сержант со связистским «жучком» в петлицах. Пока медведь еще не поравнялся с нами, Вася успел мне рассказать, что косолапого подарили им кемеровчане, когда провожали дивизию на фронт. «Пусть наш земляк напоминает вам о родной Сибири», — сказали они.

Приблизившись, Мишка дружелюбно обнюхал нас, зевнул и отвернулся, демонстрируя полное к нам равнодушие.

— А что он ест? — спросил я у сержанта-связиста.

— С удовольствием полакомился бы медком, конфетами, пряниками. Да где их взять? — усмехнулся связист. — Мишка это понимает и не привередничает. Пока ехали, грыз себе сухари. Ну а сейчас он на свободном продаттестате, сам себя подкармливает, собирает в лесах какие-то ягоды...

(Встреча с медведем меня сильно впечатлила, мне было ведь только восемнадцать лет. После войны, когда я в кругу друзей вспоминал о Мишке-сибиряке, никто, разве что кроме маленьких детей, мне не верил. Действительно странно: медведь — да на фронте! Чтобы не прослыть трепачом, я написал, а «Правда» напечатала небольшую зарисовку, которая называлась: «Шел Мишка за солдатами». И обратился к ветеранам, воевавшим на Воронежском фронте: может быть, и вы встречали Мишку-кемеровчанина, знаете о его дальнейшей судьбе?

Я получил немало писем. Мишку-фронтовика люди знали и помнили. «Храбрый был «воин», — писали фронтовики. Правда, в атаку он не ходил, но и в глубоком тылу не отсиживался. Попав на театр военных действий, косолапый постоянно находился на НП своей 303-й стрелковой дивизии. Нес патрульную и сторожевую службу. Заметив вражеские самолеты, поднимал тревогу, но при бомбежке и артобстреле вел себя спокойно, подавая другим пример самообладания и мужества. А в минуты отдыха, под гармошку сержанта из роты связи, наверное того самого, кого мы тогда повстречали в прифронтовом лесу, лихо отплясывал «Калинку», потешая бойцов до слез.



Фронттовики вспоминали, что с Мишкой-сибиряком был «знаком» командующий нашей армией генерал Черняховский. Приезжая на НП 303-й дивизии, Иван Данилович всегда играл с Мишкой, угощал его конфеткой. Но вот однажды, приехав в дивизию, Черняховский обратил внимание, что медведь не мчится, как обычно, ему навстречу.

— А где Мишка? — спросил командарм.

— Увы, пропал.

— Значит, проворонили. — Иван Данилович задумался. — Вы знаете, вашего медведя наверняка приголубили мои танкисты. Больше и некому. Передайте мой приказ командиру танкового корпуса генералу Корчагину: пусть вернут медведя. Сибирякам без косолапного никак нельзя.

Судьба Мишки решилась на генеральском уровне. Иван Данилович оказался прав: медведь подался в танковые войска не по своей охоте. Он с радостью вернулся в пехоту, снова под гармонь отплясывал «Калинку» и урчал от восторга, видя радостные лица земляков...

Увы, Мишке-сибиряку не довелось дожить до Победы. Во время боев на Курской дуге осколком снаряда он был смертельно ранен.)

...Я вернулся с водой уже под вечер. Ребята устали ждать.

— Думали, с тобою что случилось, — сказал Иван Чамкин, жадно прикладываясь к фляжке.

Попили водицы вдоволь. Когда ложились спать, политрука Парфенова вызвали на НП полка.

Он вернулся на рассвете. Сказал, что отдан приказ: сегодня же отбить Воронеж. Будет большое наступление.

Достали кисеты, кресала, стали крутить козьи ножки. Некурящий Чамкин вздохнул:

— Что-то на полевой почте у нас лентяя, не несут письма. А у меня бабушка сильно больна. Волнуюсь.

— Будут письма! — откликнулся Яков. — Сейчас сбегаяю!

Он скрылся в осыпающемся ходе сообщения, но тут же вернулся.

— Почтальон передал мне свою сумку, — сказал он вполне серьезно, поправляя на боку пустой противогазный чехол. Яков сделал вид, что достал письмо. Потом приблизил раскрытые ладони к глазам, медленно, будто плохо разбирал чужой почерк, стал «читать». Ему совсем нетрудно было представить, о чем нам могут писать.

Столько месяцев мы прожили одной жизнью, показывали друг другу письма из дому, рассказывали о родителях, друзьях!

Новости, о которых сообщал сейчас Яков, были самые приятные. Бабушка Ивана совсем поправилась, вяжет внуку варежки, обещает прислать к зиме. Борина мама, как всегда, интересовалась, не закармливают ли сына мясом, и советовала в свободное время с разрешения старшины Челимкина ходить в ближайший лес по грибы, по ягоды. Толику Фроловскому пришла открытка от девушки Ларисы, которая подлежит огласке лишь при согласии адресата.

— Валяй! — засмеялся Толя.

Яков «читал» письмо за письмом, и в полузатопленном окопе у Задонского шоссе повеяло чем-то родным, давно оставленным и таким близким. Письма, сочиненные Яковом, были настолько правдоподобны, что пожилой солдат Нефёдов, единственный оставшийся в живых из девяти-рых, остановленных нами на той высоте, и все вздохавший о своем деревенском хозяйстве, сначала аж захлопал в ладоши, услышав, что его коза родила двух козлят. Но тут же, перехватив озорной взгляд Ревича, сообразил, что это всего лишь шутка.

— Ну и придумщик ты, парень, — сказал он незлобно. — С тобой не пропадешь.

Рев моторов вернул нас от сладких воспоминаний о доме в сырой окоп у Задонского шоссе. Из перелесков выползли тридцатьчетверки. Артиллерия ударила по вражеской обороне. Полки, окопавшиеся в междуречье Дона и Воронежа, пошли в наступление.

Мы бежали по пшеничному полю. Поначалу немцев не было видно. Только по тому, что колоски, как подрезанные, падали на землю, можно было догадаться, что по нас стреляли. Танки двигались позади стрелковых частей и, действуя как самоходные орудия, вели огонь через наши головы. По ним ударила вражеская артиллерия. Термитный снаряд со скрежетом ударился в башню танка, шедшего с нашей группой. Танк вздрогнул, словно от удивления, пошатнулся и вдруг вспыхнул. От него отделился огненный столб. Это выпрыгнул из люка один из танкистов. Мы бросились к нему, отстегивая саперные лопаты и пытаясь сбить пламя землей. Но поздно. Обуглившаяся кожа танкиста лопнула во многих местах.

Фашистские батареи охотились за танками, но попадали и пехоте. Опять налетели «лапотники». Теперь они ра-

ботали без перерыва. Одна эскадрилья приходила на смену другой. А пехота все бежала вперед. Бой уже шли на городских окраинах по ту и другую сторону Задонского шоссе: в корпусах сельхозинститута, в больничном городке, на стадионе «Динамо», в поселке Рабочем...

Когда мы пробились на перекресток Плехановской и Беговой улиц, нас оставалось только девять. Все смешалось тут: в одном доме сидели наши, в другом — фашисты. Стреляли из окон горящих зданий, с крыш, из сараев, из траншей, вырытых поперек тротуаров. Рядом рвались снаряды: чья-то батарея, не поймешь чья, лупила и по своим и по чужим. А мы все пробирались вперед: политрук сказал, что дальше, в глубине кварталов, дерется уж который день окруженный батальон НКВД.

В наступивших сумерках мы ворвались в полуразрушенный каменный дом с выбитыми окнами и дверью. Отсюда только что удрали фашисты. Пол был усыпан битым стеклом и кусками осыпавшейся штукатурки, по углам валялись обрывки немецких газет, банки из-под португальских сардин, бутылки с этикетками французского рома. Пахло чужим невытым телом, дешевым одеколоном, вонючими эрзац-сигаретами.

Было темно и тревожно. Вечерний мрак обличал расстояния, нагретый за день ветерок доносил обрывки чужой речи, казалось, что немцы совсем рядом. О сне, конечно, никто не помышлял. Да и кто бы мог уснуть? Мы сидели у оконных проемов с винтовками наготове. Лева Скоморохов выждался охранять нас с улицы. Теперь он все время лез в самое пекло, стыдясь своей минутной слабости там, на высоте 164,9, старался вернуть доверие товарищей.

Послышались чьи-то осторожные, легкие шаги. Кто-то пробирался среди развалин. Скоморохов выждал, когда человек подойдет поближе, выставил винтовку и приглушенно спросил:

— Стой, кто идет? Руки вверх!

Хриплый голос ответил из темноты:

— Если спрашиваешь по-русски, отвечу, что идет свой. А вот руки поднять не смогу. Держу котелок с пшенной кашей, боюсь, просыплю. А ребята с утра не емши. Ждут!

Политрук выглянул в окно:

— Подойдите поближе, покажите, что у вас в руках! Солдат приблизился.

— Показать покажу, а на пробу не дам. Самим мало.

А вы, гвардейцы, чем в чужие котелки заглядывать, взяли бы свои да смотались за кашей. Внизу какой-то повар ужин привез, а своей роты не нашел. Насыпает всем желающим и фамилии не спрашивает.

Я, Шаблин и Семеркин подхватили по два котелка в каждую руку и поспешили туда, куда показал солдат. За огородами в балке действительно стояла походная кухня. Кашевар, могучий дядя, проворно орудовал черпаком. Он тревожно оглядывался назад, где уже начинал светлеть край неба, и очень торопился. К кухне стояла молчащая очередь, человек двадцать. Некоторые, получив кашу, садились на землю, вытаскивали деревянные ложки и, быстро опорожнив котелок, занимали очередь снова. Кашевар не возражал. У него была своя забота: скорее раздать кашу и убраться подальше от передовой.

Впереди нас стояли два бойца в пятнистых маскхалатах. На головах у них были немецкие каски. Помня, в какую идиотскую историю мы влетели с этими касками, я подошел к бойцам.

— Поменяли бы вы, друзья, свои головные уборы. Мы тут однажды сдуру напялили немецкие каски, так командир роты нас чуть ли на месте не расстрелял. Вот схлопочете в темноте свою же пулю, будете знать!

Солдаты смерили меня тупым блуждающим взглядом, не ответили.

— Что, не доходит? — спросил я.

Один из солдат неопределенно махнул рукой: дескать, чего ты беспокоишься, приятель? Пустое! Другой демонстративно отвернулся.

— Ну, как знаете, — сказал я и вернулся на место.

Очередь двигалась быстро. Двое в маскхалатах подставили повару свои котелки и поспешили вслед за младшим сержантом, получившим кашу перед ними. Все трое скрылись за покосившимся забором, и тут же мы услышали отчаянный вопль:

— Караул! Спасайте! Уводят в плен!

Очередь кинулась на крик. Младший сержант лежал на спине; на лбу кровенилась глубокая рана. Дрожащим от волнения голосом он рассказал:

— Догнали они меня, повалили, стали захихивать пилотку в рот, душить. И шипят в самое ухо: «Ком, шнель, шнель!» А не то кадут. Я вырвался, закричал. Они ударили меня ребром каски — и наутек!

Кто-то дал очередь вслед убегающим немцам. Где-то откликнулись тоже очередью, возникла беспорядочная

стрельба, палили наугад все кому не лень. В конечном счете больше всех пострадали те, кто не успел взять каши. При первом же выстреле повара и след простыл. Вдалеке еще слышались стук колес кухни и конское ржание, но попробуй догони боязливого!

Когда мы появились с дымящимися котелками, ребята уж и отчаялись нас ждать.

— Боялись, что не придете, — сказал политрук. — Слышали пальбу, ну, думаем, попали в заваруху!

Мы объяснили, что было. Политрук усмехнулся:

— Немцы, видать, поначалу обознались, подумали, что подъехала их кухня. А когда обнаружили оплошность, то не растерялись: решили и кашки нашей отвезти, и пленного захватить.

— Похоже, что так, — согласился я.

— Вот-вот. А вы во второй раз опростоволосились с этими касками. Сперва вас приняли за немцев, а сейчас вы настоящих немцев приняли за своих, — сказал политрук с шутливой укоризной. — Могли бы ведь отличиться, «языков» привести. Они бы нам сейчас ох как не помешали!

Да, «язык» был бы очень нужен.

С утра возобновилась перестрелка, стали шлепаться мины. Опять не разберешь, где фашисты, а где наши. Ночью у походной кухни мы видели немало наших бойцов. Они должны сидеть где-то рядом. Но где? В каких воронках, в каких домах?

Дверь нашего дома выходила в огород, где рядом с поваленным набок сараем зеленели кустики клубники с торчащими из них перьями чеснока. Из двух оконных проемов открывалась булыжная мостовая, отделенная от тротуара рядом деревьев. На той стороне стояли три одноэтажных дома из красного кирпича, примерно такого же вида, как и наш: со снесенными наполовину крышами, с пробоинами в стенах.

На задах прокукарекал петух, умудрившийся чудом уцелеть среди всего этого безумства огня и металла.

— Как у нас в деревне за Волгой, петушок пропел, — улыбнулся Нефедов.

И странное дело, от этого петушиного пения что-то теплое прислонилось к сердцу, повеяло домашним, мирным, повеселело на душе...

— Пора бы разведать, что творится вокруг, — сказал Парфенов. — Кто пойдет?

Вызвались двое: Семеркин и Скоморохов.

— Пойдет Семеркин, — решил политрук. Он подвел Бориса к окну. — На Плехановскую не выходи. В тех красных домах, скорее всего, немцы. Двигай между сараями, но все время гляди, что делается на той стороне. И сразу же возвращайся.

Семеркин вышел в дверь, обогнул дом и пополз попластунски, смешно вилия бедрами и придерживая автомат за ремень. Передохнул, спотыкаясь, перепрыгнул через обгорелые бревна и скрылся в завалах. Прозвучали выстрелы. Из красных домов его заметили гитлеровцы — так мы и знали: они засели там. В окно высунулась голова в квадратной каске. Стрелок хотел посмотреть, попал или не попал. Скоморохов вскинул автомат, голова исчезла. Мы стали стрелять в красные дома, стараясь вызвать огонь на себя, чтобы поддержать Семеркина, прикрыть его отход. В игру включился фашистский пулеметчик, его очередь влетела в оконный проем, взметнула брызги кирпичной крошки на задней стене. Мы ответили. Завязалась перестрелка.

— Что-то не возвращается Борька-вегетарианец, — заволновался Ревич. — Давно должен быть. Как бы не случилось плохого! Может, ранен? Пойду посмотрю. Я мигом!

Политрук кивнул:

— Давай. Только будь осторожен.

Едва уполз Яков, как по нашему прибежищу стала бить пушка. Застонало перекрытие, посыпались кирпичи, зашатались стены. Мы выскочили из рассыпающегося на глазах дома, залегли в огороде, стали окапываться. Пушка сделала свое дело — дом присел и с грохотом свалился набок. Поднялась пылица на весь квартал. Потом в развалах, за которыми один вслед за другим исчезли Борис и Яков, возникло какое-то шевеление. Вскоре можно было уже разглядеть, что один боец тащит за собою на шинели другого. Наши! Мы с Лево́й Скомороховым бросились помогать. Сомнений быть теперь не могло: Семеркин тащил Ревича. Борис тяжело дышал сквозь сжатые зубы.

— Я уже полз назад, когда возле себя увидел Ревича, — сказал он наконец. — Короткая очередь, и все...

Возле распластанного на шинели Якова собрался наш маленький гарнизон. Непривычное спокойствие застыло на его пожелтевшем лице, и если бы не запекшаяся на губах кровь, можно было бы подумать, что он дремлет. Казалось, что все это очередная шутка «заместителя по-

литрука по веселой части». Вот Яшка вскочит на ноги и крикнет: «А ведь здорово я вас всех разыграл!»

Ваня Чамкин бросился трясти Ревича за плечи:

— Яша, Яша, что с тобою?! Очнись!

Глухо, словно из пустоты, донесся голос Семеркина:

— Не надо, Ваня, не поможет. Он не ранен, он уже убит.

Миша Шаблин и Толя Фроловский осторожно, словно боясь причинить ему боль, накрывали Якова шинелью...

А бой гроыхал. Пушка, которая разрушила наш дом, перенесла огонь дальше. Снаряды рвались в низине, куда прошлой ночью мы бегали к походной кухне за кашей. Ах вот оно в чем дело! На Плехановскую улицу выползала тридцатьчетверка. За нею держалась горстка наших солдат. Из развалин домов, из щелей, из сараев стали выбегать бойцы и присоединяться к идущим за танком.

— Вперед, ребята! — закричал политрук Парфенов. — Еще один рывок, и мы будем у «Электросигнала». А там направо, по проспекту Труда, улица 9 Января, мой дом!

Он поднялся первым. И вдруг покачнулся, как-то неловко упал, подломив под себя руку. Я подумал, что он зацепился за проволоку, которая торчала из канавы.

— Помочь встать, товарищ политрук? — Я протянул руку.

Парфенов бился в предсмертной агонии. На левой стороне гимнастерки, у нагрудного кармана, расплывалось красное пятно.

Все было кончено. Иван вынул из кармана политрука красную книжицу.

— Он велел мне сохранить партбилет, если его убьют, — сказал Чамкин. — Видишь, как получилось? Он чуть-чуть не дошел до своего завода...

(Спустя много лет после войны я прошел этот путь, я тоже не смог это сделать в сорок втором. От места, где был убит политрук Парфенов, до заводской проходной я насчитал всего триста двадцать семь шагов.)

Потом мы бежали за танком по обочине дороги, стреляя в окна красных домов и швыряя гранаты. И тут я увидел этого немца. Он прятался с автоматом за поваленным телеграфным столбом и, перекосив от злобы рот,

целился прямо в меня. «Сейчас застрелит!» — только успел подумать я и очутился на земле. Попытался подняться — не смог. Острая боль обожгла ноги, и я сообразил, что ранен.

— Спокойно, ребята, я вижу, где засел этот гад! — крикнул Миша Шаблин, отстегивая гранату.

Столб огня поднял вражеского автоматчика вверх.

— Вот так-то оно будет лучше, — сказал Михаил.

Ребята оттащили меня с проезжей части улицы в огород, распорол ботинки, обрезали галифе выше колен, стали бинтовать ноги.

— Что там у меня видно? — спросил я, пересиливая боль.

— Ничего особенного, так себе, маленькая дырочка, — успокоил Чамкин. — Лежи здесь и жди нас. За тобой придем.

Они побежали догонять ушедший вперед танк. А я остался лежать в огороде и ждать. Я думал о маме. Я думал о Зое, вспоминал, как шли мы с нею по предрассветному Ашхабаду, возвращаясь с выпускного вечера, не зная, что уже началась война. Я думал о том, что та жизнь, в которой нас серьезно заботили тройка по диктанту или проигрыш в школьном шахматном турнире, навсегда закончилась здесь, на Плехановской улице, и если удастся вдруг уцелеть, то будет совсем другая жизнь, другие радости и печали.

Танк, за которым мы бежали, ушел и не возвращался. «Может, его уже подбили?» — страшился я. Ребят тоже не было видно. Я лежал на спине и глядел на солнце, но оно, казалось мне, стояло на месте. Это был самый долгий день в моей жизни...

Перед закатом неизвестно откуда взявшиеся артиллеристы выкатили на дорогу сорокапятку, сделали несколько выстрелов и оттянули орудие назад. Стрельба слышалась ближе. Пробежали два потеэровца, волоча длинное, как водопроводная труба, ружье. Промчался на коне какой-то капитан, совсем плохо державшийся в седле, крикнул, что надо всем отходить назад, фашисты отбили роту Фигурную. Пожилой солдат склонился надо мной и сказал, с трудом переводя дыхание:

— Здесь нельзя оставаться, наших никого нет.

Он снял свой пояс. Я ухватил рукой. Солдат попытался тянуть меня волоком, но это и мне и ему оказалось не под силу. Я отпустил ремень. Солдат скрутил цигарку из своей махорки, выбил искру кресалом, протя-



нул мне глевший фитиль. Я увидел его сухие, обветренные губы, впавшие щеки, поросшие густой щетиной, и печальные голубые глаза, полные сострадания.

С воем разорвалась мина, обдав нас сухими комьями земли. Солдат пригнулся и побежал.

На горящие кварталы Воронежа опускалась ночь...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ, ЗАПИСЬ ВОСЬМАЯ...

«Находился на излечении в эвакуационном госпитале г. Чкалов, Ташкент. Июль 1942—апрель 1943».

Из огня меня выносила мама... Ее тревожный голос вырвал меня из свинцовой тяжести небытия, и, очнувшись, я понял, что все еще лежу в огороде, пахнувшем не душистой укропной свежестью, а горьким пороховым дымом, стелившимся по земле.

Мама меня искала, звала. Но как ты оказалась здесь, мама? От кого узнала, что на этом самом месте я был ранен несколько часов назад?

Голос мамы приближался. Она говорила что-то такое ласковое, родное, и на душе становилось спокойнее, теплее. Но самих слов я не мог разобрать. Ни одного. Мама, не надо так громко. Мы тут не одни. Рядом немцы. Смотри! В чуткой тишине крикнула ракетница, и в небе распустился яркий сноп света. Ломаные линии, возникнув, испуганно заметались по земле, легкий ветерок раскачивал в вышине парашют ракеты, осветившей местность, где под вечер закончился бой.

Я увидел опять бревно с пасынком, за которым тогда сидел автоматчик, развалины кирпичного дома, от которого уходил в огород узкий ход сообщения. Над ним чернел силуэт подорванного танка, распутивший по земле гусеницу, как нерадивый солдат обмотку. Повсюду валялись страшные орудия смерти вперемешку с предметами мирного домашнего быта, обычная картина уличных боев, — вспоротый матрас, искореженный станок «максима», расколота икона, кухонный шкафчик без ножек, разбросанные там и сям автоматные диски, штыки, цинковое корыто, паутина оборванных проводов, немецкая каска, напаянная каким-то шутиком на руль детского трехколесного велосипеда...

Качающийся факел все ниже, светящийся круг все уже, и вот дрожащие тени, растянувшись до сказочных

размеров, ушли в ночь. На небе вновь замерцали звезды, которые сквозь клубящийся дым пожарища казались мохнатыми...

Положи мне что-нибудь под голову, мама, мне очень тяжело лежать. Откуда такая боль? Она не только во мне, она вокруг. Чтобы ушла боль, мелькнуло в голове, надо погасить колючие звезды в небе, и я опять погрузился в вязкую жижу асфальтового бреда.

Под утро я опять услышал голоса. Немцы! Я так и знал, что они придут. Раз — и конец! Ну и пусть. Зато не будет этой безумной боли. Что ж, наступают моменты, когда смерть кажется заманчивей жизни. На том свете у меня уже больше друзей, чем на этом.

— Смотрите, он здесь! — вдруг узнал я голос Ивана Чамкина.

С ним Толя Фроловский, Миша Шаблин. Спасибо тебе, мама! Ты позвала моих верных товарищей, они не оставят меня в беде!

Но мама уже исчезла. Она будет не раз являться ко мне в беспамятном полумраке санитарных летучек, в белом безмолвии послеоперационных палат.

Надо мною склонилось зеленое лицо Чамкина.

— Обшарили все вокруг, насилу нашли. Когда тебя оттащили с дороги, заметили разбитый кирпичный дом. А тут все разбитые.

— Как будем его брать? — спросил Толик.

— Между немецкими позициями протащим волоком, а там возьмем на руки. Надо б найти широкую доску, легче тащить.

Миша Шаблин отполз в сторону.

— Есть хорошее цинковое корыто, — доложил он из темноты.

— Корыто? — удивился Толик. Ему стало смешно. — Такого большого — и в корыте!

— Корыто подойдет, — решил Иван. — Будет скользить лучше доски.

Появился Миша с корытом. Иван обхватил меня за плечи, Толя взялся за перебитые ноги.

— Ну, двинулись, — скомандовал Иван.

Он исполнял роль рулевого, давая корыту нужное направление, полз впереди. Шаблин и Фроловский толкали корыто сзади.

— Ему очень удобно, — сказал Миша, как бы оправдываясь передо мною за то, что предложил такое несуразное средство передвижения.

Между тем в корыте уместились лишь спина и зад, голова не имела опоры, ноги волочились по земле. Корыто двигалось рывками, то и дело натываясь на кирпичи, на обгорелые бревна, на окученные картофельные кусты, сползало в ямы.

— Ой, братцы, не могу! — взывал я.

— Он действительно не может, — заметил Толик. — Куда деть ему ноги? Давайте его посадим.

Предложение всем понравилось. Меня подтянули вперед, под спину сунули чей-то валявшийся на дороге мешок, велели крепко держаться руками.

— Так-то ему будет лучше, — решил за меня Иван.

Мне, наоборот, стало хуже. Ноги все равно не уместились в корыте, при первом же толчке я вскрикнул:

— Да выньте меня из этого корыта и бросьте здесь! Лучше уж я подохну, чем так!

Никто не ответил, корыто с мерзким скрипом поползло дальше. Я завыл. Совсем близко разорвалась автоматная очередь. Трасса прошла выше.

— Оставьте меня здесь, больше нет мочи!

— Что будем делать? — спросил Иван, останавливаясь. — Орет. Погубит всех, а себя первого.

Миша Шаблин достал перевязочный пакет, сорвал обертку.

— Будем делать кляп, иного выхода не вижу, — деловито сказал он.

Я еще ничего не успел сообразить, как Шаблин оттянул мой подбородок и с силой втиснул пакет в рот. Бинт прижал к зубам язык, раздул щеки, достал до самой гортани.

Иван прислушался:

— Дышит, может дышать. Пошли!

Теперь меня уже не волокли, а несли. Ребятам было ох как нелегко! Из-под касок по искаженным лицам стекал густой, смешавшийся с пылью пот. Они бежали напрямик, не выбирая дороги, проваливаясь в колдобины, путались в обрывках проволоки, в завалах. При каждом их шаге корыто уходило то вперед, то назад, кренилось вправо и влево. Чтобы удержаться, я хватался за плечи Мишки и Тольки.

— Отцепись, мешаешь бежать, — слышал я рассерженный шепот товарищей. — Терпи, немного осталось.

— Смотрите! — вдруг вскрикнул Михаил.

Навстречу шли пятеро немцев. В руках у двоих были носилки, видно, они искали своих раненых. Ребята плюх-

нулись на землю. Я выкатился из корыта. Пронзительная боль вышибла из глаз десятки оранжевых ракет. В этот миг я увидел, какой бывает смерть: багровая сургучная закипь с черными чернильными кляксами по обгорелым краям...

Прошла целая вечность. Кто-то тронул меня за плечо.

— Пейте, товарищ сержант, у вас все губы почернели, потрескались.

Горлышко стеклянной фляжки звякнуло о мои зубы. Я пил и не чувствовал, что пью. Что такое? Опять бред? Сладкий и в то же время мучительный кошмар видений, преследующий меня неотступно и заслоняющий реальный мир ощущений и чувств. Где же мама? Ведь она была со мною там, на поле отшумевшего боя. Потом ребята, которые тащили меня в этом дурацком корыте. Я опустил руку вниз, надеясь нащупать холодный, металлический бок моего цинкового ложка, но пальцы паткнулись на что-то мягкое, теплое, пружинистое — я лежал на носилках. Я облегченно вздохнул: конечно же, мне все померещилось, приснилось, ничего не было, была только боль.

Теперь я почувствовал вкус воды. Она отдавала тухлятинкой болотца, но я пил и пил, боясь, что это неповторимое блаженство вдруг исчезнет, уйдет. Я открыл глаза и увидел, что лежу на лесной полянке. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь зеленый шатер деревьев, слегка золотили густую траву.

— Товарищ сержант, — услышал я все тот же голос, теперь показавшийся мне знакомым, — будете есть кашу? Тогда я сбегаяю на кухню. Наварили полный котел, а есть некому.

Передо мною, сутулясь, стоял пожилой солдат в очках.

Так это же Булгаков, солдат из моего отделения, который несколько дней назад исчез с передовой! Никто, в общем, и не заметил его отсутствия. Да и кому был нужен этот никудышный солдат, хоронившийся за спины других, трясущийся от страха, бесформенный, как кисель? Какой прок от такого в бою?

— Булгаков, вы?

— Да, это я, товарищ сержант, — угодливо ответил он, страшась, что прикажу ему немедленно возвращаться на позиции.

Теперь он был похож уже не на клюквенный кисель, а на человека. Лицо его округлилось, под поясом намстилось бывшее гражданское брюшко.

— Что вы тут делаете, Булгаков?

Он повесил пустую фляжку на ремень и попытался встать по стойке «смирно», хотя это ему никогда не удавалось. Не удалось и на этот раз.

— Если вы помните, товарищ сержант, как-то я вам докладывал, что у меня гастрит. Изжоги, отрыжки, просто нет никакого терпения. Особенно при теперешнем питании. Вот я и забежал сюда на минутку попросить питьевой соды. А тут как раз навезли раненых, некому было таскать. Так вот товарищ военврач второго ранга приказала мне брать носилки, а соды не дала. Теперь я вроде санитар в санбате.

— Тут санбат?

Я с трудом повернул голову, неудобно лежащую на чужом, подобранном ребятами вещмешке, и только теперь заметил длинную зеленую палатку с открытым пологом и большими красными крестами на забрызганных грязью боках. За первой палаткой виднелись другие. Зеленеющий брезент сливался с зеленым фоном леса. Возле палаток на носилках, а то и прямо на траве лежали раненые.

— Товарищ сержант, так принести вам каши? — спросил Булгаков

Я вдруг ощутил голод. И тут же перед глазами встали могила Эдика Пестова, разорванное тело Виктора Шаповалова, остекленные глаза Якова Ревича, недвижно глядящие в небесную голубизну. Мне стало противно принимать пищу из рук труса. Я сказал:

— Не надо. Я сыт

— Может, устроить вам помыться, товарищ сержант? — продолжал суетиться Булгаков. — Вы совсем черный, как негр, только одни глаза белеют. А бородача-то какая! Давненько не брились, товарищ сержант?

— Откуда у меня бородача? Да я вообще не бреюсь, и бритвы-то у меня нет.

Я провел рукою по щеке, ладонь нащупала жесткую щетину. Странно: вчера, когда мы пошли в атаку, у меня под носом рос лишь легкий пушок.

— Да, я помню ваше совершенно чистое, юношеское лицо, — угодливо подтвердил Булгаков и хихикнул: — Значит, всего за одну ночь вы стали мужчиной.

Он не подозревал, как был прав.

Донесся гул, сначала неясный, отдаленный, затем

грохочущий и близкий. С утра начинался бой. Булгаков изменился в лице. Теперь это был прежний Булгаков, с испуганно отвисшей челюстью, с дрожащим кончиком носа, со смертельным страхом в бегающих глазах.

— Сейчас найду товарища военврача второго ранга, — пролепетал он. — Попрошу взять вас вне очереди. А то прорвутся немцы, куда же вы тогда, товарищ сержант? Я мигом. Сейчас вернусь.

Он не вернулся. Должно быть, санбат показался ему слишком опасным местом. Побежал дальше в тыл...

Я не заметил, как подошла медсестра, присела у носилок, стала писать.

— Фамилия, имя, отчество?

Я сказал.

— Год рождения?

— Двадцать третий.

Медсестра записала: «третий». Видимо, в то утро, вытасченный с поля боя, я выглядел старше на двадцать лет.

(Ошибка обнаружилась спустя несколько месяцев в Чкаловском эвакогоспитале. Хирург Анатолий Евгеньевич, внося свои записи в историю болезни, протер очки и удивленно посмотрел на меня: «Мальчик, разве тебе тридцать восемь?» — «Ну что вы, доктор, мне восемнадцать». — «Я тоже так думаю. Кто же тебе приписал двадцать годков?» И внес исправление, вернув мне мое юношеское состояние.)

Оформив историю болезни, медсестра достала другую бумажку, бланк вещевого аттестата.

— Казенного имущества у тебя, я вижу, не много, — улыбулась она.

Какое там имущество! Я лежал непокрытый, босой. Через шею вместо амулета на черной тесемке был переброшен кисет с махоркой и нарезанной газетной бумагой. В кисет Иван Чамкин положил мой комсомольский билет.

— Хорошенько запомни, где он лежит, — несколько раз повторил Иван.

Других документов у меня не было, красноармейских книжек еще не ввели. Медсестра оглядела меня придирчивым взглядом.

— Итак, запишем: гимнастерка, галифе...

— Какое галифе! — слабо возразил я. — Одни ошметки.

— Интендантам для отчета пригодится. Велели записывать все. Значит, галифе, два ремня, брючный и поясной, вещевой мешок.

— Мешок не мой. Его положили мне под голову, чтоб не было низко.

Но девушка уже поставила точку. Она погладила меня по заросшим щекам, поправила съехавший на бок вещмешок, спросила:

— Тебя ранили в Воронеже? Не слышал, взяли ли немцы Отрожку? Там у меня мама, младший братишка. Это на левом берегу.

— Не знаю, но там шел бой. Но если даже Отрожку взяли, то твои могли уйти раньше. Когда мы подходили к фронту, то встречали много беженцев.

На глаза девушки навернулись слезы. Она поднялась с травы, отряхнула юбку.

— Потерпи самую малость. Сейчас тебя возьмем.

Вскоре два санитары из раненых занесли меня в палатку с открытым полом. Операционный стол был занят. На нем лежал человек с лицом цвета раскаленного угля. Сладковато-тошнотворный запах горелого мяса висел над низким брезентовым потолком. Над обожженным склонились фигуры в белых халатах. Командовала тут женщина-врач, наверное, та самая, о которой говорил Булгаков. Ближе к ней стояла моя знакомая медсестра из Отрожки. Ее называли Мариной.

— Ой, как досталось нашему красному соколу! — вздохнула Марина.

Это был сержант-пилот, летчик-истребитель, сбитый вчера над донской переправой. Из горящей кабины его вытащили наши пехотинцы.

Пока меня переключивали на освободившийся стол, военврач, отойдя в сторону и подняв оттопыренные ладони в резиновых перчатках, курила из рук Марины. На ее халате густо бурели пятна. Кровь тут была всюду: на рукавах медсестер, на затоптанном травяном полу, в эмальированных тазух, стоящих под операционным столом. Кровь брызнула из моих ран, когда Марина попробовала сорвать бинты, слипшиеся в твердый бордовый панцирь.

— Знаю, знаю, миленький, что очень больно. Ничего не поделаешь, потерпи!

Военврач, сделав последнюю затяжку, подошла ко мне.

— Сколько пролежал на поле боя? — спросила она хриплым, прокуренным голосом.

— День и ночь, — ответил я.

— Ну вот. В ранах пыль, грязь, кирпичная крошка. Пишите, Марина: сквозное пулевое ранение левой голени с переломом кости, два ранения мягких тканей правой голени, сквозное и слепое. Одна пуля сидит под самой кожей. Сейчас ее достанем. Пстой, пстой, а когда тебя угораздило в голову?

— Когда я уже лежал раненный. Разорвалась мина.

Медсестра склонилась к военврачу, что-то сказала.

— Ах вот в чем дело! — воскликнула хирург. — Так это тебя принесли, как младенца, в корыте? Считаю, что ты вновь родился на свет. Теперь уже все в порядке, до свадьбы заживет. — Она обратилась к другим врачам и сестрам: — Представляете, транспортировка раненого в корыте! Редчайший случай в истории санитарной службы русской армии. Если не единственный...

Она начала обрабатывать раны.

— Ланцет! Зонд! Тампон! — командовала военврач. А мне говорила: — Терпи, малыш, терпи...

Но никакой новой боли я не чувствовал. Нож хирурга уже ничего не мог добавить к страданиям тех, кто лежал в походной палатке на операционном столе. Наркоз не требовался, в нем не было нужды. Марина придавила меня своей грудью, крепко держала за руки. А врач делала свое дело. Я старался не думать о том, что меня режут. Моим глазам открывался квадрат прогнувшегося брезентового потолка, по которому лениво ползали откормленные зеленые мухи. В нависшей тишине я услышал металлический звук: что-то тяжелое ударилось о донышко таза. Пуля!

— Отдайте мою пулю! — взмолился я.

— Зачем она тебе? Не полагается, — отрезала Марина.

— А почему? — Военврач нагнулась к тазу. — Пусть возьмет на память. Опять ему повезло: от пули осталась лишь медная оболочка. А не вылетит свинцовая начинка, перебила бы кости и на другой ноге.

Я быстро запрятал пулю в кисет, опасаясь, как бы военврач не передумала. Но пулю отбирать она не собиралась. Пока Марина накладывала мне шины, военврач



у полуоткрытого полога опять захлебнулась махорочным дымом.

На носилках, мерно раскачивающихся в такт широко шагающих санитаров, я выплыл из операционной палатки. Высоко-высоко надо мною сосны смотрелись в небо своими золотистыми верхушками. Было прохладно и сыро. На полянке у говорливого ручейка лежали раненые, уже побывавшие в руках хирурга и теперь ожидавшие отправки в тыл. Меня положили рядом с обгоревшим летчиком. Его бесформенное лицо и грудь покрывала сетчатая маска, вроде той, которую надевают пчеловоды, подходя к своим ульям. Только тут летчику угрожали не пчелы, а комары, мухи, мошкара, всякий лесной и болотный гнус. Вся эта жужжащая мерзость слеталась на запах гниющих ран, и не будь сетки, раненому пришлось бы совсем худо. Сквозь сетку можно было рассматривать выпуклые кровавые пучки мышц, словно это был не живой человек, а фарфоровый манекен из нашего школьного кабинета естествознания, по которому мы изучали анатомию.

— Кого припесли? — спросил летчик, глядя на меня пустыми кровавыми глазницами.

— Сержант-минометчик. Это вы нас, наверное, с воздуха прикрывали?

— Прикрывал, прикрывал. — Летчик выругался. — Плохо прикрывал. Жорку не уберег, своего ведущего. Жорка не мог видеть, откуда взялся этот «мессер». А я должен был заметить, как он заходит ему в хвост. Должен, а прозевал. Со стороны солнца заходил, гад! Спихватился, да поздно, когда Жорка факелом полетел вниз.

— Но ведь вас тоже атаквали.

— Что ж с того? Сам погибай, а товарища выручай! На то я и ведомый. Ах, Жорка, Жорка!..

Летчик умолк. Принесли новых послеоперационных: безногого парнишку в танкистском шлемофоне и рыжего детину лет сорока пяти. Детина что-то кричал сестре осипшим голосом, будто накануне он выпил жбан холодного кваса.

— Да вы не нервничайте, дядя Костя, — сказала Марина и ушла к палатке.

— Как это не нервничать! — просипел дядя Костя, обращаясь к нам за поддержкой. Его маленькие глаза, казавшиеся еще меньше на широком, скуластом лице, зло смотрели исподлобья. — Я в этом проклятом санбате вторые сутки, когда же будут эвакуировать? То нет у

них машин, то нет, смешно сказать, даже повозок. Интересно, как это мы воевать собрались, кто-то там даже не скумекал, что на войне будут раненые, а их куда-то девать надо. А фриц все продумал до мелочей. Фляжки не дают стеклянные — сразу же бьются, вот и сидим в окопе без воды. А у фрица фляжка алюминиевая, на всю войну хватит. Пустяк? Пусть. Но удобно. А вот саперная лопата уже не пустяк. У наших лопат штыки из какой-то дряни, до первого камня, а там напополам. А у него лопата из вороненой стали с муфтой. Подкрутил — из лопаты получается кетмень. Словом, кругом у нас полный бардак.

— Бардак — он есть, конечно. Присутствует. Но учти, дядя, пока у нас бардак, мы непобедимы. А попробуй перестрой наши порядки на четкий немецкий лад, и все полетит к черту. — Это сказал безногий танкист. — Вот увидишь, дядя, наш бардак пересилит их железный бардак.

Кругом засмеялись. Дядя Костя не нашелся что ответить.

На лесной поляне раненых все прибывало. Одни, как и я, лежали на носилках, другие сидели на земле, прислонившись к стволам деревьев. День кончался. Золотисто-оранжевый закат заползал в лес, теряя свои яркие краски. Заметно похолодало. Солдат-узбек с перевязанной левой рукой добровольно взял на себя заботу о тяжелораненых: подправлял вещмешки в головах, вертел сигарки, прикуривал. Заметив, что я дрожу, он исчез за деревьями и вскоре появился с шинелью. Она оказалась мне мала, накрыла только ноги и полживота.

Узбек покачал головой:

— Пойду принесу побольше.

— А где вы ее возьмете?

— У хозяина, которому она уже не нужна, — ответил узбек. — Там их много таких лежит в овраге. Их выносят из палатки в другие двери...

— Не надо! — закричал я.

Узбек пожал плечами:

— Как хочешь, дорогой!..

Канонада, громыхавшая весь день, стихла. Стало слышно, как заблудившийся между деревьев ветерок шелестил крону, ветки терлись, издавая скорбные звуки, похожие на человеческие вздохи. Вполне возможно, это стонали раненые. Потом донесся тяжелый рокот танко-

вых моторов. Он подбирался все ближе. Должно быть, наша танковая часть выдвигалась на исходные позиции.

В небе послышался другой рокот.

— Летят, — сказал сержант-пилот. — Только этого еще не хватало.

— Похоже, выследили колонну, — насторожился безногий танкист.

Над дальней стороной леса распустились осветительные ракеты. Упали первые бомбы. Отблеск разрыва на миг осветил суровые лица раненых.

— Кто же догадался прятать танки, где санбат! — услышал я захлебывающийся голос дяди Кости. — В том же лесу!

— Худо сейчас ребятишкам, — молвил безногий танкист.

Самолеты разворачивались над нами и, снижаясь, заходили на цель. Вихри, рожденные винтами «юнкерсов», раскачивали верхушки деревьев, обдавая лежащих на земле бойцов удушливой вонью выхлопных газов.

— Почему нас не везут?! — опять заорал дядя Костя. — Не убили на передовой, так погибнем здесь, в санбате!

— Не волнуйтесь, миленькие, — услышали мы голос Марины; медсестра, оказывается, была рядом. — Всех увезут, всех. Никого не забудут.

Из-за деревьев донеслось конское ржание. Подвод было всего три-четыре. До нашего ряда очередь дошла на рассвете. В подводу брали троих лежачих, я попал с обожженным летчиком и дядей Костей. На бортах сидели двое раненых, еще несколько человек спешили сзади, держась за телегу.

Возница гнал лошадей что было мочи, он нещадно хлестал их по худым, костлявым бокам и кричал:

— Но, но, а ну живее, стервы!

Две лошади уже с трудом передвигали ноги, груз был достаточно тяжел. А медлить было нельзя. С рассветом появились «мессершмитты». Как коршуны, они с высоты высматривали добычу и камнем падали вниз, обстреливая из пушек и пулеметов грузовики, повозки, цепочки идущих к фронту солдат. Наш ездовой правил по лесу, держа в виду дорогу, вьющуюся между крайними деревьями лесной опушки и хлебным полем, на котором большими проплешинами чернели выжженные участки.

— Но, но, стервы! — все покрикивал ездовой, размахивая свистящим кнутом. Повозка скрипела, кренилась,

то проваливаясь колесами в колдобины, то натываясь на муравьиные кучи, на пни.

Наконец у лесного ручейка ездовой остановился. Достал брезентовое ведро, напоил лошадей, потом стал с котелком обходить нас. Раненые пили медленно, наслаждаясь прохладой чистой воды и стараясь продлить остановку, дать отдохнуть ноющим ранам. Но ездовой торопился.

— Вам только туда, а мне еще обратно; а потом еще раз туда и опять обратно. Вон ведь сколько наворотило вашего брата. И всем хочется побыстрее выбраться из этого ада. Не приведи господь, если он прорвется к сапбату, тогда всем хана!

И снова скрипят колеса подводы, и снова перебитые кости считают каждый бугорок... Еще раз возница остановился у небольшого стожка, сложенного у кромки поля. Солома, которой была устлана телега, совсем вытрусилась, мы лежали на голых досках. Набирать солому пошли ходячие. Стожок, скорее всего, сложили еще в прошлом году — почерневшие стебли ударили в нос затхлым запахом плесени. И все же это была солома, мягкая, пружинистая, теплая, приятно щекочущая затекшую, отбитую о доски спину.

Пересыльный госпиталь находился на станции Графская, в двухэтажном кирпичном здании школы рядом со станцией. Был он забит до отказа: видно, не один наш сапбат поставлял сюда свою живую продукцию. Санитары из выздоравливающих долго ходили с носилками, пока не отыскали нам троим местечко в самом углу фойе первого этажа, под вешалкой, отгороженной легким деревянным барьерчиком.

Подъезжали новые подводы, людей становилось больше, лежали уже вплоты, касаясь локтями друг друга. Рассказывали, что в классных комнатах второго этажа стоят даже кровати; это казалось сказкой. Было жарко и душно. Тяжелый, гнилостный запах необработанных ран, смешавшийся с удушливым дымом махорки, наполнял помещение. Сквозь открытое окно совсем не проникало свежести.

Потом в окне кто-то выставил большой плакат. Художнику нельзя было отказать в мастерстве. Пикирующий бомбардировщик был выписан со всей достоверностью: знакомый излом желтых крыльев, неубирающиеся шасси, переплет пилотской кабины, пулемет стрелка, торчащий свади. Плакатный «юнкерс» был очень похож на настоя-

щий. Вдруг показалось, что застывшая на одном месте машина будто увеличивается в размерах, черная точка в пилотской кабине начала принимать очертания человеческой головы, а ломаные крылья, растягиваясь, как резина, уже едва умещались в окне.

— Ложись, воздух! — закричал нам, лежащим, чей-то голос со двора.

Фашистский летчик на форсаже сделал горку, стены заходили ходуном, в удаляющемся шуме мотора стал различим нарастающий свист.

— Похоже, он швырнул бомбы над нами, — сказал слепой летчик. — Значит, они пролетят дальше.

И точно, первые взрывы загрохотали в стороне.

— Должен же он видеть, что на крыше красные кресты! — крикнул безногий танкист, которого только что привезли на другой подводе.

— Кресты служат им хорошим ориентиром, — усмехнулся летчик.

В оконном проеме то появлялись, то исчезали хищные силуэты бомбардировщиков, они били по стационарным постройкам. Что-то уже горело на путях, черный дым заволакивал полнеба. А сотни раненых, распластанных на полу, с тревогой прислушивались к взрывам, которые приближались все ближе, ближе. Появились первые раненые железнодорожники. На куске брезента, каким накрывают грузы, принесли окровавленную девушку. За ней бежала мать, прижимая к груди отрезанную осколком, уже посиневшую кисть дочери.

— Руку, руку забыли! — кричала она, обезумев.

Ночью подошла санитарная летучка и началась спешная эвакуация. Утро застало эшелон уже в пути. Вагончики тряслись нещадно, и раненые корчились от боли. Дядя Костя находил для себя утешение в том, что ругал всех подряд: начпрода госпиталя, не выдавшего табаку, Гитлера, Геббельса, паровозного машиниста, который «думает, что везет дрова».

В нашем вагоне, как, наверное, и во всех остальных, было сорок раненых и одна медсестра. Всю ночь она таскала носилки и казалась каким-то чудо-богатырем. А когда взошло солнце, мы увидели хрупкую курносую девушку лет восемнадцати. И раненые стали пазывать ее не сестрой, а сестренкой, как младшую.

— Сестренка, пить! Сестренка, помоги повернуться! Сестренка...

На верхних нарах сидел танкист. Стеклянным, зас-

тившим взором он смотрел на пустоту под своей ши-  
нелью.

— Сестренка! — тихо позвал танкист.

— Что тебе?

— Хочу спросить, сестренка: пошла бы ты замуж за  
безногого?

— Пошла, если б полюбила, — ответила девушка и  
густо покраснела. В своей жизни она, должно быть, еще  
никого не любила, и никто не успел полюбить ее. А сей-  
час у нее были поблекшие, повидавшие жизнь глаза ста-  
рушки. Она безумно устала, ей некогда да и негде было  
отдохнуть. Весь вагон был отдан раненым, а для сестрен-  
ки осталась лишь одна табуретка у самых дверей. Под  
табуреткой лежали старенькая, потрескавшаяся гитара  
и солдатский вещмешок. Правда, для этого солдата на  
вещевом складе не нашлось подходящей амуниции. Все  
ей было велико: и гимнастерка с завернутыми внутрь об-  
шлагами, и брюки-галифе, собравшиеся мешком у коле-  
ней, и сапоги, в каждом из которых можно было помес-  
тить обе ее ноги.

Напротив меня метался в бреду молоденький артилле-  
рист, мой одноклассник.

— Не пристреливайтесь по движущимся целям! —  
кричал он. — Где же буссоль? Почему не подносят ос-  
колочных снарядов?

Мальчишке-артиллеристу казалось, что он и сейчас  
воюет. Он и впрямь был мальчишкой, потому что, едва  
очнувшись, радостно воскликнул:

— А у меня немецкая монетка есть! Хотите, покажу?

Сестренка взяла почерневшую монетку в десять пфен-  
нигов и стала обходить раненых. Бородатые мужики, от-  
цы семейств, притворно щурились, щелкали языком:

— Ну, парень, тебе просто повезло!

Потом в вагон принесли бачок чая. Раздали леденцы,  
самые простые, какие до войны стоили три семьдесят  
кило. Мне вспомнился самовар, который мама ставила у  
нас во дворе под большим каштаном, цветастые пиалуш-  
ки.

Солдат-армянин, лежащий рядом с юным артиллери-  
стом, попросил у сестренки кусок бинта и завернул в не-  
го свою порцию леденцов.

— Домой как-никак еду — теперь я уже не солдат, —  
а домой без подарка нельзя. Когда я приходил с работы,  
то Марго и Хачик всегда находили в моих карманах по  
копфетке.

Армянин потянулся за вещмешком и вдруг откинулся на спину, смолк.

— Он умер! — закричал артиллерист. — Сестренка, глянь!

Девушка полезла на нары и, отводя глаза, закрыла полотенцем лицо умершего. На остановке за мертвым телом пришли санитары.

Поезд тронулся, и тогда вдруг опять мы услышали испуганный крик мальчишки-артиллериста:

— Сестренка, он оставил здесь свои леденцы! Мне страшно!

Девчонка забрала в кулачок марлевый сверток, подошла к двери. И тут, словно подкошенная, упала на табуретку. Ее плечи вздрогнули, она заплакала громко, навзрыд.

— Ну, успокойся, — растерянно сказал артиллерист, чувствуя себя виноватым перед сестренкой.

— Не тронь ее, — бросил танкист. — Пусть немного поплачет. — Он сам же и нарушил молчание: — Ну, хватит, сестренка. Иди ко мне, перекурим. Легче станет.

— Я некурящая, — ответила девушка, но покорно пошла к танкисту.

Безногий взял у нее из рук марлевый сверток с леденцами и швырнул в оконный люк. Потом свернул сестренке сигарку, прикурил. Сестренка затаилась и тут же закашлялась, из ее глаз опять брызнули слезы.

— Я уже не плачу, это от табака, — сказала девушка, отдышавшись. — Не подумайте, что я какая-нибудь нюня. Я больше не буду плакать. Только не говорите товарищу военврачу. А то он отчислит меня из эшелона.

— Факт, не скажем, — ответил за всех мальчишка-артиллерист. — Ты хорошая. Только на войне у всех начинают пошаливать нервы.

Больше никто ничего не сказал, словно и не видел ее слез. Сестренка снова подавала «утки», подкладывала резиновые круги под неподвижные тела, поправляла повязки, приносила воды.

Вечером, когда догорал закат и дневная жара сменялась прохладой, наш поезд подошел к большой узловоей станции, забитой составами с беженцами, с боеприпасами, с заводским оборудованием, эшелонами, идущими на фронт.

— Что за остановка? — спросил танкист.

Сестренка выглянула в дверь и прочла вслух надпись на станционном здании: «Грязи». Она спрыгнула на зем-

лю, перебросилась словами с медсестрами из других вагонов и, возвратясь, сказала:

— Отдыхайте, родные! Начальник эшелона передал, что здесь простоим до утра.

Тревожная прифронтовая ночь опускалась на землю. Чуткая спящая темнота окутывала степь, станционные постройки, заползала в санитарные вагоны. Кругом ни звука, ни огонька. И вдруг, разрывая тишину ночи, в небе послышался далекий прерывистый гул.

— Идут, — сказал танкист. — Неужели сюда? Вот проклятье: что ни час, то бомбежка!

— Авось пронесет, — вздохнул кто-то в углу.

Не пронесло. Над станцией зловещими грибками распустились эти проклятые осветительные ракеты. Ударил зенитка. Тонкие светящиеся бусинки, мигая, понеслись вверх. Разорвалась первая бомба. Зенитка умолкла.

— Накрылись, похоже, зенитчики, — сказал артиллерист.

— Накрылись, — подтвердил танкист.

И в тот же миг раскололась земная твердь. Бомбы посыпались на станцию, разлетаясь на тысячи осколков. Задымили составы. Упала водокачка. Вспыхнули склады. А в нашем вагоне раненые солдаты, тесно прижавшись друг к другу, ожидали своего часа. На том свете, уже играли для них сбор.

— Эх, если бы ноги! — хрипло сказал танкист. — Побежал бы в степь, там спасение. Эх, если бы ноги!

И тут же вспомнил, что в вагоне есть человек со здоровыми ногами, который может убежать, спастись.

— Сестренка! — крикнул танкист. — Ты еще здесь?

— Здесь.

— Так беги. Не теряй времени. Беги в степь.

— Я не уйду никуда, — твердо ответила сестренка. — Буду с вами.

— Ты ничем не поможешь нам, уходи! — сказал артиллерист. — А когда кончится бомбежка, вернешься.

Он еще что-то говорил, но его слова заглушил новый взрыв. И тут же все смолкло, эскадрилья отбомбилась.

— Все целы, вот и хорошо! — раздался звонкий девичий голос.

Но вновь послышался рокот. Пришла другая группа.

В кромешной темноте кто-то взял аккорд на гитаре.

— Сестренка, ты?

Девушка тронула струны, и раненые услышали ее бархатистый негромкий голосок. Он лился плавно, спо-



койно. И только слегка дрогнул, когда на пути упали новые бомбы. Это была старинная песня о том, как в гражданскую войну парнишка ушел в партизаны, а его село заняли белые. А потом кто-то передал его матери, что он повешен карателями. Тогда старая женщина ночью пробралась к овину, где спали офицеры, и спалила их. «Я люблю позабытые были в тихий вечер близким рассказать. Далеко в заснеженной Сибири и ждала меня старушка-мать», — пела сестренка.

Снова рвались бомбы, поднимая на воздух эшелоны, станционные постройки, дома. Но солдатам теперь было просто неудобно паниковать в присутствии этой хрупкой девчущки, не испугавшейся смерти.

Когда на мгновение умолкали взрывы, снова слышался ее спокойный голос. И раненым было уже не так страшно. Потому что старая песня вдруг напомнила им, что на нашей истерзанной земле и раньше проносились опустошительные войны и что родившиеся раньше них уже вынесли все, что может вынести человек. Они вдруг почувствовали, что в огне войны нельзя исчезнуть бесследно, пропасть, что после каждого должно остаться что-то хорошее на земле, как осталась после того партизана песня, дающая силу другим...

Утром к станции подошли спасательные команды. Нас перенесли в другой состав, а уцелевшие вагоны санитарного эшелона уходили опять к фронту.

— До свиданья, милые!—крикнула нам на прощание сестренка. — Обязательно поправляйтесь!

Одною рукой она держала гитару, другою махала нам вслед. И хотя она обещала больше не плакать, из ее глаз текли слезы...

И никто из нас, раненых солдат, так и не догадался тогда спросить, как зовут сестренку. Не догадались, быть может, потому, что в тот страшный июль сорок второго года просто нельзя было подумать, что спустя много лет кто-нибудь возьмется за перо, чтоб рассказать о ее добром и мужественном сердце...

Не припомню, сколько мы ехали от Грязей, только помню, что, когда дотащились до Балашова, был вечер: Эшелон разгружался не полностью, снимали только тяжелораненых. Два грузовика, которые принимали людей из вагонов, обрачивались довольно быстро, госпиталь находился в трех кварталах от станции, в школе.

Окна здания были плотно задраены, в вестибюле и коридорах тускло светились керосиновые лампы и само-

дельные плошки. Две молоденькие санитарки в серых халатах школьных техничек подхватили меня у самого порога и потащили в подвал. Там была оборудована баня. Меня обдало горячим воздухом, сквозь облако клубящегося пара я увидел две каменные плиты, на которых кипели баки. Одна из санитарок взяла машинку и под полевку остригла мне голову.

— Теперь раздевайся! — приказала она.

Я сбросил нижнюю рубаху.

— Нет, весь, будем стричь мелочи.

Девушки проворно стащили с меня кальсоны. Пугаясь и стыдясь, я попытался прикрыть срам руками: санитарки были совсем молоденькими.

— Да что ты тушуешься! — сказала мне та, что постарше. — Мы с Любой тысячи три мужиков остригли, а такого стыдливого не видели.

Та, которую звали Любой, поддержала подругу:

— Глянь, Маруся, он жениха из себя строит! Да какой же ты сейчас жених? Вот месяцев через пять оклемаешься, да если к тому времени война кончится, присылай сватов к нам в Балашов, вмиг оженим!

Так, с шутками и прибаутками, Маруся и Люба, закончив стрижку, обернули мои загипсованные ноги клеенкой и принялись мылить в четыре руки, соскребать молотками застаревшую окопную грязь, вьевшуюся во все поры. Я зажмурился. Душистое мыло приятно щипало глаза, сладкий пар цекотал ноздри. Отфыркиваясь, я испытывал истинное блаженство. «Сколько же это времени я не мылся горячей водой? — силился вспомнить я. — Когда же это было?»

Пока Люба вытирала меня простыней, Маруся принесла чистое, пахнувшее утюгом белье. Все как в сказке! Рубаху мне надели довольно быстро, кальсоны же никак не налезали на распухшие, как бревна, ноги, к тому же застрявшие в гипсовые повязки. В конце концов их пришлось прорезать по бокам.

— Чем же это тебя? — спросила Люба, отдуваясь. — Осколками?

— Нет, очередью из автомата. Три пули словил. Две прошли навылет, одна застряла в ноге. В санбате вынули.

Теперь, облаченный в подштанники, я немного осмелел и даже решил похвастаться.

— Хотите, покажу? — Я развязал кيسет, нащупал в махорке пулю, дал подержать ее девочкам.

— Эта самая и влетела? — спросила Люба с любопытством.

— Она, — заважничал я, радуясь произведенному впечатлению.

Девушки сложили в наволочку всю мою нехитрую амуницию — гимнастерку, обрезанные галифе — и, бросив на носилки приблудившийся вещмешок, потащили меня паверх.

— Куда его? — спросила Маруся. — В седьмой «Б»?

— Говорили, что место есть в шестом «А». Туда и надо.

На дверях комнаты, куда меня занесли, висела табличка «6-й «А»: палаты еще не получили своих номеров и различались по старым классным табличкам.

Шестой «А» освещался электрической лампочкой, горевшей вполнакала. Еще с носилок я увидел, что под черной классной доской лежит мой старый попутчик — летчик-истребитель.

— Товарищ сержант-пилот! — обрадовался я. — И вы в этой палате!

Слепой повернул голову.

— А, минометчик! — узнал он меня по голосу. — Сколько же это мы с тобой путешествуем вместе? — Вздохнул, помолчал, потом добавил: — Пора, дружище, нажать мне на гашетку!

Я не совсем понял, о чем говорит летчик. Но переспросить постеснялся: кричать через четыре койки было не совсем ловко, многие уже дремали. Пока санитарки перекладывали меня с носилок на пустую койку, я огляделся и узнал еще старых знакомых: безногого танкиста, лежащего у печки-голландки, а рядом с ним паникера дядю Костю.

Маруся и Люба взбили мою подушку, поправили одеяло и, обращаясь ко всем, пожелали спокойной ночи.

— А ночи-то у вас спокойные? — взвизгнул дядя Костя. — Он сюда не прилетает, не бомбит?

Девушки не успели ответить. Издалека донеслось командное пение чужих моторов. Тусклая лампочка, замигав, совсем погасла.

— Он! — злорадно закричал дядя Костя. — А что я говорил! Почему нас не укрывают в подвалах? Приведите сюда начальника госпиталя! Что он там себе думает? Пусть хоть позаботится о тяжелораненых!

— Заткнись ты, тяжелораненый! — Я узнал голос

летчика. — Перестань скулить! Кто там лежит поближе? Натяните ему на уши портянки. Пусть уймется.

Где-то тявкнули зенитки. Но самолеты прошли стороною, бомб не бросили. Стало совсем тихо. Госпиталь отходил ко сну. Я долго не мог заснуть, ныли раны, застыла от неподвижности спина. Наконец я забылся в тяжелом, пятнистом бреду. И вдруг под самое утро среди всеобщего храпа раскатисто прозвучал выстрел. Пуля обрушила со стены штукатурку, запахло пороховым газом, что-то тяжелое упало на пол. Раненые заволновались, закричали. В тревожной темноте никто ничего не мог разобрать. Раньше всех в этой ситуации сориентировался дядя Костя.

— Немцы выбросили десант, оттого и не бомбили. Переодетые шпионы и диверсанты напали на госпиталь. Теперь нам крышка!

В палату вбежала перепуганная санитарка Люба. Свет керосиновой лампы, которую она держала в руках, отбрасывал на стены прыгающие тени. За Любой показались сестры, врачи, начальник госпиталя, толстый мужчина в роговых очках.

— Здесь стреляли? — строго спросил он.

— Вот он и стрелял! — крикнула Люба, подбегая к классной доске. Коптивший фитилек лампы осветил пустую койку. Сержант-пилот лежал на полу. Откиннутая рука сжимала пистолет. Так вот что означали загадочные слова слепого летчика: «Пора, дружище, нажать мне на гашетку!»

— Он еще жив! — сказал начальник госпиталя. — Скорее носилки — и в операционную.

Летчика унесли, но палата уже не могла уснуть. Все говорили разом, трудно было кого-то понять.

— Кто же так стреляет? — перекрикивал всех дядя Костя. — Конечно, это твое дело, стреляйся себе на здоровье, но другие при чем? Чуть бы взял пониже и попал прямо в меня...

На него зашумели с разных сторон:

— Замолчи! Хоть бы пожалел человека! В таком он был состоянии — как жить?

Спустя три часа летчик умер на операционном столе. Выпущенная им пуля вошла в правый висок и вышла в пустую, потухшую глазницу...

Прямо из операционной в палату прибежал начальник госпиталя.

— Кто видел, что у этого летчика был пистолет? — спросил он, пронзительно оглядывая раненых.

— А как увидишь? Ведь пистолет был не на виду, — ответил безногий танкист.

— Кто-нибудь прячет оружие? — спросил начальник госпиталя. — Признавайтесь! Хуже будет!

— А вон у того красноармейца патрон есть, — вдруг выпалила Люба, показывая на меня пальцем. — В табачном кисете на груди держит. Сама своими глазами видела.

Я обомлел. Меня предает хохотушка Люба, та самая Люба, которая приглашала меня после войны в Балашов жениться! Кровь ударила в голову. «Предательница, провокаторша!» — прошептал я.

Санитарка перехватила мой презрительный взгляд и, как бы оправдывая себя в моих глазах, добавила:

— Ага, я должна молчать! А вы тут опять ночную стрельбу затеете!

— Какую стрельбу! — Я достал из кисета злополучную пулю. — Смотрите, осталась одна медная оболочка, без свинца, без гильзы, без пороха, наконец. Эту пулю вынул из моей ноги врач в медсанбате. Мне разрешили ее взять, я хотел показать маме. Поглядите сами, товарищ начальник госпиталя, разве такая пуля стреляет? Это всего лишь кусочек меди.

Я ничуть не сомневался, что военврач тут же поймет, что Люба мелет вздор. Но он даже не взглянул на мою пулю.

— Что вы твердите мне: «кусочек меди»? — разозлился он. — А снаряд — это что, не кусочек меди? А бомба — не кусочек чугуна?

Да что за чушь! Ну, если у дурехи Любы от страха глаза на лоб полезли, то неужели он, военный врач, не понимает, что убойная сила медной оболочки равна убойной силе медной пуговицы от солдатского хлястика?

— Возьмите у него пулю и выбросьте в помойное ведро, — приказал военврач перепуганной Любе.

Он решил на всякий случай проверить имущество раненых. Поскольку я был на подозрении, то проверку начали с меня. Из-под моей койки Люба извлекла вещмешок и положила на стол.

— Ой, тяжеленький! — сказала она.

— Что там у вас? — спросил военврач, пронзая меня настороженным взглядом из-под роговых очков.

— Не знаю, вещмешок не мой, просто со мной едет.

Люба развязала тесемки, проворно сунула руку внутрь и с криком вытащила из мешка заряженный диск от дегтяревского автомата.

— А это что? Тоже сувенир для мамы?!—воскликнул доктор.

Я был ошарашен ничуть не меньше других. Но медики не дали мне даже опомниться. Они набросились на меня все разом, шумели, топали, размахивали руками.

— Я уже говорил вам, что вещмешок не мой, — пытался объяснить я, — мне его подложили под голову, когда тащили с передовой. Ну а потом возят за мной неизвестно зачем. Выбросьте его куда-нибудь подальше. Что же касается этого диска, то он безопасен. Для стрельбы нужен автомат. Сам же он не стреляет.

— Видите, товарищ военврач, у него ничего не стреляет: ни пушка, ни ружье, — подлила масла в огонь паршивка Люба.

Медики уже смотрели на меня как на террориста.

Неожиданно мне на помощь пришел пожилой старшина, раненный в обе руки.

— Сестрички, достаньте мой сидор из-под койки. Кажись, там тоже одна цацка заваялась. Забыл совсем.

В мешке у старшины оказалась граната «Ф-1». Санитарка Люба, еще недавно опасавшаяся, что выстрелит медная оболочка, теперь окончательно расхрабрилась и резко швырнула гранату на стол.

— Полегче! — крикнули ей сразу несколько раненых. — Вот эта штукавина действительно может рвануть.

Между тем старшина оставался спокоен.

— Мешок мой, врать не стапу, — кипул он камень в мой огород. — Как идти в атаку, дали нам по три грапаты. Две успел швырнуть куда надо, а тут меня и шлепнуло. В беспамятстве был, соображал плохо, вот только сейчас и осенило...

Прибежали еще сестры. Они принялись развязывать солдатские вещмешки все подряд, и оттуда являлись заряженные обоймы, пулеметные ленты, немецкие штыки в ножнах, ракетницы. И вдруг раздался вздох изумления, затем хохот. Это из мешка дяди Кости извлекли мясорубку.

— М-да, — только и мог сказать начальник госпиталя. — Мясорубки, они, конечно, не стреляют и не взрываются. Но ответьте, почему всем перед боем раздавали патроны и гранаты, а вам вручили предмет кухонной утвари? Если не секрет, в какой части вы служили?

— В мародерской! — откликнулся безногий танкист. — Значит, все в бой идут, а этот по избам шастает... Проверьте, товарищи врачи, есть ли у него ранение. Скорее всего, бабка его по хребту огрела, когда он мясорубку у нее с полки тащил. Вот и войю с такими...

Танкист презрительно сплюнул и отвернулся к стене.

Всякого солдатского снаряжения набралось полный стол, едва унесли в двух носилках.

Все последующие дни проходили спокойно. По ночам летали «юнкерсы», стреляли зенитки, где-то далеко рвались бомбы. Серьезных налетов не было.

Наш госпиталь считался пересыльным, людей привозили с фронта, мыли, перевязывали, давали немного отдохнуть и отправляли дальше. Давно уже увезли безногую танкиста, старшину — держателя гранаты «Ф-1», паникера дядю Костю с его мясорубкой.

— А меня когда повезут? — спрашивал я у медсестер.

Те пожимали плечами. Наконец выяснилось, что не могут найти наволочку с моими вещами.

— Да какие у меня вещи? Гимнастерка и отрезанные по колено галифе. Зачем они мне?

Я написал расписку, что никаких претензий к госпиталю не имею, и меня повезли на вокзал. В одном натальном. На девять долгих месяцев я стал, пожалуй, самым неимущим гражданином в своей стране: нижнее белье, и только. На то был выдан официальный документ: в моем вещевом аттестате значилось; что никакого казенного имущества за мной не числится. Впрочем, от того, что я не Рокфеллер, я не чувствовал особых неудобств.

Вот в таком, собственно, свободном виде меня занесли в вагон санитарного состава на станции Балашов. Это был отличный состав, ничего подобного я доселе не видел, — специально построенный и переданный нам американцами поезд для перевозки раненых. Теперь я лежал на отдельной полке с амортизационным устройством и вспоминал жесткие нары санитарной летучки, красные товарные вагоны, солому, кипяток без заварки, разлитый по солдатским котелкам... А здесь была просто сказка: стерильные операционные, перевязочные, лаборатории, кабинеты специалистов, купе для медперсонала, белоснежные бишты, градусники, грелки, судна, а не просто стеклянные литровые банки из-под консервов, которые подавали в санбате...

— Даже есть комплекты пижам, — похвалилась медсестра. — Только вам они не нужны, ходячих в вагоне нет.

— А что такое пижама? — спросил бородатый дядя, мой сосед.

Сестра открыла шкафчик и показала легкий полосатый костюм.

— Да в таком и по городу гулять можно! — удивился бородач. — И это дают каждому? Вот так да!

— Вагонов, что говорить, настроили великолепных, — донесся хриплый голос из другого отсека. — А своих раненых нету, кого им возить? Только все обещают и обещают открыть второй фронт. А пока мы вот здесь своими костями заполняем ихнюю вакансию.

И сразу потускнел блеск заокеанского санитарного чуда. Где же он, второй фронт? Я вспомнил, что к нам в окопы залетели листовки, которые бросили наши самолеты для немецких солдат. В них сообщалось, что между СССР и Англией достигнуто соглашение об открытии второго фронта. Мотайте, дескать, это на ус, фашистские вояки! Как нам была нужна помощь, когда мы сидели в окопах на Задонском шоссе, обороняли высоту 164,9 или шли за танком по Плехановской улице Воронежа! Нам уже чудилось, что вот-вот на том, правом берегу Дона появятся дивизии союзников и немцы, зажатые стальными клещами с двух сторон, побегут из своих окопов, ища спасения...

Американский эшелон, сладко баюкая русских раненых на мягких, проваливающихся полках, уходил на восток. А по пятам за эшеленом спешила война. Фашистские полчища, остановленные под Воронежем, ударили южнее, взяли Ростов и Новочеркасск, вышли в Сальские степи. Началось летнее наступление сорок второго года, которое, как никто тогда и подумать не мог, закончилось прорывом к Волге, к Сталинграду...

А импортный эшелон увозил раненых все дальше и дальше, туда, где еще не знали войны. Последний фашистский самолет пробуровил небо над станцией Ртищево и пропал...

В ранних розовых сумерках санитарный поезд прибыл на станцию Чкалов. Начали выгружать раненых, вскоре весь перрон был уставлен носилками. Я лежал у водоразборной колонки с двумя кранами: «гор» и «хол». Страшно хотелось пить. Женщины с кружками обносили раненых, тревожно вглядываясь в их лица: может быть,



тут лежит отец, муж, брат, сын, от которых столько времени нет вестей...

В окнах вокзала вспыхнул электрический свет.

— Да что они, сдурели палить огонь! — закричали с носилок. — Вот сейчас прилетит и даст!

Опасения были напрасны: в тыловом Чкалове светомаскировка не соблюдалась, не было в том нужды.

Нас начали развозить по госпиталям. Уличные фонари, матово светясь, забирались в гору, спадали к реке. Наверное, так же горит сейчас вечерний Ашхабад, куда уже вернулась Зоя...

Газик-полупортка, пыхтя, поднимался вверх, бусинки огоньков мерцали под нами. Медсестра, сопровождавшая нас, одной рукой держалась за шоферскую кабину, другой сжимала истории наших болезней. И все говорила:

— Теперь уже скоро доедем. А госпиталь у нас тихий, уютный, вам обязательно поправится. В красивом месте стоит. Красный городок, слышали?

Утром я обнаружил, что нахожусь на большой полукруглой веранде, сплошь уставленной койками. Раненые еще лежали под одеялами, только напротив сидел розовощекий крепыш и смотрел на меня в упор. Через узорчатые рамы в палату заглядывало блеклое солнце, виднелось небо, по которому, догоняя друг друга, бежали озорные тучки. Что было ниже неба, я не видел, мешал подоконник.

Заметив, что я проснулся, парень открыл рот, но ничего не сказал, а лишь радостно закивал.

— Как тебя зовут, откуда ты? — спросил я.

Парень зашлепал губами, потрепал ладошками свои уши. «Глухонемой, что ли?» — подумал я. Сосед подошел к столу, на котором лежала стопка бумаги, взял карандаш, написал: «Я Юра Шорохов из Иркутской области, меня контузило под Щиграми, теперь не слышу, не говорю». Лежа на спине, писать очень неудобно. Я прижал листок к стенке, до боли изогнулся, сочинил ответ. Юра постучал себя кулаком в грудь, сделал кругообразные движения рукой. Я истолковал его жесты так, что он собирается погулять. И действительно, он исчез за дверью.

Тем временем начали подниматься другие мои соседи. С виду это были вполне здоровые люди, они свободно двигались без палочек и костылей, на них не было никаких повязок. Если не считать узких бинтиков вокруг шеи, перехваченных элегантно бантиком на затылке. Чуть ниже адамова яблока бинт прижимал к горлу ме-

таллическую втулку. Иногда больные вынимали из втулки блестящие трубки из нержавеющей стали, вытряхивали накопившуюся жидкость и вставляли трубки назад. Через эти трубки они дышали, с прерывистым, сосущим легочным свистом. Говорить при открытой втулке бедняги не могли, воздух с тем же пугающим всхлипом пролетал ниже голосовых связок. Нужно было закрыть пальцем дырочку в горле, и тогда возникали хриплые звуки, в которых не без труда можно было угадывать невнятно произнесенные слова. Голоса были в общем-то одного тембра, поэтому, отвернувшись, нельзя было определить, кто говорит.

— Ну-с, молодой человек, попали вы в вагон для некурящих. В нашем госпитале мы лечим в основном контуженых и раненных в горло. И поговорить вам тут будет не с кем, впрочем, как и мне, — услышал я за своей спиной.

Возле моей койки стоял врач Анатолий Евгеньевич, высокий старик с узкой, тимиразевской бородой, ни дать ни взять Николай Черкасов в роли профессора Полежаева.

— Я познакомился с вашей историей болезни, — продолжал доктор. — Вариант у вас не самый выигрышный, но не безнадежный. Уйдете из госпиталя на своих ногах.

Анатолий Евгеньевич обошел больных, объясняясь то жестами, то мимикой, посмеялся со своими молчаливыми пациентами: с ними у него установились неплохие контакты.

Потом пришла медсестра Наташа, та самая, что везла меня с вокзала. Двое глухонемых подхватили мои носилки, я поплыл в перевязочную. Анатолий Евгеньевич стал меня смотреть.

— Что ж, правая нога подживает неплохо, лангет уже не нужен, просто наложим повязку, все полегче тебе будет.

(После того как Анатолий Евгеньевич обнаружил ошибку в моих документах и вернул мне двадцать непрожитых лет, он стал называть меня не на «вы», а на «ты».)

С левой ногой было хуже. Доктор взял в руку острую блестящую спицу, один вид которой вселял в сердце ужас.

— Мужайся! — сказал Анатолий Евгеньевич. — Тут у тебя маленькие косточки пачинают выходить, кость ведь размочалена. А косточки убирать надо, иначе будут гнить.

Он всунул свою спицу в рану, я взвыл от боли. Доктор сделал вид, что просто не слышит моих стонов.

— Я прочел, что ты из Асхабада, — спокойно сказал он, делая свое дело. — Бывал там, бывал. В свое время молодцы из отряда Реджинальда Тиг-Джонса чуть не отравили меня на тот свет. Появлялся такой джентльмен в Асхабаде. — Он называл этот город на дореволюционный манер.

— А вы жили в Ашхабаде?

— Был, можно сказать, проездом. По дороге из Баку. А в Баку попал из Турции, из города Эрзерума. Я на Закавказском фронте воевал. Однажды был даже зван осмотреть командующего — великого князя Николая Николаевича. Обнаружилась легкая простуда. А вообще богатырского здоровья был человек. Косая сажень в плечах. Глотка — как самая большая медная труба на самаркандском базаре. Когда я закончил осмотр, великий князь палил мне стакан водки. Выпейте, говорит, доктор, за мое здоровье! А вот англичанину Тиг-Джонсу я не понравился. И русскому эсеру Фунтикову тоже. В двадцать шестом году негодяя поймали и отдали под суд. Ездил я на этот процесс в Баку, выступал свидетелем...

Анатолий Евгеньевич перестал наконец кромсать мою ногу и подошел к умывальнику. Теперь бы я с удовольствием послушал воспоминания бывшего ашхабадца, но он умолк. Видимо, специально хотел завладеть моим вниманием во время болезненной процедуры.

— Ну-с, дорогой землячок, в следующий раз займемся с тобой недельки через две, не раньше, — сказал Анатолий Евгеньевич, вытирая руки махровым полотенцем. — Пусть все подживает. А пока я прописываю тебе прогулки на свежем воздухе.

— Как прогулки? Да ведь я...

— Да ведь ты, — улыбнулся врач. — Ты молодцом. Скоро нашу Наталью на танцы приглашать будешь. А пока гулять не меньше четырех часов в день.

Я уже забыл об этом разговоре, когда на следующий день в палату пришла медсестра Наташа, а с нею два молчаливых санитары.

— Айда гулять на улицу, — сказала она.

Меся положили на носилки.

Собственно, никакой улицы не было. Двухэтажное здание госпиталя, которое я впервые разглядел спаружи, стояло одиноко в лесном парке. С другого конца здания была такая же застекленная веранда овальной формы. На-

ружная винтовая лестница вела на плоскую крышу с солярием, обнесенным низеньким барьерчиком.

Носильщики потащили меня вокруг здания, и мы в конце концов оказались на детской площадке.

— Здесь я и буду играть? — спросил я шутливо.

Наташа улыбнулась:

— Конечно. До войны в нашем здании помещался детский санаторий. Лечили малышей, страдающих костным туберкулезом.

Теперь площадка имела запущенный вид. Дорожки поросли травой, столбы, державшие качели, покосились, на волейбольной площадке кустилась картошка.

Меня оставили под пятнистым грибком с парусиновой шляпкой. Я наслаждался тишиной и покоем, смотрел на стройные сосны, сбегаящие по крутому берегу Урала к самой воде.

Перед обедом меня навестил Анатолий Евгеньевич. Он обходил тяжелораненых с большой бутылкой плодоядного вина и наливал по мензурке для аппетита. Отсутствием аппетита я не страдал, к тому же вино казалось мне противным. Но я считал, что, отказавшись, обижу старика, и выпивал с деланным удовольствием.

— В самых последних сводках Совинформбюро появилось сталинградское направление. Слышал? Вот сволочи, рвутся к Волге, — сказал врач. — Ну как тебе тут? — Он стряхнул капельки, оставшиеся на дне мензурки. — Лучше ведь, чем в прокуренной палате? Вот и гуляй, набирайся здоровья.

Теперь каждое утро меня выносили на детскую площадку или еще дальше, к обрывистому берегу Урала. Ветер гулял по реке. Мелкие волны рябились и морщились, светясь отраженным солнечным блеском. Отсюда открывался вид на город, лежащий внизу. По железнодорожному мосту проходили составы, дымились заводы, а дальше, на учебном аэродроме, взметая облака пыли, взлетали и садились самолеты: в Чкалове было одно из старейших в стране авиационных училищ. Я завидовал тем, кто летал сейчас в небе: «Счастливые, будут летчиками, хотя пришли в авиацию позже нас». И грустил: «А почему все-таки такое случилось с нами?» Мечта о небе во мне по-прежнему жила, не угасая ни на минуту.

Дело шло к осени, где-то на том берегу Урала блуждал гром, пошли дожди. Я все чаще оставался в палате, глядя через заплывающие стекла веранды на хмурое, неприветливое небо. Меня опять брали в перевязочную.

И опять Анатолий Евгеньевич, склонившись надо мною, рассказывал о Тиг-Джонсе, о Фунтикове, вспоминал про свое плавание из Баку в Красноводецк.

— Почему-то считается, что настоящие штормы бьют только у мыса Горн или в Бискайском заливе. Ерунда! В Каспийском море нас поймал такой шторм, что и в океане случается не часто. Чуть не отправились к Нептуну в гости.

Анатолий Евгеньевич опять развлекал меня разговорами. Но я слушал плохо. Мне было очень больно. Больнее, чем в первый раз.

— Попробуй пошевелить пальцами, — сказал доктор. Пальцы не шевелились.

— Что ж, значит, еще не пришло время. Будем надеяться, что нерв не задет.

У дверей перевязочной тосковал Юра Шорохов. Видно, его тоже приглашал доктор. Сосед вернулся в палату поздно, пришибленный, огорченный. Присел на краешек моей койки. Руки у него мелко дрожали, на ресницах блестели бусинки слез.

— Что случилось?

Он взял бумагу, стал писать: «Меня считают симулянтом. Когда я уходил, доктор ударил палкой по медному тазу, в котором стирают бинты. Я почему-то оглянулся. Он закричал: «Ага, слышишь!» Я не знаю, что делать дальше».

Я пожал плечами. Как все это непохоже на Анатолия Евгеньевича, который всегда казался мне симпатичным домашним дедушкой, мягким и добрым! Как же так?

Весь вечер Юрий лежал на койке, беззвучно всхлипывал, на ужин не ходил, ночью спал плохо, ворочался, вставал.

На утреннем обходе Анатолий Евгеньевич, едва войдя в палату, сразу же направился к Шорохову. Доктор был очень зол, таким я его еще не видел.

— Ну, что прикажешь делать? — спросил доктор. — Ведь ты прекрасно слышишь и можешь говорить не хуже меня. Итак, решай: либо я тебя выписываю и ты уходишь подобра-поздорову в запасной полк, либо оформляем документы в ревтрибунал.

Юрий округлил рот, высунул язык, гортанно закашлялся, поперхнулся, губы его посинели, лоб покрылся испариной.

— Ах, хочешь мне показать, как ты серьезно болен? — еще пуще разозлился Анатолий Евгеньевич. — В таком

случае я тебя должен хорошенько лечить, не так ли? Будем делать операцию. Я разрежу тебе горло от уха и до уха. Только подпишешь бумагу.

Он продиктовал Наташе текст: «Я предупрежден о сложности операции, при любом исходе претензий к врачам госпиталя иметь не буду».

Я не мог понять, что происходит. Доктор явно противоречил сам себе. Если он уверен, что парень здоров, то нужна ли операция? А если он болен, зачем же позорить его перед всей палатой?

Вопреки моим ожиданиям, Юрий ни минуту не раздумывал. Он подписался быстро. Операцию доктор тоже решил не откладывать, он назначил ее на следующий день. Юрий всех дичился, ко мне не подходил, записок не писал.

Ушел он на операцию на своих ногах, а принесли его на носилках. Причем очень быстро, хотя операция обещала быть долгой и сложной. Юрий тяжело дышал, распространяя вокруг сладковатый запах эфира. На шее не было никаких повязок. Как же его резали?

К Юрию подошел Федя Варламов с крайней койки, легонько провел рукою по розовому горлу Шорохова, заткнул пальцем свою втулку, покачал головою и прохрипел:

— Да, купили парня на мякине!

В палате захохотали. Я опять ничего не понял, спросил:

— На какой мякине?

Пришла медсестра Наташа, села к изголовью больного, накрыла его простыней. Он тут же отбросил простыню. Отходя от наркоза, Юрий метался, фыркал, кашлял, стонал и вдруг запустил самым что ни на есть трехэтажным матом.

— Во дает! — усмехнулся Федя.

В горле у Юрия что-то забулькало, заклокотало. После целого каскада невнятных звуков он совершенно четко произнес:

— Больно!

— Где больно? — откликнулась сестра.

— Голове больно: в висках стучит.

Наташа приложила к его голове смоченную марлю.

— Уже легче, — сказал Юрий.

Его речь постепенно обретала стройность, а мысли — последовательность. Юра охотно отвечал на вопросы На-

таши. Он теперь говорил и все слышал. Что же с ним сотворил этот кудесник Анатолий Евгеньевич?

А вот и он сам. Доктор открыл двери палаты и подошел к Юрию.

— Как чувствуешь себя?

— Плохо, доктор, совсем плохо.

— Я бы не сказал. Ведь ты со мной уже разговариваешь.

Юрий подскочил на койке, будто через него пропустили электрический разряд. Он опять замычал, затряс головой, на губах появилась пена.

— Ну, полноте, хватит прикидываться. Я ведь тебе никакой операции не делал, просто дал общий наркоз. Вся палата слышала твой приятный баритон. Стыд и срам! В такое время...

Анатолий Евгеньевич что-то еще хотел сказать, но задохнулся от негодования, махнул рукой и, близоруко глядя под ноги, вышел. Он выглядел много старше, чем обычно: плечи сутулились еще больше, кончик носа обострился, морщинки, избородившие лицо, стали глубже...

Дожди прекратились, земля подсохла. Меня снова вынесли на высокий берег навстречу ласковому солнышку, свежему ветерку, шуму умытого соснового бора. По Уралу плыла баржа. Солнечные блики весело играли на изумрудной глади реки.

На детской площадке появился незнакомый солдат. Он шел в мою сторону. Я пригляделся — это был Юрий. Раньше я видел его только в нижнем белье, вот сразу и не признал. Военная форма не придавала ему бравого вида, глаза потухли, кирпичное лицо выглядело застывшим, неживым.

— Вот, ухожу, — молвил он, останавливаясь у носилок.

— Понимаю.

Юрий помялся, присел.

— Ты уж извини, нехорошо получилось.

— Мне-то что, — ответил я с незлобливой обидчивостью. — Ну, потренировал ты меня писать на спине. Раньше не мог, а теперь вот научился.

— Как-то все само собою у меня вышло. После контузии я полтора месяца и в самом деле был в глухоноте. Потом стал понемножечку слышать. Но решил не открываться. Думал, отпустят меня повидаться с женой, только ведь женился. А потом — снова в часть. Но тут

подловил меня Анатолий Евгеньевич со своим общим нарковом. В бреду я и проговорился...

Мне вспомнился дезертир, которого расстреляли перед строем в тамбовских лесах. Возможно, и тот конопатый мужичонка тоже побежал домой не насобсем, а только повидаться с женой, с ребятишками.

— Хотел поговорить с Анатолием Евгеньевичем, да он не пожелал. — Юрий шмыгнул носом. — Ты уж расскажи доктору, как все было. Пусть не думает, что я какой-то такой. Объясни, если зайдет разговор.

— Если зайдет...

— Говорят, сейчас все маршевые роты отправляют под Сталинград. В самое пекло. Да уж мне все равно. Запиши мой домашний адрес. Останемся живы после войны, может, и свидимся...

(После войны мне довелось побывать в Иркутске. Позвонил в сельсовет, просил навести справки, проживает ли там Шорохов Юрий Фомич, двадцатого года рождения, участник войны. Мне ответили: нет, не проживает. Осенью сорок второго жена получила похоронку: «Пал смертью храбрых в уличных боях за городской вокзал.»)

Значит, как и думал, попал в Сталинград...

В те дни имя Сталинграда все чаще мелькало в военных сводках. На Волге начались ожесточенные бои. Эшелоны с ранеными шли теперь только от Сталинграда. Прибывающих в госпиталь не надо было спрашивать, где ранили, было понятно и так. На освободившейся койке Шорохова лежал старик лет под шестьдесят. Ефим Семенович так же, как и я, был ранен в обе ноги. Был он непривычно волосат: хорошо уложенная шевелюра, пышные усы, окладистая борода — помесь чугуна с серебром. Впрочем, серебра было больше.

— Вы командир? — поинтересовался я при знакомстве.

— Нет, а почему спрашиваешь?

— Потому что разрешили не стричься. Солдатам не положено.

— Я не солдат, — усмехнулся в усы Ефим Семенович. — Я токарь.

— А воинское звание?

— Оно же и воинское. На фронт, парень, я не ходил.



Фронт сам пришел к нам в цех. До обеда я вытачивал детали, а после обеда стал стрелять из трехлинейки прямо от своего станка: в цех ворвались фашисты. А последние дни домой не уходили, ремонтировали танки. Мы работали, а винтовки стояли рядом. И только тогда я остановил станок, когда увидел фашиста.

— Передавали по радио, что Тракторный держится, — сказал я.

— А как же! Рабочая косточка. Гвардия пролетариата. Завод не сдадут, не отступят. Одним словом, бойцы! — Ефим Семенович улыбнулся. — С одной стороны, конечно, бойцы, а с другой — все-таки не солдаты. Вот, к примеру, табачка нам не дают, объясняют, что табачное довольствие положено только военнослужащим. Воевали вместе, а табачок, выходит, врозь...

Я вытащил свой кисет, положил на тумбочку.

— Курите, когда захотите. И не спрашивайте.

Ефим Семенович поблагодарил.

— Да это я так, к слову. Курю совсем мало. С табачком дело уладится, да и возраст у меня уже не табачный. Все это мелочь. Важно, что Сталинград держится. В этом суть.

Сталинград держался. Через Чкалов на фронт проходили эшелоны со свежими дивизиями. Назад возвращались санитарные летучки. В Чкалове расчищали госпитали — все, кто мог носить оружие, становились в строй. Но мест все равно не хватало. На нашу тесную веранду втиснули еще четыре койки; теперь врачи и сестры могли подходить к нам только боком. Койками заставили вестибюль, коридоры, над соларием натянули тенты, там тоже положили раненых. Санитары и сестры сбились с ног, всё таскали и таскали носилки. Вконец измотались врачи. На Анатолия Евгеньевича было страшно смотреть: когда он шел с обходом, его качало из стороны в сторону.

Как-то во время перевязки он потрепал меня за плечо.

— Помнишь, я говорил, что ты выйдешь из госпиталя на своих ногах?

— Помню, Анатолий Евгеньевич, вы говорили.

— Это я говорил в общем-то для твоего успокоения, чтоб ты не терял надежды. А у меня самого надежды не было. Почти не было. Слишком долго ты пролежал необработанным на поле боя. У тебя остеомиелит.

— А что это такое?

— Воспаление костного мозга. Очень неприятная вещь. Было время, когда я совсем пришел к заключению,

что пужно отнять левую ногу. Решил, что сделаю это в следующий операционный день. Но вывел меня из равновесия этот симулянт из вашей палаты. Я ведь уже на четвертой войне, а такого мерзавца не встречал. Словом, в тот день сил у меня не хватило, слишком много он отнял у меня нервных клеток. А через неделю посмотрел тебя, вроде бы показалось, что есть динамика. Решил повременить.

— Значит, можно сказать, что Шорохов спас мне ногу? Анатолий Евгеньевич хитро прищурил глаз.

— В некотором роде он, а в некотором я. Но теперь можно сказать, что все страшное уже позади. Тебе предстоит операция, может быть не одна. Но из госпиталя ты выйдешь на своих ногах. — Старик посмотрел на меня поверх очков. — Только не из нашего госпиталя. Всех, кто нуждается в длительном лечении, будем отправлять в тыл. А на ваши места привезут новеньких прямо из сталинградского пекла.

— Вот это новость! А куда повезут?

— Маршрут мне не известен. Но отсюда прямой путь в Среднюю Азию. Может, попадешь в свой Асхабад. Словом, черкни мне письмецо, как выйдешь из госпиталя. Ну, бывай здоров!

(В сорок третьем, попав в часть, я написал Анатолию Евгеньевичу, хотел порадовать старика, поблагодарить. Мне ответила медсестра Наташа. Старика уже не было на этом свете. Он погиб на боевом посту — во время операции отказало сердце.)

На чкаловском вокзале было белым-бело от белых подштанников раненых, их навезли из разных госпиталей. Предстоял дальний путь. Из окон пассажирских вагонов уже выглядывали пассажиры. Пока лежачие дожидались своей очереди, ходячие заняли лучшие места. Мне досталась верхняя боковая полка. Я не очень огорчился: не все равно, где лежать? В проходе даже удобнее: скорее прикуришь, быстрее подадут «утку».

Плохо вот, что приходилось лежать на голых досках, не было ни матрацев, ни подушек, ни одеял. Другим было проще: они расстилали шинели, под головой — вещмешок. Я впервые пожалел, что тогда, в Балашове, отказался от приبلудившегося вещмешка и не попросил шинели. На выручку пришел мой нижний сосед, Вася Дроботов, парень моих лет, ленинградец. Он был ранен в руку выше локтя, поэтому носил на себе громоздкую и сложную конструкцию, которая тогда называлась «самолет».

Вытянутая вперед и согнутая под прямым углом загипсованная рука лежала на полочке, поддерживаемая подпоркой, которая другим концом упиралась в грудь.

Здоровой левой рукой Василий положил мне под голову трофейный немецкий рапек, отороченный рыжим искусственным мехом.

— Бери, бери, не стесняйся! — великодушничал Вася. — Я тебе и свою шпатель отдам. Днем я не ложусь, рука не дает, все тянет, будто клещами. Да и ночью все больше сижу, с моим «самолетом» никак не приноровичься.

В Чкалове нас провожала теплая, пронзительно теплая осень, золотая пора бабьего лета. А наутро начался Казахстан. Мутный рассвет развешивал серо-желтую кисею над унылой в своем однообразии степью, которая была покрыта пожухлой травой. Днем начиналось самое настоящее пекло. Накалялись тонкие металлические крыши, в вагонах становилось невыносимо душно. Пробовали открывать окна — в вагон врвался угольный чад паровозного дыма, за минуту лица становились черными, как у негров. Ветер из конца в конец гулял по бескрайней Казахстанской степи, казавшейся пустынной и дикой: ни деревьев, ни зеленых квадратиков посевов, ни пасущихся стад. Но где-то была жизнь: на станциях, отстоящих друг от друга на полдня пути, женщины выносили вяленую рыбу, горячую картошку, вареные яйца, печеную тыкву, свежие яблоки.

Дальше на юг пошли арбузы. По вагонам передали приказ начальника эшелона: во избежание кишечных заболеваний никаких фруктов не покупать. Но запретный плод всегда сладок. Весь наш вагон полосатился и зеленел, арбузные корки громоздились в каждом отсеке, черные семечки покрывали пол. Вася Дроботов тоже приволок огромный арбуз, на полпуда, не меньше. Как-то ему удалось справиться одной рукой с такой тяжестью! Одной же рукой он достал складной нож и, придавив арбуз грудью, ткнул острием в мякоть. С всхлипывающим звуком арбуз треснул пополам. Василий отрезал здоровенный ломтик, подал мне наверх: угощайся, приятель!

Я ощущал постоянную жажду, которую никак нельзя было утолить теплой станционной водой с сильной примесью песка и соли. И теперь испытывал неземное наслаждение, поглощая кусок за куском.

— А сколько ты заплатил? — спросил я у Василия, когда мы вдвоем одолели весь арбуз.

— Пустяки, всего десятку.

Я достал деньги.

— Спрячь, — обиделся оп.

Не взял денег и тогда, когда припес второй арбуз. Мне стало неловко, проезжаться на чужой счет я не привык. Вскоре мне представился случай и самому угостить товарища. Под вечер эшелон сделал очередную остановку. Я посмотрел в открытое окно. На песчаном косогоре чернело с десяток казахских юрт. Вокруг было пусто, голо. Никаких торговых рядов. И вдруг под самым окном появились мальчуган лет десяти и девчушка поменьше, его сестра. Они продавали один-единственный арбуз. Вот повезло!

— Ребята, сюда! — Я поманил их рукой и бросил десятку.

Девочка ловко спрятала бумажку под цветастую тюбетейку, а мальчик, встав на цыпочки и сопя от усердия, с трудом поднял арбуз. Я высунулся из окна, насколько это возможно, но коснулся арбуза лишь самыми кончиками пальцев.

Паровоз дал протяжный гудок, состав дернулся, вагоны со скрежетом сошлись буферами и, застыв на миг, двинулись вперед, набирая скорость. Честные ребяташки, испуганно крича, бежали за вагоном:

— Хозяин, бери, бери!

Я высунулся еще больше, делая последнюю отчаянную попытку схватить исчезающий арбуз. И вдруг...

— Раненый, раненый выпал! — закричали медсестры, размахивая красными флажками с площадок катившихся мимо меня вагонов.

Состав прошел, и мне открылось низкое здание вокзала с плоской крышей, за ним разбегалось несколько улиц, станция была с другой стороны. Я лежал на насыпи в полуметре от рельсов, каким только чудом еще не угодил под колеса! Мальчишка положил рядом со мной арбуз и держал за руку перетрусившую сестренку. В раскосых ребячьих глазенках на скуластых личиках встали удивление и страх: что делать?

«Что же делать?» — думал я в отчаянии.

Мне показалось, что эшелон, дойдя до выходной стрелки, остановился. Не может быть! Но мои верные ребяташки, не бросившие меня в беде, запрыгали и захлопали в ладоши: эшелон возвращался!

Но вспыхнувшая радость тут же сменилась тревогой: мне же наверняка попадет! Хоть бы казашата убрались

подальше со своим проклятым арбузом — вещественным доказательством моего проступка. Ведь я нарушил строгое указание: покупал арбуз! А от арбуза не так-то просто было избавиться. Вслед за подобравшими меня санитарями ребятишки вошли в вагон с моим арбузом.

Как я и ожидал, тут же явился начальник эшелона с целой свитой врачей. Еще бы: раненый выпал из вагона во время движения, настоящее ЧП! Толстый военврач с двумя шпалами в петлицах принялся кричать и топтать ногами. Но мне уже было все равно. Круглое лицо начальника эшелона стало расплываться, я не слышал, что он говорит. Страшно заныла рана.

— Смотрите, ведь он едва жив, — охнула женщина-врач.

— И кровь идет! — подал голос Василий с нижней полки. — Целая лужа натекла!

Поднялась суматоха. Сделали перевязку. Измерили температуру — 40,5. На меня уже никто не кричал. Откуда-то принесли матрас, подушку. Дали лекарство. Мне было плохо. Наверное, даже хуже, чем в ту ночь, когда меня несли в корыте. Я метался в бреду. Я видел окраины Воронежа, Плехановскую улицу, ребят, бегущих вместе со мною за танком, фашиста, стреляющего в меня из автомата...

Потом вошли санитары. Медсестра положила на носилки историю моей болезни.

— Ну вот, ты уже приехал, — сказала она. — Ташкент.

— А эшелон идет дальше?

— Да, в Туркмению.

— Ведь я ашхабадец! В Ашхабаде у меня мама!

Это был уже не бред. Меня снимали в Ташкенте, а эшелон шел в Ашхабад!

Подошла врач, седенькая женщина, та самая, которая первой заметила, что мне совсем плохо.

— До Ашхабада вы не доедете, — сказала она. — Наша летучка будет тащиться не меньше недели.

— Буду терпеть. — Я даже заплакал от обиды. Черт бы побрал этот дурацкий арбуз вместе с пижоном Васькой! Взял бы у меня ту несчастную десятку, не стал бы я сам покупать.

— Поймите, у вас разошлись кости, лопнула еще не затвердевшая мозоль. Нужны срочные меры. Боюсь, через день-два будет поздно.

— Вы не бойтесь, доктор. Я дам подписку, что пре-

дупрежден. Если маме скажут, что я не доехал до дому, знаете, что с ней будет?

— Знаю, я сама мать. У меня два сына воюют. От одного вот уже четыре месяца нет вестей. Твоей маме будет очень тяжело тебя увидеть в таком плачевном состоянии. Мой совет: оставайся в Ташкенте. Полежишь месяц-полтора, зато попадешь в Ашхабад не на носилках, а на своих ногах. Ну, скажем, на первое время с палочкой. И с вокзала не в госпиталь, а прямо домой. А куда же ты еще денешься? После такого ранения, как у тебя, в армии уже не служат.

Рядом с доктором, загородив проход своим «самолетом», стоял Василий Дроботов.

— Ты должен согласиться, — сказал он и, как бы убеждая меня, что вопрос уже решился, добавил: — Не забудь свой арбуз!

— Да пошел он к дьяволу! — огрызнулся я. — Кушай сам! — Но тут же почувствовал, что незаслуженно груб с товарищем, и изменил тон: — Ну, ладно, Василий. Спасибо тебе за дружбу. Будешь в Ашхабаде, забеги к моей маме. Вот адрес...

Седенькая докторша погладила меня по щеке.

— Умница! Перестал капризничать. Полежишь, подлечишься, а потом домой. Вот тогда-то и оценишь, как я была права...

Добрая женщина оказалась права лишь в одном: в Ашхабад тогда бы я не доехал. Все остальное случилось иначе. В госпитале я пролежал еще семь месяцев и после этого домой так и не попал.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, ЗАПИСЬ ДЕВЯТАЯ...

«Медицинской комиссией признан не годным к строевой службе и выписан из госпиталя в часть. Апрель 1943 г.»

А дома меня заждалась мама...

«Видю во сне, что ты открываешь калитку, идешь по двору, заходишь в комнату... К твоему приезду я прикуплю продуктов из своего пайка. По карточкам дают не так уж мало: муку, хлопковое масло, сахар, крупы, американский яичный порошок...»

Душою я давно был дома. Сто раз в мыслях выходил из поезда на ашхабадском вокзале и, помня наш давниш-

ний уговор с Яшкой Ревичем и Люськой Сукневым, опускаясь на колени, целовал асфальт...

Мечты, мечты... Но что я мог сделать? Четвертый месяц я недвижно лежал на спине. Ни повернуться, ни встать. Левая нога на «зенитке» — сложной установке с грузом, не позволяющим ноге укоротиться. На спине — саднящие пролежни. Спать — мучение. Мыться — мучение. Есть — тоже мучение. Тарелку ставят на грудь, попробуй дотяни ложку до рта, не расплескав супа. Да еще в этом положении пища никак не проходит в горло. Через день — переливание крови. Через десять — перевязка. Приходят санитары, перекалывают с кровати на носилки, несут в операционную, с носилок кладут на стол. Потом со стола снова на носилки, с носилок опять на кровать...

«Можно приехать тебя навестить?» — спрашивала мама. «Не надо, — отвечал я. — Зачем тебе мучиться в поезде столько дней? Да и как ты бросишь своих учеников в разгар учебного года? Анна Ефимовна, заведующая отделением и лечащий врач нашей палаты, обещает меня скоро отпустить домой».

Так же как и седенький врач из эшелона, Анна Ефимовна была убеждена, что другого пути у меня нет.

— Вернешься, поступишь в институт, — говорила она мне. — Кем ты хочешь быть?

— Тем, кем есть. Военным летчиком. Только сначала хотел бы заехать домой хоть ненадолго.

Анна Ефимовна качала головой:

— С таким ранением, как у тебя, в армию вообще не возвращаются.

Ко мне она относилась с трогательным вниманием, я был самым молодым в отделении, мне не исполнилось еще и девятнадцати. И другие врачи, сестры, нянечки тоже старались меня приласкать, как ребенка. Это возмущало: разве я не такой же солдат, как и все? Зачем же мне поровят налить лишний стакан компота, затеять сюсюкающий детсадовский разговор: «А мама у тебя есть? А папа есть?»

Но на Анну Ефимовну я не обижался. Во-первых, она была очень добрая, а во-вторых, очень красивая. Правда, курила слишком много, и голубые глаза были всегда печальными. Наш госпиталь был эвакуирован из Каменец-Подольского, в этом городе у Анны Ефимовны остались родители и дочь. Что случилось с ними, она не знала. Но всю свою любовь сейчас она отдавала нам.

В нашей палате лежало четырнадцать тяжелораненых: с царапинами так далеко от фронта не увозили. Люди менялись в палате медленно, лежали по полгода, а то и больше. Как-то я вспомнил нашего школьного математика Володю Куклина, взял карандаш и провел подсчеты. В палате лежали младший лейтенант, старшина, три сержанта, девять рядовых. Кавалерист, танкист, авиатор, сапер, связист, двое артиллеристов, семь пехотинцев. Средний возраст — тридцать один год, трем — до двадцати, четверем — за сорок. У пятерых родные места были под немцем, после госпиталя деваться им, пока было некуда. Лишь двое-трое могут потом продолжать службу, остальные будут списаны в инвалиды. Шестеро ранены осколками, столько же получили пулевые ранения, одного проткнули штыком в рукопашном бою, и один напоролся на мину. На всех приходилось двадцать две ноги и двадцать четыре руки, только у пятерых был полный комплект своих конечностей...

Наверное, это была типичная палата типичного тылового ортопедического эвакуационного госпиталя образца второй половины сорок второго года.

Староста палаты и ее старожил Федор Кульпин, ротный санитарструктор, лежал у дверей. Не вставал вот уже девять месяцев, был ранен осколком в таз, кости срастались плохо. До армии работал на фабрике валяной обуви в Горьковской области, и хотя имел лишь начальное образование, многого достиг самоучкой, обладал живым умом, к его мнению прислушивались. И не только соседи по палате. К Федору Ивановичу то и дело заходили за советом сестры, санитарки, кухонные работники. Проблем у них, в большинстве своем эвакуированных и живущих трудно, было немало. Библиотекарша Алла Львовна давала свежую газету прежде всего Кульпину, он читал нам сводку Совинформбюро и наиболее интересные заметки по своему выбору.

Иногда я замечал, что Федор Иванович брал листок бумаги, писал несколько слов, зачеркивал, смотрел на потолок, что-то нашептывал, писал снова.

— Стихи сочиняете? — спросил я.

— Откуда знаешь? Подглядывал?

— Нет, просто вижу, что вы испытываете муки творчества.

Кульпин пристально посмотрел на меня и, убедившись, что я не подшучиваю над ним, признался:

— Вот, приходится. Раз уж взялся за гуж. Когда



уходил в армию, сидели мы напослед с моей Клавушкой. Вспомнила она, как в двадцать девятом, перед женитьбой, написал я ей любовное признание в стихах. И говорит: «Способен ли ты, Федюша, на такие же чувства?» Я и пообещал ей писать из армии письма только в стихах. И слово пока держу. Но чувствую, выдыхаюсь. С рифмами тут, в госпитале, трудно. Хочу написать о последней операции, а как вложить в поэтическую строку такое выражение, как «резекция коленного сустава»?

— «Резекция коленного сустава» очень хорошо рифмуется со словом «Клава», — подсказал сержант Павел Гетта, стрелок-радист с СБ.

К Павлу я относился с особым уважением: хоть он и не летчик, но летал в бой, был ранен в небо. Я ему рассказал о себе. Он меня обнадежил, сказал, что в авиацию вернуться будет не так уж сложно, летного состава постоянно не хватает в боевых полках.

Пашка в ту пору был единственным ходячим в палате. А по законам госпитального братства его руки и ноги были руками и ногами всех остальных. И дел ему хватало на весь день. Разделить суточную норму табака на четырнадцать кучек, разнести курцам. Передать газету. Прикурить. Подложить подушку. Накрыть одеялом. Позвать сестру. Отворить форточку. Включить свет. Подложить одеяло. Подать «утку», если занята няня.

Вскоре поднялся с койки и Сеня Лепендин, сапер, поваренок из ресторана со станции Сасово. На поле боя провалялся долго, получил газовую гангрену. В санбате исполосовали ему ногу до самых костей, но задушить гангрену воздухом так и не удалось. Анна Ефимовна отняла Лепендину правую ногу выше колена. Он долго отходил после общего наркоза, кричал в бреду:

— Всю ногу отрезали, а пальцы оставили! Они горят, как в печи. Отрежьте их тоже! Унесите! Все равно им не на чем держаться...

— Вот и у меня так было, — сочувствовал Алексей Саввич Ощепков, колхозник из-под Великих Лук. — Шут его знает, почему болят пальцы, когда всю ногу оттяпают. Вот у нас в деревне жила вдова Глафира Григорьевна, ну такая, доложу я вам, проказница...

Что общего находил он между проказами вдовы Глафиры и ампутацией ног, ответить было невозможно. Ощепков обладал способностью рассказывать весь вечер всякие нелепые бывальщины и явные небылицы, которые поначалу у меня вызывали раздражение, но постепенно

я к ним привык и стал считать их даже забавными. До-ложив нам о вдове Глафире, которая охотно принимала у себя заезжего заготовителя клюквы, Ощепков тут же вспоминал, что в соседней деревне под Новый год при весьма странных обстоятельствах пропала коза.

— Хозяин все дворы обошел, никаких следов, погөр-ревал и успокоился,— излагал Алексей Саввич.— Но вот прошла зима, и к хозяину заявила коза, да еще с коз-леночком.

— А где же она была? — насторожился Евсей Гри-горьевич Лазарев, тоже солдат-пехотинец и тоже колхоз-ник. Рассказы Ощепкова он воспринимал всерьез, но от-носился к ним с некоторым подозрением.

— Да в стог залезла, там и козленка принесла.

— Чем же она кормилась?

— Сеном и кормилась. Почти весь стог изнутри вые-ла. Люди потом глядеть ходили, там целая пещера об-разовалась.

Лазарев вот-вот уже готов взорваться:

— Ну и брешешь! Что же коза пила?

Тут уж выходил из себя Ощепков:

— Чего ко мне привязался? «Что ела?» «Что пила?» Ты у козы спроси, где она питье находила. Может, снег слизывала.

Ощепков, щупленький, маленький мужичонка, навер-няка был замыкающим в своем взводе. Лазарев — боль-шой, грузный, килограммов на девяносто пять. Если б они могли подняться, то наверняка сцепились бы друг с другом. Постепенно в спор вступают и другие. Снача-ла потехи ради, потом уже всерьез. Кто за козу, кто против. Как обычно, обращаются к Кульпину, за ним последнее слово.

— Как полагаешь, Федор Иванович?

Кульпин до этого в споре не участвовал, слушал, улы-бался, молчал. Да и теперь с ответом не торопился, взве-шивал, берег свой авторитет.

— Сам-то ты, Саввич, видел эту козу? — уточнял он.

— Нет, не видел, дело ведь в соседней деревне про-исходило. Но мне рассказывал свояк. Он человек сте-пенный, врать не будет.

Кульпин подводил итог весьма дипломатично:

— Знаете, мужики, вообще-то такое могло быть, хотя и маловероятно.

— Вот видишь, Лазарев, могло быть!

— Но маловероятно,— не сдавался тот.

Единственный среди нас из комсостава — младший лейтенант Иван Задорожнев, зоотехник из Алтайского края обычно помалкивал, был всегда занят своими думами. Лежал он с тяжелым ранением. Иван наступил на мину, осколок перебил ему оба бедра и, как почти всегда бывает при таких случаях, разорвал мошонку. Неизбежная хромота мало беспокоила молодого командира. Его тревожил другой вопрос:

— А как я буду жениться?

— Не волнуйтесь, Задорожнев, — успокаивала его Анна Ефимовна. — Все образуется.

— А почему сейчас...

— Потому что вы тяжело ранены, перенесли операции, потеряли много крови.

— А они разве не потеряли? — показывал на нас младший лейтенант. — Вот у тебя, Лепендин, как?

Семен краснел, отворачивался.

— Чего молчишь-то? Отвечай! — не отступался Иван.

— Вы уж тут, Задорожнев, проводите свой опрос без меня, — конфузилась Анна Ефимовна и уходила.

Но младший лейтенант не успокаивался. Он обращался за разъяснениями ко всем, кто только появлялся в палате: к библиотекарше Алле Львовне, к секретарю комсомольской организации Майе Скуридиной, принимавшей членские взносы, даже к моей бабушке, которая приходила меня проведать. Да что там моя бабушка! Сексуально озабоченный Задорожнев пытался разрешить свой вопрос на высоком межгосударственном уровне.

Как-то по этажам пронеслась весть, что наш госпиталь посетит лидер республиканской партии США Уэнделл Уилки, соперник Рузвельта на президентских выборах. Совершая поездку по нашей стране, он сделал остановку в Ташкенте. Забегали врачи, сестры, санитарки, мыли полы, протирали окна, меняли салфетки на тумбочках. И только Иван Задорожнев весть о визите американца почему-то пропустил мимо ушей. И вот что из этого вышло.

В нашем госпитале Уилки имел время посетить только одну палату и заглянул именно к нам. Вместе с начальником госпиталя военврачом второго ранга Казаковым и большой группой незнакомых нам лиц он пошел по проходу между койками. Анна Ефимовна представила ему больных, коротко рассказывала о характере ранений. И все было хорошо, пока процессия не поравнялась с койкой Ивана Задорожнева.

— Товарищ профессор, можно к вам обратиться? — спросил младший лейтенант и, не дожидаясь ответа, тут же огорошил заокеанского гостя проблемой, с которой он наверняка не сталкивался ни в конгрессе, ни на съездах своей республиканской партии.

— Что просит этот раненый? — переспросил Уилки у своего переводчика — редактора иностранного отдела газеты «Нью-Йорк геральд трибьюн» Джозефа Барнса.

Толстенький маленький Барнс, приподнявшись на цыпочки, припал к самому уху своего высокого, могучего шефа. Разумеется, такого опытного политического зубра, как Уилки, смутить, озадачить было нелегко. Собираясь в СССР, он подготовился к любым неожиданностям. Возможно даже, спецслужбы убеждали его, что не исключены провокации. Но такое! Как истинный джентльмен, Уилки даже не подал виду, что поднятый младшим лейтенантом вопрос весьма далек от цели его вояжа. Лидер республиканской партии обронил лишь несколько слов, и Барнс перевел:

— Мистер Уилки попросит руководителей медицинского сервиса внимательно изучить вашу проблему.

Кандидат в президенты направился к двери. За ним потянулись сопровождающие его особы. По заскучавшей физиономии начальника госпиталя можно было догадаться, что состоявшийся диалог между американским конгрессменом и младшим лейтенантом Задорожневым не привел его в восторг.

— Ты что, Ваня, совсем спятил? — набросился на него Гетта, как только гости удалились. — Хоть соображаешь, кто к нам заходил?

— Как кто? Какой-то профессор... Видели, как все вокруг него увивались? Большой, видать, спец. Вот я у него и спросил.

— Откуда ты взял, что он профессор? — с укоризной сказал Кульпин. — Ты бы его, Ваня, о втором фронте спросил, о ленд-лизе. А спрашивать про свою пустышку? Стыд и срам! Ведь это американский политик!

— Неужели? — не поверил Задорожнев. — Разыгрываете меня, что ли?

Но, как ни странно, после общения с Уилки в состоянии здоровья младшего лейтенанта произошли определенные перемены к лучшему. Утром мы проснулись от радостного клича:

— Ура! Все в порядке!

Задорожнев пытался что-то показать нам из-под одеяла.

— Не надо,— остановил его Кульпин.— Верим. Прими наши поздравления. С тебя причитается.

— Как же! Само собой!

Исцеленный дал нянечке Полине Алексеевне денег, и она принесла с базара несколько бутылок крепленого узбекского вина. Было много тостов. Выпили и за мистера Уилки, с которым в нашу палату вошли надежды на лучшее будущее. Увы, надежды оказались призрачными. Сразу же после «банкета» Задорожнев уныло сообщил:

— Все, как было раньше. Зря только вино пили. Вот и сглазили.

— Да уймись ты со своим этим самым! — крикнул Лепендин.— Старо, слышали. И вообще веди себя скромнее, все-таки ты младший лейтенант!

Между тем я потихонечку начал вставать на костыли. Дошел от своей койки до стола и обратно. Потом, поддерживаемый Геттой, дополз до окна и, отчаянно устав, упал грудью на подоконник.

За окном начинался мир, от которого я давно отвык: просто улица, просто тротуар, просто идущие по своим делам люди, одетые в показавшиеся такими странными брюки, рубашки, платья, — не ранбольные в привычном нательном и не медики в столь же привычных белых халатах.

У журчащего арыка возле молоденького тополька стояла девушка. На ее плече висела черная нотная папка. Девушка разговаривала с окнами, из которых выглядывали стриженные головы раненых.

— Я могу вам спеть, мальчики! — крикнула девушка.— Что хотите?

— «Синий платочек», «Катюшу», «Темную ночь»! — наперебой просили окна.

— «Взвейтесь, соколы, орлами!» — ляпнул какой-то шутник.

— «Взвейтесь, соколы» я не знаю. Лучше я вам спою песню, которую вы еще не слышали.

Это была песня о разлученной войной любви, о вере солдата в мужество подруги, жены, невесты, о вере, которая поможет ему пройти сквозь огонь и вернуться с войны живым. Вернуться, потому что его любят, ждут...

Простые слова хватали за сердце своей душевностью, искренностью чувств...

Жди меня, и я вернусь,  
Только очень жди.  
Жди, когда паводят грусть  
Желтые дожди.  
Жди, когда снега метут.  
Жди, когда жара.  
Жди, когда других не ждут,  
Позабыв вчера...

Я запомнил эту картинку на всю жизнь: стриженные головы, торчащие из госпитальных окон, стройный тополек, начавший терять желтеющие листья, девушка с потной папкой у арыка и ее песня о желтых дождях...

Наша певунья посмотрела на часы, спохватилась:

— Ой, опаздываю в училище! Если услышу новые песни, опять к вам прибегу.

— А ты не жди новых песен, приходи прямо к нам в палату, — приглашали окна.

— Меня не пропустят. Приходить разрешают только шефам, а я не шеф, я просто прохожая. Учусь по классу скрипки. А хотите, я захвачу инструмент и сыграю вам Чайковского, Грига?

В ту ночь умер Евсей Лазарев. Возможно, даже не слышал, как девушка пела: «Жди меня, и я вернусь». Эта песенка была не для него. Умер Евсей Григорьевич не от ран, а от болезни, название которой я услышал впервые: инфаркт миокарда. В коридоре послышались торопливые шаги, захлопали двери, в палате щелкнул выключатель. Утром нянечка Полина Алексеевна, тяжело вздыхая, перевернула матрас на другую сторону, сменила постельное белье, выбросила из тумбочки непроглоченные таблетки, недопитые лекарства.

А к обеду в палате появился новепький. Опираясь на костыли, он легко перешагнул порог, из-под короткого госпитального халата торчал обрубок ноги. Не подходя к освободившейся койке, он присел на табуретку у стола. Это был плотный голубоглазый мужчина лет сорока, пащеках веснушки, нос большой, крупный, волосы с рыжеватым отливом.

— Давайте знакомиться, — предложил новичок. — Красноармеец Гаврилов Игорь Степанович. Бывший помощник районного прокурора. Ранен в мае, завезли аж в Новосибирск. Вот пробираюсь поближе к родным местам. Город Карши, слышали? Вот я оттуда. Ждут меня

дела, ох дела! Назарова надо проводить на фронт, как полагается, с оркестром. Пока не провожу, не успокоюсь. Дал себе зарок.

Помощник прокурора добрался до своей койки и, не снимая покрывала, уселся поперек.

— Знаете, кому я обязан своей прогулкой на фронт? — спросил он, обращаясь ко всей палате, хотя этот вопрос ни у кого не возникал.

— А кому мы все обязаны? — пожал плечами Кульпин.

— Вы другая статья. Вы подлежали мобилизации. А у меня была бронь. Знаете, кто меня разбронировал?

— Наверное, Назаров, о котором вы говорите? — догадался Гетта.

— Точно, Назаров! — воскликнул Игорь Степанович. — Он самый! Получил я повестку в шесть вечера, а в восемь утра было приказано явиться с вещами в военкомат. Все учреждения закрыты, райком, райисполком; кому объяснишь, что у меня бронь? Вот как ловко спроворил это дельце Назаров!

— А этот Назаров кем будет, военкомом? — спросил я.

— Берите выше! Назаров — кум королю и сват министру. Он управляющий конторой «Заготскот».

— В вашем районе призывом ведает «Заготскот»? — засмеялся Гетта.

— «Заготскот», товарищи, всем ведает и все может, — вполне серьезно ответил Гаврилов. — Я в этой конторе поднял документы, добыл важные показания, одним словом, аферу вскрыл. Разворовали они там мяса по рыночным ценам миллиона на три с лишком. Тут Назаров, смотрю, заволновался, круги вокруг меня делает, чувствую, взятку сунуть хочет. Да не на такого напал, не вышло. Ну вот и нашел руку в военкомате. Думал, спроводит меня на фронт, и все шито-крыто. А я, видите, возвращаюсь. Теперь он у меня и в окопе посидит, и попластунски поползает, и в атаку сходит!

Гаврилов потер руки, мстительно захихикал, зажмурился. Должно быть, представил, как оглушенный взрывом Назаров карабкается из окопа за своей оторванной ногой.

— И как же вы думаете поступить? — поинтересовался Кульпин.

— У меня дружков-приятелей нигде нету, — сказал Гаврилов. — Все будет честно, по закону. Назаров, глу-

пая голова, и не ведает, что все документики в надежном месте лежат, меня ждут. Осталось только обвинительное заключение оформить — и в суд. А по законам военного времени тюрьму ему непременно заменят штрафной ротой. Так что будьте добры, рядовой Назаров, получайте подштанники на вещевом складе — и на передовую: «Ать, два!» Конечно, я буду его провожать, помашу белым платочком: «Пишите нам письма, дорогой, в треугольных конвертах! Да не вздумайте погибнуть! Возвращайтесь к своим баранам. Они будут в полном порядке, ведь за время вашего отсутствия их никто не украдет. Воровать-то, кроме вас, никому!» И конечно, оркестр из нашего клуба возьму. Прикажу исполнить песенку Джени из кинофильма «Остров сокровищ»: «Я на подвиг тебя провожала...»

Все дни, пока в ортопедической мастерской делали протез, Игорь Степанович торжествовал. Все прикидывал, как бы поинтереснее организовать первую встречу с Назаровым. Конечно, она должна быть внезапной. Можно как бы невзначай столкнуться с ним нос к носу на улице. Или послать повестку, чтоб явился в прокуратуру. Или самому прийти в контору «Заготскот» и предъявить ему ордер на арест...

Наконец протез был готов, и Гаврилов стал собирать-ся. На прощанье он крикнул нам:

— Ну, теперь держись, Назаров!

Удалось ли помощнику прокурора устроить для Назарова прогулку на театр военных действий, мы так и не узнали. Во всяком случае, солдат с оторванной ногой по фамилии Назаров в нашей палате так и не появился...

Вместе с Сеней Лепендиным я начал совершать вылазки за пределы нашей палаты. Сенька встал на костыли чуть позже меня, но до своей операции был ходячим и теперь помогал мне открывать для себя неведомый госпитальный мир. На лестнице мы столкнулись с Анной Ефимовной.

— Как вы здорово прыгаете! — обрадовалась она. — И вам все еще носят еду в палату? Пора и честь знать. Будете ходить в столовую.

И мы стали ходить. У входа в столовую, которая располагалась в подвале, бдительно стояли на вахте двое выздоравливающих — Шараф и Ахматджан. Им вменялось в обязанность всячески препятствовать утечке лужек из столовой: раненные, которые выписывались в



часть, норовили утащить ложку с собой. В столовой была отлажена четкая система: каждому входящему Ахматджан вручал чистую ложку, которая служила своеобразным пропуском, талоном на обед. А выходящий должен был отдать ложку Шарафу. Иначе он никого не выпускал. Многие пытались подкупить вахтеров, предлагая взамен кусок мыла, полкикета курева. Но Ахматджан и Шараф вовсе не хотели за понюшку табаку лишаться столь выгодного места на ложечном пропускном пункте. Верная служба вознаграждалась дополнительной тарелкой горохового супа, лишней порцией каши, стаканом киселя.

После ужина Ахматджан и Шараф пересчитывали всю ложечную наличность и сдавали на кухню. А столовая превращалась в клуб. Стулья составлялись в ряды, столы отодвигались к стенке; исходя из программы вечера, натягивался экран, выкатывался рояль или устанавливалась трибуна. Лежачих приносили на носилках и укладывали впереди, у импровизированной сцены. На столах и стульях рассаживались ходячие. Показывали кино, выступали лекторы, артисты, писатели, музыканты. Среди них было немало всесоюзно известных знаменитостей, приехавших в эвакуацию из Москвы, Ленинграда, Киева.

Побывала у нас в гостях и самодеятельность женского эвакуошпиталья; был и такой госпиталь в Ташкенте. Прекрасная самодеятельность. Только артистических костюмов у девчонок не было. А были такие же, как у нас, халаты неопределенного цвета, из-под которых выглядывало все то же мужское белье армейского образца. Но это не смущало исполнительниц — наших боевых подруг — разведчиц, радисток, медсестер, раненных, как и мы, в боях с врагом. Выступал хор — двенадцать славных девчонок — блондинок, брюнеток, рыженьких. У запевалы не было руки, хористки стояли на костылях, на протезах. Все были веселы, задорно смеялись. А у меня сердце кровью обливалось, я впервые видел столько девушек-калек...

Нечто подобное испытывали и другие зрители.

— Пока они вместе, то многое воспринимается ими иначе, — сказал Кульпин, когда мы вернулись в палату — я на костылях, он на носилках. — Но наступит время, и придет такая певунья-хохотунья безрукой калекой в свою деревню. А вокруг десятки молодых, цветущих, певоевавших девиц. А ей надо будет как-то жить, работать,

создавать свою семью, если кто-нибудь возьмет ее замуж... Что ждет ее дальше? Ведь жизнь, она вон какая длинная... — Он отмерил ладонями целый метр...

А что ждет нас, всех вместе и каждого в отдельности?

Я все надеялся, что на утреннем обходе Анна Ефимовна мне наконец скажет: «Ну вот, собирайся на комиссию, а потом домой». Однажды она присела на краешек моей койки и стала пристально разглядывать на свет мой снимок.

— Дела идут неплохо, — сказала она, пряча снимок в конверт. — Мозоль окрепла, надо чистить кость.

— Чистить? Разве она у меня грязная?

Анна Ефимовна потрепала меня по щеке.

— В новом костном образовании гниют, не получая никакого питания, остатки старой кости. Маленькие такие осколочки. У тебя же остеомиелит. Если запустить, то можно и ноги лишиться...

И меня стали готовить к операции. Пока еще не врач, а соседи по палате, все люди умудренные, побывавшие не один раз под хирургическим ножом. Давали советы, ободряли, успокаивали, что почти не больно.

— По-настоящему начинаешь чувствовать, когда наркоз отходит, — сказал Кульпин. — Но все ведь уже позади, не страшно, хуже не будет.

— А я полагаю, что во время операции надо что-нибудь веселенькое в голове держать, — посоветовал Гетта. — Ну, например, думать про ту козу, которая в стого сена жила.

— Якобы жила, — уточнил Лепендин. — Это еще доказать надо!

Ощепков тут же ринулся в бой:

— Чего доказывать? Я же вам говорил, свояк видел. Брехать он не будет.

— Сваяк-то не будет, — подбросил Семка Лепендин палку в давно потухший костер.

— Так, значит, я брешу! — взъерепенился Ощепков.

И пошла эта коза опять скакать по палате на весь вечер от спорщика к спорщику...

А я ждал пятницы...

В пятницу Анна Ефимовна облачалась в синий халат, надевала марлевую маску, тонкие резиновые перчатки и бралась за дело. В «страшные двери» (так называли двери операционной) заводили и заносили нашего брата. Трещали неправильно сросшиеся кости, удалялись безжизненные суставы, голень с бедром соединялись намер-

тво, встык. Операционная сестра в эмалированном тазу, покрытом белой салфеткой, выносила отрезанные пальцы, кисти, стопы ног.

До «страшных дверей» меня провожали Павел Гетта и Семен Лепендин. Палатная сестра сделала мне укол морфия и дала выпить мензурку спирта. Но морфия и алкоголь ничуть не прибавили мне храбрости. У меня тряслись все поджилки, шел я очень медленно, оттягивая время, нервно облизывал пересохшие губы.

— Как зайдешь в «предбанник», не смотри по сторонам, там такое в шкафах лежит, страху не оберешься,— напутствовал Семен.

— Значит, вспоминай эту чертову козу,— шептал Павел.— А когда начнут тебя резать, я подкрадусь к «страшным дверям» и помекаю.

Взявшись за дверную скобу, я оглянулся. Сенька, балансируя на костылях, делал мне какие-то знаки. А Пашка, приложив к вискам указательные пальцы, изображал козу рогатую, ту самую, которая должна была сегодня облегчить мои операционные страдания.

Сразу же за порогом я попал в объятия операционной сестры Леси Николаевны, огромной, пышной, шумной женщины, ну просто гоголевская Солоха, эвакуированная по обстоятельствам военного времени из Диканьки в Ташкент.

— Чого зажурился? — зарокотала Солоха. — Такой гарний хлопец! А ну выше голову!

Я поднял глаза, но, вспомнив совет Семена Лепендина, тут же зажмурился. Увы, было поздно, я уже все увидел. Ужас сжал мое сердце. Я никак не мог оторваться от стеклянного шкафа, все полки которого были набиты плотницким инструментом, выполненным в медицинском варианте: блестящие пилы, молоточки, ножи, долота, буравчики, которые должны были кромсать уже не дерево, а человеческие кости и мясо. Рядом со шкафом под стеклянными крышками столов были разложены осколки снарядов с рваными краями, расплюснутые пули всех калибров, принятых в германской армии, обломок штыка, стабилизатор от мины... И весь этот импортный вторчермет был извлечен из грудных клеток, ягодиц, желудков, бедер тех, кто прошел через это чистилище раньше меня...

— Шо ты шукаешь? — раздался могучий голос операционной привратницы.

Не успел я опомниться, как остался только в нижней рубашке. Леся Николаевна густо смазала йодом ногу вокруг раны и распахнула дверь. У стола, подняв руки кверху, стояла Анна Ефимовна. В маске, в надвинутом на самые брови чепце, в синем халате, завязанном под самым подбородком, она казалась мне чужой, незнакомой. К тому же я очень стыдился своей наготы. Отводя глаза от Анны Ефимовны, я лег на операционный стол. Медсестра обхватила ногу длинным вафельным полотенцем и, держа за концы, крепко прижала ее к белоснежной простыне. Врач сделала несколько уколов вокруг раны, голень стала неметь. Прикосновение скальпеля отзывалось тупой, вполне терпимой болью, я почувствовал хруст, будто скалывался лед.

Дверь вдруг распахнулась, в комнату вошла высокая старуха, а с нею стайка девочек в белых халатах. Медсестры? Откуда они взялись?

— А, студентки! — воскликнула Анна Ефимовна. — Опоздываете, дорогие, я уже оперирую.

Студентки! Чего их принесло именно сейчас? А я лежу голый! Теперь я не чувствовал никакой боли, я испытывал стыд. Мне казалось, что девочки смотрят не на мою несчастную голень, а гораздо выше. Возможно, так оно и было. Я начал подвывать. От смущения, что ли? Или от того, что меня все-таки режут ножом? Пожалуй, от всего вместе. Стон был моей защитой от сорока девичьих глаз — голубых, карих, черных...

Руководительница практики стояла рядом с Анной Ефимовной и что-то объясняла своим студенткам. Я прислушался.

— Видите, девочки, сейчас у раненого отделяют надкостницу. Несмотря на обильное кровотечение, процесс совершенно безболезненный...

А я лежу и кричу. И бестактная старуха меня срамит! Самой-то когда-нибудь отделяли надкостницу? Наверное, при этом испытывала блаженство. Я взглянул на узбечку с топкими черненькими косичками, которая стояла ближе всех, и в уголках ее губ прочел едва сдерживаемую улыбку. Ну, конечно, думает: «Ему не больно, а он кричит».

Так как же быть? Конечно, можно стиснуть зубы. Но все подумают, что старуха права. Нет, буду стонать еще больше, тогда девочки увидят, что их профессорша говорит неправду.

— Ой! — крикнул я на весь кабинет. И тут же под дверьми послышалось протяжное козлиное бляенье: «Ме-е... ме-е... ме-е...»

Девичий хохот расколол стерильную настороженность операционной. Мне показалось, что скальпель даже чуть дрогнул в пальцах Анны Ефимовны.

— Что это за козлик завелся у нас в отделении?! — весело воскликнула она. По ее доброму тону я понял, что она не сердится.

Ну и Пашка, вот отмочил! Я представил себе Гетту, улепетывающего в этот миг от «страшных дверей», ухмыляющегося Лепендина, ожидающих моего возвращения в палату Ощепкова, Кульпина. Давящая тяжесть стыда исчезла, мне стало спокойно, тепло, и было уже, в сущности, наплевать на эту холодную старуху, которая видит, как человека режут ножом, а говорит, что ему не больно. Я теперь не очень стыдился этих девчонок, в глазах которых читал уже испуг и сострадание. А когда меня уносили, то настолько осмелел, что крикнул им, как старым знакомым:

— Всем общий привет, заходите в гости!

В палате ко мне кинулся Гетта:

— Меня слышали?

— Конечно, дружище! Ты не представляешь, как меня поддержал!

— Если будут у тебя еще операции, то всегда готов служить, — засмеялся Павел...

Анна Ефимовна сделает мне еще три операции, но козлиного меканья в его исполнении я больше не услышу...

Через пять дней Гетта выписывался. Он ушел на завтрак в больничном халате и шлепанцах, а вернулся эдаким соколом: хромовые сапоги гармошкой, комсоставский китель, диагональные бриджи, синяя суконная пилотка с голубой окантовкой. Совсем незнакомый человек, только улыбка его, Павлушкина. Стал укладывать свои пожитки в брезентовую парашютную сумку: круглое алюминиевое зеркальце из пилотской кабины У-2 (мечта механиков и мотористов), бритву «три ружья», кусок мыла и целую пачку легкого табака, дневную норму палаты, которую мы всегда дарили уходящему на дорогу. Потом Павел хитро подмигнул Сеньке Лепендину, тряхнул рукой, и из рукава, к нашему изумлению, вылетела ложка.

— Пришлось позаимствовать на память о Шарафе и

Ахматджане, конечно с возвратом после войны. Славные они мужики, бдительные.

— Ну и ловкач! — прищелкнул языком Семен. — Как же тебе удалось?

Павел усмехнулся:

— Нужда заставляет. Пока через запасные полки до летной столовой доберусь, есть-то мне чем-то надо.

Он прошелся по палате, пожал всем руки, обнялся со мной и Семеном и сказал:

— Что ж, друзья, поправляйтесь. И не очень-то здесь задерживайтесь!

Следом за Геттой стал собираться в дорогу Кульпин. Он написал своей Клаве последнее письмо, в котором пятистопным ямбом, но «лесенкой», под Маяковского, извещал о своем скором возвращении. Уехал в Киргизию в инвалидный дом Ощепков: домой возвращаться нельзя — там немцы. Младшего лейтенанта Задорожнева перевели в комсоставскую палату. Он долго не соглашался, кричал, что ему лучше лежать с солдатами. Но Анна Ефимовна была непреклонна: Иван окончательно доконал ее своими вопросами, а офицерская палата была на третьем этаже, и стало быть, не в ее отделеции.

Я перебрался на койку Гетты, к окну. Из него открывался унылый вид. На улице было промозгло, сыкотно. Пошли дожди. Ветер забрасывал в окна опавшие тополиные листья. Нянечка Полина Алексеевна принесла нам байковые одеяла: наступила осень, спать под простынями становилось холодно.

После второй операции я начал снова ходить на костылях. Бежали дни, шли недели. В госпитале я отметил свое девятнадцатилетие, встретил Новый год — 1943-й.

На Волге была одержана выдающаяся победа. Сталинградские полки и дивизии шли теперь вперед, на запад. А я все еще лежал в госпитале. Моя рана никак не закрывалась. На перевязках зонд уходил далеко в костную ткань. Анна Ефимовна была недовольна.

С января в госпитале открылись профессиональные курсы. Инвалидов, которые не смогут вернуться на прежнюю работу, стали обучать новым специальностям. Можно было учиться на парикмахера, сапожника, портного, часового мастера, счетовода сельпо. Последняя профессия показалась Семену наиболее престижной и вполне для него подходящей.

— Весь день на одной ноге у плиты я теперь постоять не смогу, — сказал он с грустью. — Какой из ме-

ня повар? А буду работать в своем же ресторане калькулятором или счетоводом. Разве плохо?

Я стал ходить на занятия вместе с Сенькой. Просто так, за компанию. Протяжными зимними вечерами делать было нечего, палата освещалась тускло, с наступлением сумерек приходилось откладывать книжки и газеты.

Древний старикашка, в пенсне, в старомодном сюртуке, протертом на локтях еще в каком-то дореволюционном Русско-Азиатском банке, с бабочкой вместо галстука, вручил нам под расписку по карандашу и школьной тетрадке в клеточку. Затем произнес тронную речь о всепроникающей силе двойной итальянской бухгалтерии. Начали мы, однако, с самых азов — с четырех действий арифметики и таблицы умножения: были слушатели, которые ходили в начальную школу лет тридцать назад и на том завершили свое образование. На общем фоне стать первым учеником мне было совсем не трудно. Старичок-преподаватель очень хвалил мои ответы, показывал всем в качестве образца мою тетрадку, в которой красовались одни пятерки.

Закончить курсы мне не удалось, к искреннему огорчению педагога, предрекавшего мне великое будущее на ниве сельской статистики: подоспела медицинская комиссия, я уже довольно бодро бегал с палочкой.

Меня привели в кабинет начальника госпиталя. За длинным столом сидело много врачей, и среди них Анна Ефимовна. Мне велели поставить в угол тросточку и пройти по комнате, что я исполнил резвым шагом, стараясь не хромать. Потом врачи осмотрели мою рану, из нее по-прежнему сочилась кровавая сыворотка.

Комиссия стала совещаться. Я сидел в углу на топчане и напрягал слух. Говорила Анна Ефимовна:

— Подобные ранения обычно приводят к полной инвалидности. Но видите, молодость творит чудеса: мальчик ходит на своих ногах.

«Опять мальчик!» — разозлился я.

Потом говорили другие. Я разбирал лишь отдельные фразы: «Кость вполне крепкая», «Да, но остеомиелит», «Укорочения конечности нет», «Рана, однако, не закрывается». Наконец начальник госпиталя Казаков велел подойти к столу.

— Лечащий врач просит предоставить тебе месячный отпуск с последующим медицинским переосвидетельствованием по месту жительства. Тебе понятно?

Еще бы не понятно! Месяц побуду дома! А больше и не надо. Увижу маму. Зайду к учителям в школу. А вдруг Зоя уже в Ашхабаде?

На крыльях радости я влетел в палату.

— Месяц отпуска! Еду домой!

Не в силах сдержатъ возбуждения, я делился новостью со всеми и с каждым. Даже рассказал Шарафу, когда выходил из столовой. Он оскалил зубы и быстро вырвал ложку из моих рук, видно, подумал, что я замыслил ее утащить. Но в тот день я любил всех, даже свирепого Шарафа.

— Не бойся, Шараф-ака, ложка мне не нужна. Еду домой, а дома у нас ложек много. Если хочешь, даже могу тебе прислать.

Возвратясь из столовой, я сел писать маме письмо: «А мы боялись, что меня не отпустят повидаться с тобой. Прошел комиссию, через неделю буду дома. Кого увидишь из наших, скажи».

Три дня я был на самой вершине счастья. На четвертый меня попросила зайти Анна Ефимовна. Я решил, что документы уже готовы, и пулей влетел в ординаторскую.

Анна Ефимовна пригласила сесть.

— Только ты не волнуйся, мой хороший. Нам не повезло. Решения госпитальных комиссий утверждаются в санитарном управлении округа. Всегда это было просто формальным актом. Но, на беду, приехала какая-то строгая проверка из Москвы. Посчитала, что госпитали делают раненым всякие побрякки, дают много отпусков. А мы чуть ли не на костылях выписываем в часть. Куда уж строже!

Я понял, что случилось непоправимое. Анна Ефимовна потянулась за папироской.

— Словом, твои дела вернулись с резолюцией: «Долежить на месте».

У меня потемнело в глазах, я чуть не заплакал.

— Как же так? Я уже написал маме. Она ждет.

— Ты увидишь свою маму. Обязательно увидишь, — только-то и могла сказать Анна Ефимовна.

Я вышел из ее кабинета с твердым убеждением, что наступила пора решительных действий. А то ведь из госпиталя, как нестроевика, и в самом деле направят писарем в штаб или определят ездовым, как Небензю!

Я вырвал чистый листок из своей образцово-показательной статистической тетрадки и сел писать заявление,



как мне советовал Гетта, в штаб ВВС округа. Сообщил, кто я такой, чего добиваюсь. И уже на третий день стал ждать ответа. При каждом появлении в нашей палате библиотекарши Аллы Львовны, разносившей письма и газеты, я срывался навстречу:

— А мне есть?

Письма были, но только от мамы. Она все спрашивала: «Когда?» В последнем письме мама писала, что к ней заходил Василий Дроботов, выписавшийся из госпиталя. Кто же это такой? Ах да, ведь это мой попутчик, мы ехали с ним из Чкалова. Я действительно давал ему мамин адрес. Значит, тот эшелон действительно шел в Ашхабад. Эх, если бы не проклятый арбуз! Сколько времени был бы дома! Так вот Дроботов рассказал маме, как мы ехали в эшелоне, а потом сообщил, что домой, в блокадный Ленинград, не попадешь, решил подаваться к тетке в Уфу, а денег на билет и на пропитание нету... «Да что он плел! — вскипел я. — Дорога из госпиталя бесплатная, билет дают по воинскому требованию, питание — по продаттестату. Просто решил разжиться на бутылочку, на пивко...»

Но надо знать мою маму — наивную, доверчивую, всегда чуткую к чужой беде. Васька выступал перед маминим классом, рассказывал о Ленинграде, опять сокрушался, что не знает, как добраться до уфимской тетушки. Словом, класс собрал ему на дорогу четыреста рублей, да еще мама дала ему свою сотню. «Василий взял у меня твой адрес, обещал написать тебе в госпиталь». Жди, напишет!

Ответ из штаба пришел, когда я перестал его ждать, через месяц. В конверте была совсем маленькая записка: «Просьба зайти в управление учебных заведений округа. Майор Пигалев».

Я помчался к Анне Ефимовне, потрясая бумажкой:

— Выписывайте скорее! Меня ждут в округе!

— Ишь ты, какой скорый! — улыбнулась Анна Ефимовна. — Так уж тебя и ждут!

Спустя пять дней мне сделали еще одну операцию. Снова постельный режим, потом костыли, потом палочка. Я считал дни: Анна Ефимовна обещала выписать меня через три недели после операции. Считал и тревожился: а вдруг опоздаю? Явлюсь к майору Пигалеву, а он скажет: «Чего же это вы так долго собирались? Ждали вас, ждали, а вот вчера закрыли вакансию». Нет, так не скажет, утешал я себя. Ведь он знает, что я лежу в госпи-

тале. Неведомый майор Пигалев казался мне добрым, чутким и справедливым. Я гордился, что состою в переписке с таким значительным лицом. Майор — это ведь большой начальник. Командир нашего стрелкового полка тоже был майор, а у него под началом было три тысячи бойцов. И вот такой человек сам ответил мне!

Выписка, как и многие другие события, которых очень ждешь, свалилась на меня неожиданно. После завтрака пришла сестра и сказала, что документы готовы.

Кладовщица тетя Даша посмотрела на меня с тоскою.

— Своего-то ничего нет? Во что же я тебя одену, такого долговязого? Рост сто восемьдесят шесть, размер обуви сорок третий?

— Рост сто восемьдесят девять, размер обуви сорок четвертый, — уточнил я.

— Будем подбирать, — невесело сказала тетя Даша.

А что подберешь? Форма одежды — сборная, госпитальное БУ. Напялил на себя коротенькие галифе — сойдет. Подошла гимнастерка старого образца, с отложным воротничком, без погон. Прежний ее владелец был ранен в плечо, об этом говорили две аккуратно заштопанные дырочки с обеих сторон рукава. С шинелью вопрос решил-ся быстро: взял желтую иранскую шинель без хлястика, с сильными подпалинами на спине. Хуже пришлось с обувью. Кладовщица выложила несколько пар ботинок, не раз побывавших в починке, но вполне сносных.

— Тетя Даша, мне обязательно нужны сапоги. Не могу же я в штабе ВВС появиться в обмотках. В авиации обмоток не носят.

— Где я возьму сапоги, да такие огромные? — Кладовщица задумалась. — Заходи сюда, за барьерчик. Там в углу я приготовила обувь в ремонт. Но может, все-таки обуешь ботинки?

Из кучи всякого хлама я вытащил кожаные трофейные сапоги.

— Так они же совсем драные! — воскликнула тетя Даша. — Портянка будет вылазить.

— Я почию сам.

— Тогда примерь. Не жмут?

Сапоги жали.

— В самую пору, — соврал я, испугавшись, что тетя Даша заберет их назад.

Вот в таком разномастном одеянии, более похожий на полесского партизана, чем на авиационного курсанта,

я и появился на своем втором этаже. Попрощался с ребятами, забежал к Анне Ефимовне.

— Отпускаю тебя на месяц раньше, — сказала она. — Только по твоей просьбе. А то тебе лежать и лежать. Так и знай.

— Спасибо, я это знаю. Но очень тороплюсь. Меня ждут в штабе округа.

Анна Ефимовна улыбнулась:

— Значит, скоро будем читать о твоих подвигах в газетах...

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, ЗАПИСЬ ДЕСЯТАЯ...

«Назначен помощником командира взвода зепитных пулеметов батальона аэродромного обслуживания. Апрель 1943 г.»

В Ашхабаде меня так и не дождалась мама. Наше свидание откладывалось на неопределенный срок...

«А может, оно и к лучшему? — думал я. — Кем появлюсь сейчас дома? Сержантом пехоты. Мои одноклассники уже командуют ротами, эскадрильями, награждены орденами, медалями. А у меня есть лишь право носить на груди желтую нашивку — знак тяжелого ранения. Нет, сначала надо пробиться в авиацию, отличиться в боях. Вот тогда...»

Я утешал себя, но не маму. Ей, в сущности, было все равно, в каком звании пребывает ее сын. Лишь бы он был с нею...

Я был полон надежд, когда шагнул за госпитальные ворота. В моем нагрудном кармане вместе с мамиными письмами лежало приглашение майора Пигалева. Больше я не мог ждать ни минуты. Поэтому решил, не заходя к своим родственникам, сразу же ехать в штаб.

Улица была придавлена низкими, тяжелыми тучами. Шел мокрый снег, мостовая давно не убиралась, тающие, порыжевшие кучи лежали на тротуаре.

На остановке у Центрального сквера почти не было людей. Старенький трамвайчик долго тащился по темным, еще не проснувшимся улицам. Чем ближе к штабу, тем все больше росло мое волнение. А вдруг моего майора перевели в другой город, послали на фронт? Мне казалось, что самое главное — найти майора Пигалева, а

все остальное быстро уладится, ведь он же прислал мне письмо, велел зайти...

В бюро пропусков были только одни офицеры. Отталкивая друг друга, они пробивались к маленькому окошку, где сержант в комсоставской форме выписывал пропуск. Мне показалось неудобным участвовать в общей свалке, я отошел в сторонку, стал ждать, когда у окошка схлынет толпа.

Майор Пигалев оказался на месте, но дежурный мне разъяснил, что по моему делу он со мной говорить не будет, а надо звонить лейтенанту Калюжному. Я зажал очередь к внутреннему телефону, потом долго объяснял, кто я такой. Слышимость была неважная, к тому же лейтенант никак не мог понять, почему мне, сержанту, дали направление в штаб.

— Меня приглашает майор Пигалев! — кричал я в трубку.

Наконец, с зажатым в кулаке пропуском, я зашагал по длинному, плохо освещенному коридору, отыскивая комнату с нужным номером. Я кривился от боли, проклятушие сапоги все-таки мне сильно жали, наверное, уже мозоли натер. Но вот та самая дверь. Постучал, услышал глухое: «Да, да». В глубине комнаты у окна сидел молоденький лейтенант. Не повернув головы в мою сторону, он продолжал читать какие-то бумаги, разложенные перед ним на столе. Я приложил руку к пилотке и отчеканил:

— Товарищ лейтенант, бывший курсант Ферганской летной школы явился согласно письму майора Пигалева...

Лейтенант оторвался от бумаг, посмотрел на меня пустым, ничего не выражающим взглядом и рывкнул:

— Кругом!

От неожиданности я едва удержал равновесие, по команду исполнил.

— Шагом м-арш! — раздалось за спиной.

Я промаршировал в дверь и очутился в коридоре. Что же я сделал не так? Не так вошел, не так доложил? Или надо было в помещении снять пилотку? Я снова постучал, снова услышал: «Да, да». Вторая моя попытка поговорить с лейтенантом Калюжным также закончилась неудачей. Я еще не успел дойти до стола, как снова раздалось: «Кругом! Шагом марш!» — и, ощущая гадливое чувство собственной малости, я опять вылетел из комнаты. Пока я раздумывал, что же делать дальше, на пороге

появился лейтенант Калюжный. Он закрыл дверь на ключ и, не обращая на меня никакого внимания, пошел по коридору. Во мне закипала злоба. В два прыжка я догнал лейтенанта и обратился к нему совсем не по-военному:

— Скажите, почему вы со мной не хотите говорить? Я получил вызов от майора Пигалева и вот явился...

— «Явился, явился», — передразнил меня Калюжный. — В каком виде явился? Почему без погон? Где лычки, если ты сержант?

— Что мне дали в госпитале, в том я и пришел. На фронте у нас еще не было ни лычек, ни погон...

Упоминание о фронте вызвало у лейтенанта новый приступ ярости.

— Да что мне тут всё фронтом тычут! А мы, по-твоему, тут сидим и ворон ловим! Какие там у тебя документы, покажи!

В комнату меня он не пригласил, тут же в коридоре прочел ответ майора Пигалева и справку из госпиталя.

— Э, да у тебя нестроевая статья. И ты собираешься летать?

— Чувствую себя отлично, уверен, что летную комиссию пройду.

— Ну, если уверен... Приходи завтра за назначением в шестнадцать часов.

В голове у лейтенанта Калюжного приоткрылся какой-то другой клапан, и он вдруг проявил обо мне заботу:

— А спать-то у тебя есть где, сержант?

— Есть, — буркнул я.

К своим родственникам я свалился как снег на голову, не предупредил, что выхожу из госпиталя. Пока я околачивался в штабе, а потом болтался по улицам, спустился вечер. Дядя Володя и тетя Агнесса уже вернулись с работы, бабушка кормила их ужином. За столом я рассказал, что был в штабе, завтра пойду за назначением. Ночью спал плохо, думал о маме, ведь она меня ждет, еще не знает, что мне не дали отпуска. С нехорошим чувством вспоминал лейтенанта Калюжного, обида не проходила: за что же он так со мной?

Утром, сразу же после чая, простился с родственниками, предупредил, чтоб обо мне не беспокоились: если больше не появлюсь, значит, уехал в часть. Времени, как говорили мы в детстве, у меня было целый вагон. Дошел до Центрального сквера, сам не заметил, как ноги

вынесли меня к воротам госпиталя. Потянуло зайти к ребятам, но я удержался: начнут расспрашивать, как дела. А что я скажу? Сплошной туман неизвестности. На улице было холодно и мерзко. Сел в трамвай, поехал в старый город на Бешагач; в чайхане выпил несколько пиалушек зеленого чая, съел большую миску лагмана с душистой лепешкой. За окном талые ручейки сливались в большие морщинистые лужи, дул пронзительный ветерок. А в чайхане было тепло, не хотелось уходить.

В половине четвертого я появился в бюро пропусков. Дежурный сержант порылся в ящике, протянул мне незапечатанный конверт. Затаив дыхание, подошел к окну, долго не решался извлечь бумажку. Что приготовила мне судьба: авиационный полк, летное училище? В конверте лежало командировочное предписание. Предлагалось убыть на станцию Джусалы в распоряжение командира БАО. Тяжелое предчувствие заползло в душу. Вернулся к окошку, спросил у сержанта, что такое БАО.

— Батальон аэродромного обслуживания, — расшифровал аббревиатуру сержант. — Бывшее ЧМО\*.

Еще раз пробежал текст своего предписания, обратил внимание на подпись: «майор Пигалев». И хотя все решил лейтенант Калюжный, я понял, что поделаться уже ничего нельзя: круг замкнулся.

На вокзале уточнил, что станция Джусалы находится в Кзыл-Ординской области. Как раз отходил пассажирский поезд «Ташкент — Куйбышев». Вошел в первый вагон, занял боковую полку. Настроение было хуже некуда. Думал, что случится такое? Из пехоты рвался в авиацию, а такая, с позволения сказать, авиация в сто раз хуже пехоты. После бессонной ночи и всех тревог я чувствовал себя неважно и, облокотившись о столик, заснул сидя.

— Эй, солдат, с нами ужинать!

Я вздрогнул, открыл глаза. Поезд уже шел. Напротив меня сидел инвалид с деревянной колодкой вместо ноги. Расстелив цветастый платок, он нарезал сало. Рядом с инвалидом мальчишка лет пятнадцати разламывал узбекскую лепешку.

— Подгребай поближе! — весело крикнул инвалид. — Тебе говорю, служивый! Или оглох?

При виде розового, лоснящегося сала у меня потекли слюнки. Но, пересилив себя, я отказался:

---

\* ЧМО — часть материального обеспечения.

— Спасибо, сыт!

Инвалид озорно подмигнул мне и загнул крючком указательный палец.

— Ну, даешь! Где же тебя так накормили? В госпитале? Оттуда?

— Оттуда. Вчера выписали.

— Тогда брось брехать. Сам сидел на госпитальных харчах. Отпустили по чистой. — Он постучал костяшками пальцев по своей деревяшке. — Отвоевался Петр Алексеевич! — Он сунул мне в руку бутерброд. — Ешь!

Я откусил огромный ломоть, аж поперхнулся.

— Куда путь держишь, служивый?

— В Джусалы. А вы дальше?

— На этот раз ближе. В Арыси сойдем. А в Джусалах где служить собираешься? В чистом поле? Постой, постой! Есть там какой-то аэродромчик. При нем состоят вояки...

— Вы, должно быть, здешний? — Осмелев, я еще потянулся за салом.

— Нет, я ростовский, донской казак. Воевал в морском десанте. А лежал в Чимкенте одиннадцать месяцев. Вот и задержался в этих благодатных краях. Степь да степь кругом! А я степи люблю. Теперь разъезжаю по степям, мне ведь даже тыловой третьей нормы не полагается, а есть-пить надо! Вот племяш помогает. То мешок поднесет, то на станции за кипяточком сбегает. Сам я на деревяшке уже не ходок.

На остановке парнишка сбегал за кипятком, инвалид достал мед, попили чаю. Я вернулся на свое место. Постелил на полке жидкую иранскую шинелишку и, хотя сапоги мне нещадно жали, разуваться не стал. Мои попутчики показались мне подозрительными. Ездят по поездам, должно быть, воруют, откуда у них сало да мед? А племянничек на дядю ничуть не похож...

— Чего не разуваешься? — Инвалид подошел ко мне, стуча своей деревяшкой. — Дай себе отдых. Побереги ноженьки, покуда они у тебя есть.

— Дядя Петя! — подал голос молчавший весь вечер паренек. — Он, поди, боится, что мы его обворуем.

Племянник словно мои мысли прочел.

— Если это в голове держишь, то обижаешь, — пасунился инвалид. — На кой ляд сдались нам твои дырявые чеботы? Мы сами народ не бедный. Вот, подивись!

Он развязал свой мешок, тот был доверху набит пачками чая.

— Ух ты! — изумился я. Чая в таких количествах мне не приходилось видеть даже в магазине.

Мой попутчик быстро спрятал мешок и, оглянувшись по сторонам, прошептал:

— Знаешь, почему нынче такая пачка в Казахстане? Ну так вот, товару везу на пятьдесят кусков. Не меньше. А ты думаешь...

— Да ничего не думаю, — ответил я. — Давайте спать. Доброй ночи!

Проснулся я только под утро, будто кто-то ткнул меня кулаком под бок. В проходе блекло мигал светильничек. На нижней полке, где с вечера располагались инвалид с парнишкой, сидела старушка-казашка, кутаясь в серый пуховый платок. Перепугавшись, я сунул руку под лавку и ничего не нащупал. Так и есть, вчерашние друзья меня облапошили, свистнули сапоги. Я вспомнил, как несчастный Толик Фроловский на лютом кзыл-ординском морозе маршировал в одних портянках. Вот так теперь придется и мне. Явлюсь в часть босым, что обо мне скажут?

На всякий случай я заглянул под лавку. Сапоги были на месте, только съехали в дальний угол. Радуюсь своему счастью, я кинулся обуваться. Пальцы нащупали что-то мягкое — из сапога выпала пачка чая! Такая же пачка была в другом сапоге. «Ну и посмеялся надо мной инвалид Петр Алексеевич! — подумал я. — Зря вот погрешил на порядочного человека! Впрочем, какой же он порядочный? Откуда раздобыл столько чая? Не на карточки ведь!..»

На станции Джусалы из всего поезда сошел я один, огляделся и направился вдоль путей к серому зданию вокзала, показавшемуся мне очень знакомым. Неужели? Если по другую сторону песчаный бугор, а на нем стоят казахские юрты, то значит... Казахские юрты стояли на своем месте. Значит, именно здесь я вывалился из окна санитарного вагона, потянувшись за арбузом...

Инвалид Петр Алексеевич имел совершенно точные сведения о военном гарнизоне станции Джусалы. В степи за юртовым городком, километрах в семи от станции, был аэродром, а вернее, посадочная площадка, которая в случае нужды могла принять транспортные Ли-2, летавшие из Ташкента в Москву и обратно. Площадку обслуживала аэродромная команда, занимавшая школьное здание неподалеку от вокзала,



Начальник штаба этой хилой части лейтенант Сомов посмотрел мои документы и воскликнул:

— О, вы у нас первый фронтовичок!

Он попытался вдохновить меня открывающимися передо мной перспективами.

— Вы знаете, какие задачи стоят перед БАО? Готовить аэродромы — это раз. — Лейтенант Сомов стал загибать пальцы. — Обеспечивать вылеты — два. Кормить, поить, обиходить летный состав — три. Своими зенитными пулеметами охранять небо над аэродромом — четыре...

Пальцев на руках у лейтенанта Сомова не хватило. Он смотрел на меня с достоинством и был великолепен. Ему, наверное, и в самом деле казалось, что судьбы войны находятся в руках батальонов аэродромного обслуживания.

— Вот и посудите, мало ли у нас дел! — закончил свой монолог лейтенант Сомов. — Выбирайте любое на свой вкус.

— Просил бы определить меня в зенитчики.

— Хорошо, зачисляю вас помощником командира взвода зенитных пулеметов. Только у нас пока нет еще ни командира взвода, ни бойцов, ни самих зенитных пулеметов. Все в будущем. А пока пойдете начальником караула на аэродром. Смените старшину Зеленого. Разводящим у вас будет ефрейтор Чекурский, человек в этом деле достаточно опытный, он и введет вас в курс дела.

Ефрейтор Чекурский был старше меня лет на двадцать пять. Щуплый, тонконогий, остроносый, он напоминал деревянного человечка Буратино из сказки Алексея Толстого. Движения у него были какие-то неживые, угловатые, будто к его рукам и ногам привязали палочки, за которые дергал в нужный момент кукловод из театра марионеток. Оказался он моим земляком, работал в Ашхабаде начальником планового отдела завода.

— Значит, отправляемся в пятидневный дом отдыха, — ухмыльнулся мой разводящий. — На горячем песочке позагораем, поьем кумыс.

— Будем доить степных кобылиц? — спросил я с любопытством.

— Ну зачем же доить самим? Получим с доставкой на дом. — И, прочтя на моем лице недоумение, пояснил: — В сухом пайке нам дают и брикетный чай. Мы отдаем его казахам, а за это они нам посят кумыс. Без чая казах жить не может, а где его сейчас купишь?

Я показал чай, который засунул мне в сапоги инвалид дядя Петя.

— Ого, пачечный! — воскликнул Чекурский. — Это целое состояние! Держите его на самый крайний случай, как золотой фонд.

Вместе с нами в караул шли еще пять солдат, все люди пожилые, под пятьдесят, нестроевики из мастеровых: два плотника, печник, каменщик и парикмахер, таким в БАО и цепи нет.

За песчаным косогором в зеленеющей степи были уже видны две большие грязно-белые холстины, образующие посадочный знак «Т». Впрочем, взлетать и садиться здесь можно было где угодно, степь была плоской как блин. На аэродроме, до которого мы еще шли порядком, нас с нетерпением поджидал старшина Зеленый со своим нарядом.

— Хочется поскорее добраться до части, помыться, газеты почитать, а то мы здесь совсем одичали. — Старшина Зеленый, худой, сутулый человек, протянул мне руку для знакомства.

Зашли в караульное помещение. Внутри небольшой деревянный домик имел впечатляющий вид: печка, облицованная изразцами, удобные нары, табуретки, столики, шкаф для посуды, вешалка. Четыре широких окна глядели на все четыре стороны света.

— Здорово сработано? — спросил старшина Зеленый и сам же ответил: — Здорово! У нас отличные мастера, им бы только Печерскую лавру у нас в Киеве расписывать. Да вот беда, нет пока фронта работ, ходят в караул, теряют квалификацию.

Зеленый достал тетрадь, обернутую в красную клеенку. Я расписался, что принял караульное помещение со всей перечисленной в описи мебелью, а также цистерну горючего под plombой, шесть бочек из-под масла, два полотна парусины и два стартовых флажка — белый и красный.

Зеленый заторопился, стал собирать вещмешок.

— Хорошо, что у нас сержантского полку прибыло. А то, кроме меня, и ходить карначом было некому.

Потом мы с Чекурским сидели на скамеечке перед нашим домиком, глядели, как исчезают за песчаным косогором сменившиеся караульные. Легкий ветерок шелестел в траве, раскачивая головки краснеющего там и тут мака.

— Радиосвязи с частью у нас нет, — начал Чекурский, который получил указание начальника штаба ввести меня в курс дела.

— А если что случится?

— Что тут может случиться! — Ефрейтор махнул рукой. — Если будет посадка, то предупредят из Ташкента. Теперь о составе караула. У нас трое часовых и два стартера. У стартеров работенки никакой, ну, переложат свое «Т», если изменится ветер. Ветер, однако, здесь постоянен, как жена Цезаря. Поэтому поступаем по справедливости: стартеры тоже стоят на часах. Стоят-то на часах, а часов ни у кого нет. Часовые, кто понимает, ведут отсчет времени по звездам.

— А кто не понимает? — спросил я с улыбкой, видя, что мой разводящий острослов и оригинал.

— Тот расплачивается за свою астрономическую отсталость, может отстоять и лишку. Но обиженных не бывает, почасовая нагрузка все равно невелика. Выходит что-то по два часа в сутки, ведь у цистерны стоим лишь ночью. В светлое время такой необходимости нет.

— Почему?

— Во-первых, кроме мальчика с бидончиком кумыса, здесь никто появиться не может. Во-вторых, окна задуманы таким образом, что даже лежащему на нарах открывается круговой обзор. В-третьих, наш начальник склада ГСМ Басаргин шепнул мне, что в цистерне давно уже нет бензина, равно как и масла в бочках. Есть еще несколько других, правда менее существенных, причин, которые убеждают нас в том, что дневное бдение у цистерны не имеет практического смысла.

— А другие в это время воюют, — сказал я.

— Что мы можем поделаты! — вздохнул Чекурский. — Каждому свое. Мы — боевая, самообеспечиваемая единица. Жизнь убеждает, что БАО без авиаполка обойтись может, и на нашем примере видно, что это так. А пусть летчики попробуют прожить без БАО — и дня не протянут. Кто же их будет охранять, кормить, стричь, башить, делать прививки против оспы? У них же ничего своего нет. Вот и получается, что боевой летчик по отношению ко мне является иждивенцем...

Заканчивался апрель, дули теплые ветры. Через пять дней появился старшина Зеленый, расписался в красной тетрадке, что принял у меня караул. Потом я менял Зеленого: Старшина опять спешил, даже не стал ждать, когда я возьму тетрадку.

— В следующий раз все оформим, — сказал он и убежал.

— К Надьке своей торопится, — шепнул Чекурский.

— Какой такой Надьке?

— Есть такая толстуха, в пекарне работает. Как-то я заглянул на базар табачка посмотреть, а там Надька мылом английским торгует. За два дня раньше старшина раздал нам по маленькому кусочку такого мыла. А разницу, стало быть, Надьке-пекарше снес. Вот такая завертелась любовь на мыльной основе...

Чекурский хихикнул и полез в карман за кisetом.

Как-то поутру я проснулся от шума за дверью. К возбужденным голосам примешивался басовитый говорок моторов, буравящий тугой степной воздух. Весь наш малочисленный гарнизон, поднявшийся, как по тревоге, был наверху. Все были возбуждены, посадка самолета была заметным событием в нашей стилой караульной повседневности. Даже флегматичный Чекурский оживился. Он тыкал пальцем в небо и, подталкивая то одного, то другого, повторял:

— Туда смотрите! Вон он летит. Видите?

Все, конечно, видели. Двухмоторный бомбардировщик ходил по кругу, медленно, словно нехотя, снижаясь. Его косая, все увеличивающаяся тень ползла по земле. У белеющего вдалеке посадочного знака неистово размахивали флажками наши стартеры Шапкин и Колин.

Утреннее солнце вышивало на бледной скатерти степи золотистые кружева. Расцвечивались золотом морщинистые складки песка, пучки верблюжьей колючки казались теперь вытянутыми из золотой проволоки, золотистая ящерица, склонив голову набок и причудливо извиваясь, торопилась по своим насущным заботам. Золотистые блики вспыхивали на кромке плоскостей снижающегося бомбардировщика.

Распугав стартовый наряд, «дуглас» грузно плюхнулся у посадочного знака, утонул в оранжевом облаке поднявшегося песка. Потом в мареве оседающей пыли возникли фигуры летчиков. Впереди раскачивающейся, еще не окрепшей после полета походкой шел крепыш в зимнем комбипезоне. Определив в нем командира экипажа, я доложил и попросил разрешения взять самолет под охрану.

— Берите. Но пока в машине остался штурман. Он сдаст груз.

Пепельный чуб, выбивавшийся из-под шелкового подшлемника, индейский нос с горбинкой, улыбочка, не сходившая с округлых губ, — все это показалось мне очень знакомым. Я где-то видел этого человека. Но где? И тут перед глазами возник июльский вечер сорок первого года, маленькая станция под Ферганой, купе переполненного вагона, летчик, возвращающийся со свидания, которого мы, окружив плотным кольцом, расспрашивали о летной школе...

— Простите, если ошибаюсь, вы не сержант-пилот Коврижка?

— С вашего позволения старший лейтенант Коврижка. А откуда ты меня знаешь, сержант? Где встречались?

— В Ферганской летной школе, — выпалил я, радуясь неожиданной встрече, будто пучком света озарившей те дорогие, невозвратные дни. Словно все это было вчера: кавалерийские казармы, яблоневые сады, первый самостоятельный полет...

— Так, так, — протянул Коврижка, вычерчивая какую-то фигуру носком сапога на песке. — Кто же у тебя был инструктором?

— Сержант-пилот Ростовщикова.

— Нет твоего Ростовщикова, — вздохнул Коврижка. — Многих наших нет. А вот я отлежался в госпитале, был списан в транспортную авиацию, стал воздушным извозчиком. — Он увидел у меня на груди желтую нашивку. — О, и ты побывал на фронте! Что же случилось с вами после того, как мы улетели под Москву?

Члены экипажа вместе со своим командиром выслушали мой невеселый рассказ.

— Такие, стало быть, дела, — проронил Коврижка. — А как же тебя занесло в Джусалы?

— Из госпиталя.

— Ну, это другое дело. А я как услышу, что лететь в Джусалы, так оторопь берет. Пустыня, ветер, песок, никакой культуры. Одним словом, дыра. — Коврижка склонился к моему уху. — Правда, завелась здесь у меня одна татарочка, на телеграфе работает, тем и спасаюсь.

Летчик Коврижка был в своем прежнем репертуаре. На его хитроватом лице появилась пошловатенькая улыбочка.

— А татарочка ничего, жаль, что бываю тут редко, пропадает товар. Стоп, хочешь познакомлю?

К нашему караульному помещению уже подруливал старенький, трясущийся всеми поджилками ЗИС-5. Перед

тем как усесться в кабину, старший лейтенант Коврижка махнул мне рукой и пожал плечами. Должно быть; он выражал свое недоумение тем, что я не проявил особого желания знакомиться с телеграфисткой.

Машина увезла летчиков в часть, а вернулась со старшиной Зеленым и людьми, свободными от караула. Началась разгрузка «дугласа». Несколько человек забрались в самолет. Оттуда через люк вылетали перехваченные веревками кипы гимнастерок, шинелей, мешки с ботинками. Все это укладывали в кузов.

— Живее, живее! — подгонял бойцов старшина Зеленый. — Имущества на десять ездов, а нам до обеда надо управиться.

— У Зеленого прекрасное настроение, — заметил Чекурский. — Видно, кое-что из барахлишка выкроит для своей Надьки, а та — на базар.

— Так уж и на базар, — усомнился я.

— Надька спроворит. Куда же девать такую уйму добра? На каждого выйдет по десять комплектов.

— Не волнуйтесь, добро не пропадет. Все это означает, что ожидается новое пополнение из гражданки.

Чекурский хлопнул себя по лбу.

— Вполне логично! Как же я не сообразил сопоставить факты!

Через три дня, вернувшись из караула, мы увидели новое пополнение. По школьному двору ходили взад и вперед жители Средней Азии; как я узнал, киргизы. Иные, собравшись кучками, сидели у забора, пили чай из привезенных с собою чайников и вели неспешную беседу. Это были люди весьма почтенных возрастов, поначалу освобожденные от воинской службы, но теперь уже сточившейся мобилизационной метлой выметенные из высокогорных районов Нарыпа.

Через два дня старшина Зеленый обмундировал новичков, и теперь они являли собою ужасающее зрелище. Если в своих ватных халатах и белых островерхих шапках из войлока они как-то еще смотрелись, то в военной форме выглядели нелепо, неестественно. На огромных животах, растянувшихся от непомерного употребления жирной баранины, чуть не лопались гимнастерки, монолитные задницы едва умещались в галифе, пилотки были надеты поперек головы, как треуголка императора Наполеона.

Даже тщедушный Чекурский, глядя на новобранцев, вдруг почувствовал себя орлом.

— Лихое воинство, ничего не скажешь! Нет, с такими бабаями я в разведку не пойду!

Я представил себе пугливого Чекурского, проползающего между вражескими окопами, чтобы захватить зазевавшегося «языка», и прыснул.

— Над чем смеетесь, товарищ сержант? — насторожился Чекурский.

Мне не хотелось обижать ефрейтора, и я сказал:

— Да так, что-то такое вспомнилось.

Утром оказалось, что я смеялся не столько над Чекурским, сколько над самим собою. «В разведку с бабаями», образно выражаясь, пришлось идти не ему, а мне. Меня пригласил начальник штаба лейтенант Сомов.

— С завтрашнего дня от несения караульной службы вы освобождаетесь, — сказал он. — Ваша задача — обучить людей держаться в строю, отдавать честь, словом, самым азам армейской жизни.

Легко сказать: «обучить»! Мои новые подчиненные никогда в строю не ходили, более того, в своих горных аялах даже не видели, как ходят другие. Зачем надо отдавать честь, когда проще сказать «салам алейкум», — не понимают, в знаках различия не разбираются, для них что сержант, что полковник — одно и то же, все равно командир. Словом, сложностей хоть отбавляй. Первое: никто из моего взвода по-русски не понимал, лишь один боец Омурзаков где-то общался с украинскими переселенцами, но знал по-украински примерно так же, как я по-туркменски, поэтому языковой барьер предстояло преодолеть с помощью жестов. Второе: не было отделенных командиров, придется сразу заниматься с целым взводом. Третье... Четвертое...

Я начал с того, что выстроил свой отряд по росту. На это ушло уйма времени; чтобы показать, кому где становиться, многих пришлось водить за руку. Для строевых занятий я выбрал место подальше от любопытных глаз местных жителей, в особенности мальчишек: они бы смущали моих бойцов. Мы вышли из ворот и двинулись по улице. Я шел впереди и старался не оглядываться; мне, бывшему курсанту Харьковского пехотного училища, отшагавшему на плацу не один десяток километров, было сложно видеть, как идет мое войско. Ряды смешались, строй сбился в кучу, все принялись говорить, за моей спиной зашумел самый настоящий восточный базар.

Добравшись до облюбованной мною площадки, я снова выстроил взвод и начал втолковывать своим ученикам,

как падо ходить строевым шагом. Объяснял по-русски. Мне, как мог, помогал Омурзаков, переспрашивал по-украински и переводил на киргизский.

— Вот смотрите, как надо ходить, — показывал я. — Правая рука согнута в локте перед грудью, левая рука прямая, оттянута назад, опираюсь на правую ногу, левая нога впереди, носок оттянут...

Я медленно прошелся перед взводом, чеканя шаг и строго фиксируя движения. Старался как мог; думаю, что мой училищный взводный, требовательный до педантичности лейтенант Тимофеевко, выставил бы мне пятерку с плюсом. Потом выкликнул Омурзакова, полагая, что он лучше других понял мои объяснения, попросил пройти, как я показал.

— Слушай мою команду! Смирно!

Омурзаков встрепенулся, выставил вперед свой колышющийся живот — плечи перекошились, голова запрокинулась. В этой позе он не удержался, зацепился ногой за ногу, чуть не упал.

— Стойте, как обычно, не напрягайтесь, только выпрямитесь, подберите живот, смотрите прямо. Ясно? Шагом марш!

О боже! Толстый Омурзаков двинулся эдакой каракатической, правая рука шла у него вперед вместе с правой ногой, а левая — с левой. Я велел ему остановиться и пойти своей обычной походкой. Но куда там! Теперь у Омурзакова ничего не получалось, вмиг разучился ходить, и только!

Я вернул Омурзакова в строй и, присмотревшись, выбрал солдата помоложе и несколько постройнее. Увы, он пошел точно так, как и Омурзаков. И третий, и четвертый, вызванные мной из строя, передвигались все той же иноходью, только все это получалось у них, мягко говоря, менее изящно, чем у красавцев-скаупов. Было от чего мне прийти в отчаяние! «В чем же тут дело? — недоумевал я. — Может, они думают, что Омурзаков, который меня понимает лучше их, шел правильно и пужно всем ходить, как он?»

Выбившись из сил и сорвав голос, я объявил перекур. Курящих во взводе, кроме меня, не было. Киргизы, так же как и туркмены, закладывали под язык перетертые вместе с золою зеленые табачные листья. Эту смесь они хранили в малюпких выдолбленных тыквах, заменявших им табакерки. Любители острых подъязычных ощущений все время отплевывались желчно-зеленой слюной.



Шло время, занятия продолжались. Наступил май, возвестив о себе теплыми, душистыми вечерами. После ужина наступало свободное время. Чекурский и моя прежняя караульная команда все время пропадали в нарядах, я коротал долгие вечера среди своих солдат. Они рассаживались во дворе по своим земляческим группам, и из каждой приглашали меня к себе. Это были добрые, сердечные люди. Многие захватили из дому по мешку разных продуктов: лепешки, сушеные фрукты и толкан — молотые зерна жареной кукурузы. Горсть толкана бросалась на дно котелка и заливалась горячей водой. Получалось что-то вроде каши или кулеша. Мне эта еда нравилась, особенно если толкан был сдобрен изюмом и зернами грецкого ореха.

Я уже помнил многих бойцов по фамилиям, знал, кем они работали до армии. Тут были люди разных профессий: колхозные бригадиры, табунщики, кузнецы, чабаны, рядовые колхозники. Самым старшим по возрасту и по занимаемой должности был заведующий конетоварной фермой Тохтасынов. Все его слушались, он как бы санкционировал мои приказы. Когда я велел что-нибудь сделать, боец глядел на Тохтасынова: что он скажет. Тохтасынов слегка кивал, как бы подтверждая: да, это нужно, выполняй! В отношении бойцов и Тохтасынова я не вмешивался, у меня с ним существовало как бы молчаливое соглашение: он поддерживал мой авторитет, а я — его.

Как-то во время очередного подъязычного перекура ко мне подошел Тохтасынов. Его умные глаза светились добротой, а под седеющими усиками пряталась застенчивая улыбка.

— Сынок, я вижу, ты измучился с нами, — говорил он медленно, выбирая самые простые слова, чтоб я лучше понял. — Ты думаешь, что мы не хотим делать так, как ты хочешь? Нет, мы хотим. Мы стараемся. И хотя ты молод, мы понимаем, что ты наш командир, и слушаемся тебя. Не сердись на нас.

Милый, милый Тохтасынов, прекрасно понявший мое состояние. Я готов был расцеловать его!

Нет, конечно, я не сердился на свой взвод. Ведь я родился и вырос в Средней Азии, глубоко уважал ее жителей, благородных, сердечных, трудолюбивых людей, верных в дружбе и никогда не забывающих добро. Я понимал, что им сейчас очень трудно, и чувствовал свою большую ответственность за них. Я знал, что в их глазах

представляю всю Красную Армию, Наркомат обороны, ЦК ВКП(б). Я представлял человеческую справедливость и закон. Как-то чуть даже не подрался со старшиной Зеленым. Во время обеда он увидел, что мои бойцы слишком суетятся у раздаточного окошка, захихикал и громко сказал, так, что многие слышали: «Ну и обжоры! Даже тарелки норовят облизать!» «Они привыкли к мясной пище, — сказал я старшине, — поэтому им очень трудно насытиться гороховым концентратом». «А русским не трудно! — захохотал Зеленый. — Разбаловали мы их, вот в чем дело!» «Вы, что ли, разбаловали? — разозлился. — Может, они считают, что они разбаловали вас». — «Кто считает, эти чекмеки?» — «Вы бы лучше называли их «сартами». — «А что это такое?» — «Такую кличку дали среднеазиатам царские чиновники».

Старшина смекнул, что сползает на скользкую дорожку, и умолк.

Стали прибывать офицеры. Появился и мой командир взвода лейтенант Ятьков, белобрысый парнишка, годом младше меня и только что закончивший какое-то пехотное училище. Появился он как-то в поле, посмотрел, как мы занимаемся, велел продолжать, а сам пошел подыскивать себе квартиру.

— Прибудут зенитные пулеметы, тогда займемся своим делом. Этих друзей передадим в караульный взвод, а себе подберем ребят помоложе и посмышленее, — сказал он на прощание.

Больше на занятиях он не появлялся. Иногда встречал лейтенанта в столовой, был он молчалив, угрюм, задумчив. Возможно, Ятьков так же, как и я, был обескуражен тем, что попал не на фронт, а в тыловую часть.

Тем временем поползали слухи, что скоро нам предстоит дальняя дорога. Из Ашхабада прикатила супруга Чекурского, здоровенная, толстая женщина, с целой корзиной домашней еды. Она заключила своего щупленького муженька в могучие объятия и заголосила на весь поселок:

— Вот и тебя гонят в самое пекло, на фронт! Не пущу, не отдам на погибель!

Чекурский сделал робкую попытку вырваться на волю, это ему не удалось. Супруга держала его мертвой хваткой, будто боялась, что, как только отпустит, он помчится с винтовкой наперевес контратаковать немецкие танки, которые уже появились на окраине Джусалов.

Я поспешил на помощь ефрейтору. Подошел и сказал его жене:

— Вы напрасно убиваетесь. На фронт мы не попадем, а помогаем лишь в прифронтовую полосу. Наша часть вспомогательная, будем работать на аэродромах, обслуживать летчиков. Кормить, поить.

— Это правда? — спросила Чекурская, успокаиваясь.

Я пошел прочь, не оглядываясь на замиряющихся супругов. «И чему только люди радуются? Не попадут на фронт!» — удивлялся я. Их я не мог понять, а они наверняка не поняли бы меня. Я глубоко презирал всякие тылы, штабы, вторые эшелоны, склады, пищеблоки, мастерские, базы. И по иронии судьбы в одной из презираемых мной частей приходилось служить мне!

Примириться с этим я, конечно, не мог. Уже из Джусалов я отправил два рапорта в Москву, командующему ВВС, и, по моим подсчетам, ответ должен был скоро прийти. Я весь изнемог в ожиданиях. И вот на обеде ко мне подошел старшина Зеленый.

— Тебя искал посыльный, просил явиться в штаб, в четвертую комнату.

Я отставил тарелку, выскочил из-за стола.

— Кашу-то доешь, — сказал старшина. — Подождут.

Но сам я ждать ни секунды не мог. Сердце радостно застучало: пришел ответ!

В четвертой комнате за массивным письменным столом сидел кругленький капитан. Увидев меня, приветливо улыбнулся.

— Присаживайтесь, пожалуйста, на стульчик, и давайте знакомиться. Впрочем, я вас знаю, а вы меня нет. Я начальник особого отдела.

Капитан повернулся к железному шкафу, стоящему за его спиной, открыл ключом дверцу, достал прихваченные канцелярской скрепкой листки, стал читать.

— Так вы учились в летной школе? — весело спросил он.

— Да. И теперь хочу вернуться к летной работе.

— В Москву писали? — поинтересовался капитан.

— Писал, — ответил я и чуть было не добавил: «Будто вы не знаете!»

Особист углубился в чтение бумаг, определенно имеющих ко мне отношение. «От кого ответ? — терялся я в догадках. — Из Москвы или вспомнил обо мне ташкентский майор Пигалев?»

— Значит, из летной школы вы попали в пехотное училище, оттуда не были выпущены и в составе курсантского батальона направлены на фронт. — Капитан достал кiset, свернул папироску.

— Вы курите? — спохватился он, протягивая кiset Я отказался, хотя курить мне очень хотелось.

— Ну, вот теперь подходим ближе к делу. Вспомните, в период вашего нахождения на фронте никаких событий с вами не происходило?

«Это он о чем?» — насторожился я. Но капитан по-прежнему улыбался, как добрый друг.

— На фронте события каждый день. Что вы имеете в виду?

— В армии спрашивает старший, а младшему положено отвечать. Это вы, сержант, должны знать. Все-таки в двух училищах побывали. А я имею в виду вот что: окружение, плен.

Улыбка не сходила с пухлых губ начальника особого отдела. Он что, шутит? Но разве можно так глупо шутить?

— А вот вы и занервничали, покраснели, с чего бы это, сержант? Наша беседа проходит в дружеской обстановке, не так ли? — Он обмакнул ручку в чернильницу-непроливайку, вынул чистый листок. — Значит, так и записано: в плену и окружении не был.

Он ничего не написал, а просто вывел на листке какую-то загогулипу. Ему, по-видимому, очень правилась игра в кошки-мышки, в которой себе, конечно, он отводил роль кошки.

— Пожалуйста, не подумайте, что я на вас нажимаю. Я жду от вас только правды. На себя наговаривать не нужно. Говорите все как есть. Что было, то было. Скажите, а фашистские листовочки вы там почитывали?

— Фашистских листовок я не видел. Как-то над нашими позициями «юнкерс» сбросил три непонятных предмета. Они издавали страшный вой. И чем ближе к земле, тем громче. Но взрыва не последовало. Мы думали, что это бомбы замедленного действия, и долго лежали, не решаясь поднять головы. В конце концов оказалось, что «юнкерс» сбросил большой котел и два тракторных колеса...

Капитан захохотал. Он просто давился от смеха, его плечи заходили вверх и вниз.

— Очень забавный эпизод! Ну, уморил! — выдавил он наконец из себя. — Так вот, я вас спрашиваю вовсе не

о тракторных колесах и тем более не о свистящем котле. Вы утверждаете, что ни одной листовки не видели?

— Листовки вообще-то видел, но эти листовки были нашими. Их бросил советский самолет для немецких солдат на немецком языке.

— А что это был за самолет, который бросал листовки? «Як», «дуглас», «пешка»? Или это был все тот же «юнкерс»?

— Типа самолета не помню, но это был наш. Летчик просто не долетел до передовой или не учел направления ветра. В листовках говорилось о договоре между СССР и Англией вести совместную борьбу против фашизма...

Дернуло же меня за язык говорить об этих листовках, не имеющих никакого отношения к делу! Не хватало мне еще ляпнуть, что в тридцать седьмом году моего отца арестовали как английского шпиона.

Капитан пролистал бумажки до конца, снова открыл на середине.

— Итак, в плену и в окружении вы не были, вражеской литературы, с ваших слов, не читали. Откуда же все это у вас берется?

— Что берется?

— Да все эти разговорчики, которые вы ведете. Люди рвутся в бой, горят желанием сойтись с врагом в смертельной схватке, а вы их деморализуете. Дескать, БАО не боевая часть, а шарашкина контора.

Да кто рвется в бой? Может, этот капитан-особист? Или старшина Зеленый, пригревшийся возле своей Надьки-пекарши? Или Чекурский? Стоп... Кому же я говорил, что нечего корчить из себя героев перед джусалинскими девицами? Да только Зеленому и Чекурскому. Значит, кто-то из них донес! Впрочем, Чекурского я исключаю...

— Вы не только словами, но и действием разлагаете людей, — продолжал капитан тем же веселеньким тоном, каким рассказывают анекдоты. — Вам приказано проводить занятия с новым пополнением, а вы устраиваете полчасовые перерывы, балуете молодых бойцов.

— Этим молодым по пятьдесят. Одышка, желудочные язвы...

— «Желудочные язвы», — передразнил меня капитан. — Медицинская комиссия признала их годными. Вы врач? У вас есть особое мнение?

Я промолчал.

— Вы хотите подготовить нам неженков, белоручек,—

продолжал капитан. — Вам известны слова: «Тяжело в ученье — легко в бою»?

— Суворовские заповеди знаю. Но наша аэродромная рота в бой не пойдет. «Пуля — дура, штык — молодец» — сказано не для них. У них «топор — молодец, лопата — молодец». Они с детства привыкли к труду, будут строить хорошие капонеры, копать землянки. Наша часть так и называется: БАО. Она обслуживает, а не воюет.

— Вот-вот. Значит, сержант, я потерял с тобой время впустую. Откуда же ты набрался таких идей?

У меня давно уже закипала злоба; бомба замедленного действия, сидевшая во мне, отсчитала последние секунды и взорвалась.

— Откуда я набрался?! — закричал я, не узнавая своего голоса. — В плену, в котором я не был, в окружении, из которого не выходил!

— Люблю ершистых, — засмеялся капитан. — С нами проще, все на поверхности. Вспылят, надерзят и сразу расколются. А вот с тихопями, с молчунами повозишься, никак не узнаешь, что у них на уме. — Он не стыдился передо мною своего профессионального цинизма. — Так вот, сержант, ни в чем я тебя не обвиняю. Но хотелось, чтоб из беседы ты извлек пользу. Ни в каких этих самых разговорчиках участвовать не должен. А как услышишь, должен сразу же сообщить в особый отдел. Понял?

Я притворился, что ничего не понял, хотя понял все.

— Что же я должен делать?

— Ставить в известность о настроениях людей.

— Настроения людей всем известны. Мои бойцы тяжело привыкают к армейской жизни, тоскуют о доме: у всех много детей, переписки не имеют, так как не могут ни читать, ни писать. Ну а, к примеру, старшина Зеленый со мной своими настроениями не делится, лучше спросить у него самого.

Мне показалось, что капитан понял, почему я упомянул фамилию старшины.

— Да я не о том. Вражеская разведка не дремлет. Она засылает шпионов, диверсантов. Такие случаи бывали не раз. Тебе смешно, Фома Неверующий?

— Не смешно. Если узнаю, что готовится диверсия, сразу же явлюсь к вам.

Я не кривил душой, именно так бы и поступил. Но доносить на товарища, как допесли на меня... Этого он от меня никогда не дождется.

Я вышел на крыльцо. В синем небе безраздельно господствовало яркое солнце, захватывая своими лучистыми объятиями весь мир. Легкий ветерок, гуляя по глинобитной улице, дышал зноем пустыни. У ворот школьного двора стоял старшина Зеленый и переговаривался с дневальным. Сутулая фигура старшины напоминала вопросительный знак.

— Это ты только идешь! — воскликнул Зеленый, который наверняка меня дожидался. — Долго же он тебя держал. О чем говорили, если не секрет?

— Обо всем понемногу. Толковали за жизнь. Была ознакомительная беседа о задачах БАО на текущий момент.

— И только-то, — протянул Зеленый. Его, конечно, интересовало, называлось ли его имя в нашем разговоре или нет.

До ужина было еще далеко, я построил свой взвод, и мы двинулись на плац. Теперь предстояло обучить бойцов основам караульной службы, скоро они должны были принимать присягу, получать оружие, заступать в караул.

Мне было известно, что боец Эргешев работал в своем колхозе ночным сторожем. С него-то я и решил начать. При всем взводе я затеял с ним такой разговор:

— Что вы в колхозе сторожили, Эргеш-ака?

— Сельмаг сторожил, правление сторожил. Куда председатель пошлет, то и сторожу.

— В армии тоже есть помещения и имущество, которые надо сторожить. Только сторож в армии называется часовым. Понятно, товарищи?

Все закивали. Вдохновившись, я продолжал:

— У часового есть только один начальник, вот я. Я привожу его на пост и увожу с поста. Никого больше часовой не должен к себе подпускать. Ни командира части, ни брата родного. Всех, кто к нему приближается, он останавливает окриком: «Стой, кто идет?»

— Стой, кто идет? — охотно повторил боец Эргешев, которому я, как профессиональному охраннику, доверил пост № 1 у телеграфного столба.

Я отмерил пятьдесят шагов, поставил рубежный камень и сказал, чтобы ближе этого места он никого не подпускал. Но не тут-то было. Эргешев никого не останавливал, те, кого я посылал, спокойно к нему подходили. И все другие «часовые» вели себя с «нарушителями» точно таким же образом. Их реальное мышление не вос-

принимало условностей, абстракций. «Какой мне враг Камбаров? — рассуждал «часовой». — Ведь с Камбаровым я ем из одного котелка и сплю рядом. Почему я должен останавливать его грубым окриком «Стой!», если он идет ко мне? Какой вред он может причинить столбу, который я зачем-то охраняю? Вон сколько столбов в степи, подходи к любому! Нет, уж пусть сержант сам играет в эту игру, которую для нас придумал!»

Но я не терял надежд. Я был уверен, что, когда тому же Эргешеву вручат боевую винтовку и доверят охранять самолетную стоянку, он увидит, как важен объект, как вероятно угроза нападения, и будет держать себя на посту совсем по-другому...

В чем был прав капитан из особого отдела, так это в том, что я действительно жалел своих старичков. И вовсе не потому, что я уродился каким-то сердобольным. Мне никогда не было жаль себя, мне не было жаль своих товарищей из Харьковского пехотного, когда мы бежали с этой неудобной минометной трубой, натравившей нам спину до самых костей, когда, падая от усталости после тяжелейшего броска, доползали до столовой и ложка не лезла нам в рот. Никто из нас не нуждался в жалости, мы пошли добровольцами, мы не боялись трудностей, мы были живучи, спортивные, молоды, нам было по восемнадцать, а не по пятьдесят...

Занятия со своими старичками-киргизами да беседа с весельчаком капитаном из особого отдела были наиболее яркими событиями моей джусалинской жизни. Ну и потом — отъезд. Длинный эшелон стоял на запасном пути долго — три дня. И хотя основную матчасть для обслуживания боевых авиаполков нам должны были дать уже в прифронтовой полосе, всякого имущества набралось на полтора десятка вагонов. Провожало нас все население поселка, состоящее в ту военную пору в основном из женщин. На перроне объятия, целования, трогательные прощания, — обнаружили какие-то незаметные раньше связи, за время своего стояния в Джусалах личный состав БАО оброс немалыми знакомствами. Некоторые жительницы не провожали, а уезжали с нами, они определились работать поварихами, кладовщицами, прачками, официантками, для вольнонаемных был выделен целый вагон. Среди них была и Надька, подружка старшины Зеленого, крупная, уже немолодая женщина с мощным торсом.

Ровно год назад, в курсантском эшелоне, я ехал тем же маршрутом, поэтому вторая поездка не оставила осо-



бых впечатлений, они наложились на старые и растворились в них. Так же, как и тогда, тащились со скоростью черепахи, больше стояли, чем ехали. А если останавливались, то это всерьез и надолго. Поступил приказ возобновить обычные занятия. Связисты сидели в машинерадиостанции, закрепленной на открытой платформе, и отстукивали свои точки и тире. Начхйм Шиленко проверил с десятков имевшихся противогазов и даже в одном из вагонов, наполовину загруженном кирками и лопатами, затеял провести окуривание. Ну а я на остановках со своим взводом занимался строевой. И не без гордости отмечал, что мои бойцы заметно лучше слушаются команд, да и выглядят если не совсем молодцевато, то, во всяком случае, поприличнее: животы заметно втянулись под брезентовые пояса, могучие задницы-монолиты поубавились в окружности, — сказывалось здоровое влияние обезжиренной, селедочно-гороховой диеты при сухарях.

Словом, после сухого завтрака хорошо уже мечталось об обеде: горячую пищу варили раз в день. Как назло, когда приближалось обеденное время, наш тихоня-поезд набирал скорость, и в ожидании остановки приходилось затягивать пояса потуже. Своим заместителем по продовольственной части я назначил Тохтасыпова, самого почитаемого в моем взводе аксакала. Дождавшись наконец остановки, Тохтасынов вместе с Омурзаковым и Эргешевым отправлялся в середину состава, к вагону пищеблока, где в двух походных кухнях варили на весь эшелон.

Терпеливо выстояв очередь у раздаточных дверей, наш продовольственный начальник важно, с сознанием высокой ответственности, возвращался назад. За ним, отступив на полшага, точно ассистенты при знаменосце, следовали его помощники, неся в руках бачки с горячей пищей, сахар и сухари. Поднявшись в наш вагон, Тохтасын-ака приступал к отправлению своих почетных обязанностей. Любо-дорого было на него смотреть в такие минуты. Он брал в руки половник и начинал раскладывать еду на сорок шесть порций. Работал он сосредоточенно, с чувством, с толком, с остановками на размышления, требуя при этом неукоснительного порядка и спокойствия. Тех же, кто, потеряв терпение, пытался просунуть свои котелки поближе к раздаточному бачку, Тохтасын-ака ставил на место, казалось бы, простым, но весьма убедительным приемом. Он неторопливо вынимал из бачка свой разводящий инструмент, облизывал его со всех сторон и вдруг резким, решительным движением на-

носил навязчивому едоку удар прямо в лоб. Нарушитель порядка, с большим опозданием осознавший свою ошибку, поспешно убирал котелок.

Пресекая попытку неповиновения, Тохтасын-ака невозмутимо продолжал свое дело. Он принимался делить сухари. Попеременно брал кучки в обе руки, двигал плечами вверх, вниз, определяя вес, каким-то чутьем угадывал, где больше, где меньше.

А казахстанские просторы, казалось, никак не хотели выпускать нас из своих потных объятий. И даже когда колеса состава отстучали по мосту у Саратова, пустыня еще долго дышала нам вслед иссушающим жаром своих легких.

До фронта было еще далеко. В Ельце состав загнали в тупик, объявили, что приехали. Пошли разговоры, что командир БАО пытается связаться с высоким авиационным начальством, которое должно определить нам аэродром обслуживания. Аэродрома пока не дали, а показали на карте какой-то лесок, где нам надлежит находиться до особого распоряжения. Разгружались на станции всю ночь, что-то передавали какой-то комендатуре. Полдня ждали, а потом двинулись из Ельца по пыльной дороге, выходящей между жиденьких лесочков, и все гадали, который из них наш. Сухая, потрескавшаяся земля жаждала влаги, молоденькие березки тянули вверх печальные ветки, словно прося милости у того, кто волен ниспослать дождь.

На закате добрались до места, землянок копать не стали: зачем они, если завтра отсюда уйдем? Наломали зеленых веток, укрылись шинелями. Я выставил часовых.

Утром над нами появились бомбардировщики. Я не видел желтокрылых «юнкерсов» больше года и ничуть по ним не соскучился. Все очень резво разбежались, будто тренировались прятаться от бомбежки не один раз. Перепуганный пасмерть Чекурский крикнул:

— Вы же говорили, товарищ сержант, что на фронте не будем! А вот бомбят!

Ответить я не успел. Он проворно сунул голову под вещмешок, отгородившись таким путем от внешней опасности.

По старой воронежской привычке я лежал на спине и глядел в небо. Зажмурившему глаза или уткнувшемуся носом в землю кажется, что бомбы летят прямо в него, он психует всю бомбежку. Смотрящий же вверх оценива-

ет реальную обстановку. Я видел, что опасности сейчас нет: хотя «юнкеры» разворачивались над нами, но бомбили что-то впереди. Частые взрывы сливались в один свистящий, раскатистый грохот. Удушливый запах гари вползал под кроны деревьев — неподалеку полыхал пожар.

Но вот донесся последний одинокий взрыв, самолеты улетели. Я сбил вещевой мешок с головы Чекурского, крикнул ему в ухо:

— Ау, ефрейтор, подъем! Бомбежка копчилась!

Не открывая глаз, Чекурский ощупывал себя растопыренными пальцами, пытаюсь убедиться, помер он или еще жив. Со всех сторон стали появляться люди. Перепуганные, но довольные. Как-никак пережили первую бомбежку. Сами себе они казались чуть ли не героями. Позже всех возник старшина Зеленый, где-то уж очень плотно прятался.

— Ну и вояки! — усмехнулся он, имея в виду не наших, оказывается, тыловигов, а немецких летчиков. — Бросали, бросали, а в нас не попали. Все мимо и мимо...

— Куда целились, туда и попали, — сказал я. — Смотрите, что натворили.

Соседний лесок полыхал ярким оранжевым пламенем, оттуда доносились глухие взрывы. Из бушующего огня стали выползать тридцатьчетверки. Стервятники вовсе не хотели убить старшину Зеленого или ефрейтора Чекурского. Они накрыли в том леске танковую колонну.

После завтрака батальон тронулся в путь. А мне с шестью бойцами велели охранять оставшееся имущество, которое лежало на станции. Мы вернулись в Елец, где я выставил круглосуточный караул длиною, как оказалось, в пятнадцать суток.

Только через полмесяца за нами прикатил на трехтонке старшина Зеленый, сказал, что БАО уже обслуживает боевой авиаполк. То, что осталось из имущества, сдали транспортной комендатуре, и старенький ЗИС потащил нас по накатанной грунтовой дороге.

Отогнанная на запад война повсюду оставила зияющие шрамы. На полях чернела побитая техника, во все стороны уползали изъеденные дождями и ветрами окопы, вдоль дорог валялись опрокинутые противотанковые надолбы, оборванные клочья колючей проволоки. Проезжали мимо спаленных деревень, их вид был печален и страшен. На пепелищах, как памятники загубленной жизни, торчали закопченные русские печи. Потом из зи-

яющих провалов зданий, из пустых оконных глазниц совершенно разрушенного города Ливны медленно выползли тревожные сумерки.

Пора было подумать о ночлеге. За Ливнами старшина Зеленый увидел чудом уцелевший стог сена. Съехав с дороги, неожиданно обнаружили, что стог обитаем. Вокруг покрытых охапками сена дальнобойных орудий сидели и лежали артиллеристы. Решили дальше комфорта не искать, расположились прямо в кузове ЗИСа. Но спали плохо. С наступлением темноты на дороге, откуда ни возьмись, появились танки, зацокали копыта лошадей, слышались притглушенные команды стрелковых командиров. Армия шла к фронту.

Я вспомнил наш многодневный переход к Воронежу, измотанную вконец минометную роту, падающих от усталости ребят, палящее солнце, сбитые ноги, отставшие кухни... И подумал: хотел бы я снова быть среди тех, кто шагает мимо меня по дороге, начав отсюда, от Ливен, от Ельца, такой же страшный марш на фронт?..

На следующий день мы добрались до аэродрома. На самолетной стоянке первым делом встретил Чекурского, который сообщил, что меня очень ждет начальник штаба лейтенант Сомов.

Штабная землянка находилась, по лесным масштабам, совсем рядом: через четыре сосны и три березы. Лейтенант сидел за грубо обструганным столом и писал. Я бодро шагнул вниз с земляных ступенек и ударился головой о низкий потолок.

— Что стучишь? Ко мне можно и без стука, — пошутил лейтенант, но, заметив, что я потираю темя, участливо спросил: — Больно? К шишке надо прикладывать пятак, этому меня еще мама учила. Только где теперь, по военному времени, взять пятак? В моем кармане самая маленькая бумажка — тридцатка, а пятаков вовсе нету. Но тридцатка по материалу, а пожалуй, и по стоимости прежнего пятака не заменит. Возьми-ка со стола гильзу, прижми шляпкой к шишке.

— Ничего, уже прошло, — сказал я, смущаясь своей неловкости. — Вы меня искали?

— Искал. Как я тебе обещал, к нам пришли зенитные пулеметы. Четверенные американские «кольты». Но пока есть для тебя более срочное дело. Опять в дорогу. На сборы два часа. Но как давно подмечено, солдату собраться, только подпоясаться. Ты о ложных аэродромах слышал?

— Да, слышал.

— Так вот, назначаешься комендантом ложного аэродрома, или, бери выше, начальником гарнизона. Правда, гарнизон будет невелик — ты да два бойца, на твой выбор. На площадке многое уже сделано, остальное доделаешь сам. Задача — создавать видимость действующего аэродрома. Светомаскировку не соблюдать. Патронов не жалеть. Ракет — тоже. Если аэродром подвергнется налету, ждет тебя медаль «За боевые заслуги». Это я тебе обещаю. Сам напишу представление. Задание ясно? Действуй!..

До места нас сопровождал командир моего зенитного взвода лейтенант Ятьков. Он ехал в кабине газика, а мы втроем полулежали на мешках и ящиках, которыми был набит кузов полуторки. Я взял с собой Тохтасынова и Эргешева, людей хозяйственных, работающих и спокойных. Наконец мы оказались на широкой полянке, к которой с трех сторон лепились перелески.

— Согласитесь, что местность очень напоминает наш аэродром, — сказал лейтенант, ожидая моего одобрения.

Я согласился, хотя настоящего аэродрома разглядеть не успел.

— Сам выбирал, — похвастался Ятьков. — Всю округу облазил и высмотрел. Авось немцы клюнут на пустышку и долбанут. Вот будет потеха!

— Это смотря для кого, — заметил я. — Для нас действительно смеху будет полный чемодан.

— Ну, вы тут как следует прячьтесь в щели, — посоветовал Ятьков. — Пусть твои люди разгружают машину, а мы пойдем поглядим.

На краю поляны были насыпаны четыре капонира, в них стояли макеты из жердей и проволочной сетки. Эти предметы, по своим контурам отдаленно напоминающие самолеты, держались на кольях.

— Что, не похожи? — спросил Ятьков, видя, что я не в восторге от качества исполнения. — Вблизи оно, конечно, совсем не то. А с воздуха от настоящих не отличишь. Три дня трудилось наше саперное отделение, вон сколько дров наломали в лесу!

Через полчаса лейтенант уехал, посчитав свою миссию исчерпанной. Нам же предстояло налаживать жизнь на пустом месте, в необитаемом лесу. Материальная база для обустройства у меня была несколько беднее, чем у Робинзона Крузо, зато я был вознагражден сразу двумя Пятницами. Они тут же сбросили гимнастерки и, по-

плевав в кулаки, начали рыть котлован под землянку. А я занялся вооружением. Тут уж начальник штаба Сомов не поспешил, его девиз: «Патронов не жалеть!» — был подкреплен вескими вещественными аргументами. Дали два трофейных ручных пулемета «МГ-34», автомат «парабеллум», три ракетницы с набором разноцветных ракет. Ну, а боеприпасами нас обеспечили на всю войну вперед.

Разобравшись с оружием, я выкопал щель, где можно было укрыться в случае воздушного налета. Срезал в лесу две толстые рогатины, забил их по обоим концам окопа. Прикрепил к ним за сошки пулеметы, получилось что-то вроде зенитных установок. Опробовал пулеметы, они работали безотказно, да и сектор обстрела был хорош: все небо. Тем временем мои помощники Тохтасынов и Эргешев закончили строительство нашего жилища, покрыли крышей, оставили окошко с видом на «взлетную полосу».

В последующие дни занимались оборудованием «аэродрома». Закопали дырявую цистерну от бензовоза, вокруг разбросали пустые бочки, будто это склад ГСМ. Устроили «метеостанцию»: пустые ящики, вымазанные белилами, поставили на тумбы, вроде там внутри находятся всякие приборы, на большом шесте повесили полосатый матерчатый чулок, раздувавшийся на ветру, как флюгер. Не трудно было изобразить и взлетно-посадочную полосу. Из парусиновых полотен выложили знак «Т», вдоль его прикопали ночные фонарики — гильзы из артиллерийских снарядов, наполненные соляной жидкостью.

Через недельку мы из строителей превратились в эксплуатационников. Для личного состава я установил свободный распорядок дня. Подъем — по настроению. Зарядка для лиц старше двадцати — необязательна. Водные процедуры — по потребности. Из родничка, вытекающего в десяти шагах от землянки, я умывался по пояс, Тохтасынов и Эргешев совершали лишь символическое омовение — опускали в воду кончики пальцев, и то не каждое утро.

Наш повар Эргешев с утра разводил костер. В одном котелке варил пшеничную кашу из концентрата, в другом кипятил чай. С кашей мы управлялись быстро, зато чаевничали не торопясь, согласно восточным традициям, кейфовали. Мои товарищи вели собою душевные беседы; прислушиваясь, я понимал, что они все больше говорят о доме. Впрочем, больше говорил Тохтасынов, а Эргешев, сохраняя должностную гражданскую дистан-

цию, согласно кивал и вставлял отдельные реплики, когда бывший заведующий конетоварной фермой делал паузы.

Я полагал, что мои помощники все еще не очень ясно представляют, зачем мы приехали в этот дальний лес. В первый раз, увидев в капонирах какие-то чучела вместо самолетов, они долго смеялись, взявшись за руки. Им показалось, что опять затевается что-то весьма забавное, вроде игры в караул в чистом поле у телеграфных столбов.

— Не хватает только мячиков, чтобы кидать друг другу, — заметил Тохтасынов.

За чаепитием я вспомнил о том разговоре и сказал, что мы и на самом деле участвуем в игре.

— Только играем с немцами и, как в каждой игре, хотим схитрить. Надеемся, что немецкие летчики не разберутся, решат, что здесь настоящий аэродром, и сбросят бомбы.

— На нас? — удивился Тохтасынов.

Эргешев было засмеялся, но, заметив, что старший товарищ весьма тревожно отнесся к моему сообщению, умолк.

— Не думаю, что они будут бросать бомбы, — сказал аксакал после тягостных раздумий, — как же летчики заметят нас в лесу?

Мысли о том, что они примут наши чучела за настоящие самолеты, он не допускал.

Я тоже считал это маловероятным, восторгов лейтенанта Ятькова не разделял. Разве может клюнуть вражеская авиаразведка на неуклюжие чучела в капонирах, на пестрый чулок, болтающийся на длинной палке, на прочий примитив? Мне казалось, что ложный аэродром надо было оборудовать солиднее. Неплохо, чтоб для приманки здесь хоть изредка садились настоящие самолеты или на худой конец совершали облет зоны над «аэродромом». Тогда бы еще куда ни шло...

Днем делать нам было просто нечего, я лежал на лужайке в чем мать родила, загорал. Шершавая трава приятно щекотала кожу, зудевшую от укусов и расчесов. Если бы не эти укусы, я бы чувствовал себя прямо в раю. И никаких других проблем. Раскачивающиеся верхушки берез чуть не доставали до самого неба, по которому плыли кудрявые облака. Если иметь немножко фантазии и уйму времени, то можно разглядывать их, как загадочную картинку в журнале «Пионер», когда среди штрихов и линий просят отыскать фигурку охотника с собакой или

всадника на коне. Ну вот, нашел! Конечно же, это охотник проплывает как раз над моей головой, только борода, как у сказочного Черномора, почему-то больше туловища. А вон то облако на краю неба вполне можно принять за собаку. Правда, она далеко отстала от своего хозяина и теперь пытается его догнать. Но не догоняет. Собака-облако распыляется, сначала исчезают ноги, потом голова, и теперь это уже не собака, а карта Франции. Отчетливо видно, как на северо-западе Франции выступает в море полуостров Бретань...

А кругом ни души. Никто не проедет, не пройдет. Лишь в лесу шелестит трава да скрипят на ветру сухие сучья. А загадки-облака уже не видать. Уплыло далеко на запад, и теперь на него глазеет из своего окопа какой-нибудь немец. Что там на фронте? Газет мы не читаем, писем не получаем, репродуктора в лесу, понятно, нет. Судя по всему, на нашем участке полное затишье. А войска идут...

— Сержант, чаю хочешь? Только что заварил, — слышу из-за кустов голос Эргешева.

— Иду!..

И опять гоняем бесконечные чаи за неторопливой беседой...

Работа начинается с наступлением сумерек. Тохтасынов и Эргешев идут зажигать светильники на «взлетно-посадочной полосе». Это чтоб фашисты думали, что здесь ждут возвращения своих самолетов. Выпускаю ракеты, красные и зеленые, в любом порядке и в любом количестве, как бог на душу положит. В десять вечера, как по часам, в небе возникает вой чужих моторов. Мои киргизы срочно гасят фонари, а я открываю огонь, перебегая от пулемета к пулемету. Стреляю туда, откуда слышится гул. «Патронов не жалеть!» Все небо расцветивают трассирующие очереди...

Навестили нас лейтенант Ятьков и старшина Зеленый. Старшина привез нам сухой паек на следующую декаду, а лейтенант передал, что командование нашей работой довольно, мы даже раньше зенитчиков обнаруживаем вражеские самолеты и открываем огонь.

— Только вот нас не бомбят, — вздохнул лейтенант.

«Нас или вас? Что вас не бомбят, то вы, наверно, не больно тужите», — подумал я, а вслух сказал:

— Возможно, они уже разобрались, что здесь ложная площадка. А если это так, то мы приносим не пользу, а вред. Работаем вместо заброшенных диверсантов, они ле-



тят на наши огоньки, на ракеты, спокойненько сверяются с курсом и выходят на цель. Вот выведем их на настоящий аэродром, будет дело! Может, нам уже пришла пора свертываться?

— Как это свертываться! — испугался Ятьков. — Без приказа командования? Работайте, как работали. Счастливого оставаться!

Оставаться на ложном аэродроме нам было теперь отмерено совсем немного: одну ночь...

Уже пролетели назад фашистские самолеты, отметались по небу огненные пулеметные трассы, погасли над «аэродромом» красные ракеты, освещавшие наши уродливые макеты мертвенным сиянием. Мои помощники затушили лампы и ушли спать. На ночь я, как обычно, занес в землянку пулеметы, а сам поднялся на верхнюю ступеньку, закурил.

Взошел месяц. Верхушки деревьев, облитые серебром, застыли в безветренном спокойствии. И вдруг послышалось, что кто-то сдавленно кашлянул у меня за спиной. Я оглянулся. Куст орешника, росший возле пулеметного окопа, медленно двигался на меня. Да что за чертовщина! Надо же такому померещиться! И вдруг куст отлетел в сторону, я увидел трех солдат, наставивших на меня автоматы. Солдаты были одеты в нашу форму. Свои!

Когда я поднял руки, из-за дерева вышел капитан.

— Есть ли здесь еще люди? — грозно спросил он.

— Есть. — Я крикнул киргизам, чтоб они выходили из землянки.

Капитан стукнул меня по голове рукояткой пистолета.

— Говорить только по-русски!

Появились Тохтасынов и Эргешев. Заспаные, на смерть перепуганные, обсыпанные соломой, в нижнем белье, они напоминали выходцев с того света.

— Кто такие? — закричал капитан, тыча в грудь пистолетом. — Диверсанты, дезертиры, вражеские лазутчики? Обыскать!

Несколько солдат кинулись ко мне.

— Командировочное предписание в верхнем кармане, — предупредил я.

Один из солдат вытащил бумажку, передал капитану. Тот осветил фонариком.

— Ах вот в чем дело! — упавшим голосом протянул он. — Значит, посланы для работы на ложном аэродроме. Так у вас тут ложный аэродром? Опустите руки, сержант.

Капитан еще раз пробежал бумажку, вернул мне.

— Выходит, зря мы тут четыре ночи на брюхе ползаем, вас ищем.

— А чего нас искать? Мы никуда не прячемся. Наоборот, всячески себя выявляем. Для этого тут и сидим. Каждый вечер палим из пулеметов и пускаем ракеты. Ну а днем наши аэродромные сооружения видны за сто верст.

— Ладно, товарищи, пойдём! — обратился капитан к своим солдатам. — Плакали наши медали! Эх, поймали бы шпионов, получили бы по «БЗ»!

Я утешил капитана:

— Сам в таком положении. Если б немцы разбомбили наш аэродром, тоже были бы с такими наградами.

— Знаешь, сержант, никогда не стрелял из немецкого пулемета. Дай напоследок пальнуть.

Я вынес из землянки пулемет, закрепил на деревянной рогатине. Капитан спрыгнул в щель, прижал приклад к плечу. Длинная очередь разорвала ночную тишину. А капитан все стрелял и стрелял, никак не мог оторваться...

В эту рваную ночь я почти не сомкнул глаз. Раскалывалась голова: капитан в предвкушении своей медали очень сильно хватил меня своим пистолетом. На рассвете вдруг застучало в висках, зашумело в ушах. Я вышел из землянки вдохнуть свежего воздуха. Шум не проходил. Наоборот, возникнув, он набирал силу. Казалось, ничего в мире уже не существует, кроме этого страшного всеохватывающего гула. Качнулись верхушки деревьев, вздрогнула земля...

Я не знал тогда, что в этот предутренний час заговорили сотни и сотни батарей. Начиналась великая битва на Курской дуге...

## **ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, ЗАПИСЬ ОДИННАДЦАТАЯ...**

«Зачислен воздушным стрелком самолета Ил-2 2-й авиаэскадрильи 451-го штурмового авиаполка, Февраль 1944 г.»

На дорогах войны меня потеряла мама...

Ее письма, заблудившись в лабиринтах полевой почты, приходили назад в Ашхабад, на тихую улицу Кемине, с пометкой: «Адресат выбыл».

Как выбыл? Куда?

А я просто не знал, как все объяснить маме...

Завьюженным февральским днем я сел в заднюю кабину «ила», из которой только что вытащили раненого Севу Макарова, воздушного стрелка. И я полетел вместо него. С тем же летчиком — лейтенантом Иваном Клевцовым. Шла вторая неделя моего пребывания в штурмовом авиаполку. Инженер эскадрильи принял у меня экзамен по пулемету и прицелу, и теперь я ходил со всеми воздушными стрелками на аэродром, провожал их в полет, встречал, жадно слушал рассказы о том, что было там, в небе. И ждал. Но комэск Александр Кучумов считал, что лететь в бой мне пока рановато.

Теперь же, у летной землянки, где толпились в ожидании вылета летчики и стрелки, комэск поздравил меня и сказал:

— Сейчас полетишь. Конечно, надо бы тебе еще потолкаться на земле, пообвыкнуть, напитаться нашим авиационным духом. Но видишь сам, что случилось с Макаровым.

Лейтенант Клевцов, который стоял рядом с комэском, добавил:

— Ничего, парень, не тушуйся. Авиация непредсказуема, но дважды подряд в одной и той же кабине такое повториться не может.

Он попытался улыбнуться. Улыбка получилась деланной, неживой. Мыслями он был еще там, в небе, от боя не отошел; пальцы его заметно тряслись, ему никак не удавалось уложить карту за целлулоид планшета.

Погода немного улучшилась, теперь дали вылет всем трем эскадрильям. Мы побежали к капониру, впереди Клевцов, за ним я.

...То утро выдалось хуже не придумаешь. За набрякшими тучами долго прятался рассвет, на завтраке в летной столовой все были уверены, что полетов не будет. Но дали получасовую готовность, пришлось отправляться на аэродром. Комэск Александр Кучумов, полетевший на разведку погоды, вернулся с плохими вестями: ближе к передовой туман густел, закрывал землю.

Летчики, собравшиеся на КП, бросились к землянке летного состава, чтобы устроиться на нарах поближе к ярко пылающей печке, поваляться, поспать. А стрелки, места которым, как всегда, не досталось, уселись в проходе играть в «двадцать одно» на щелчки и сигареты. На деньги здесь не играли: общественное мнение землянки

считало, что выигрывать деньги у товарища, с которым летишь в бой, предосудительно и аморально.

Порывы ветра доносили до летной землянки гул артиллерийской канонады, в маленьком, подслеповатом оконце звенели плохо закрепленные стекла. Застрявшие в корсунь-шевченковском котле гитлеровцы, собрав ударный кулак, пытались на узком участке вырваться из окружения. А штурмовики, кляня непогоду, сидели на земле...

В полдень, когда тучи чуть приоткрыли затянутый мглою рваный горизонт, полетели четыре штурмовика нашей 2-й эскадрильи. Пошли только двумя парами, чтоб не столкнуться в густом тумане.

Потом привезли обед. Официантки Шура и Катя внесли в землянку коробку с посудой, бачки и термосы. Под низким бревенчатым потолком поплыли густые аппетитные запахи. Дремавшие на нарах быстро спрыгнули на пол, стряхивая с меховых комбинезонов налипшую соленому.

— Сегодня у нас пельмени! — торжественно объявила Шура. — Чтобы побаловать наших соколиков, всю ночь лепили...

Сели за длинный дощатый стол, врытый ножками в землю, вооружились ложками, вилками. И тут послышался приближающийся шум моторов. За обледенелым окном землянки кто-то радостно крикнул:

— Идут!

Все выбежали наверх, забыв о пельменях. После копоты и духоты землянки морозный воздух ударил в лицо, вскружил голову, наполнил легкие свежестью. Из-за низких пепельно-серых облаков стали вываливаться «илы». А вскоре четыре машины, отчаянно тарахтя и взметая снежную пыль, подрулили к капонирам. Три экипажа спрыгнули на землю, стали отстегивать парашюты. Летчик четвертой машины, лейтенант Клевцов, вылез на плоскость, открыл фонарь стрелка и отчаянно замахал руками. Дежурившая на КП санитарная машина примчалась к посадочной полосе. Сева Макаров недвижно висел на ремне, откинувшись головою к бронеплите бензобака. Полковой врач майор Борис Штейн стянул с руки воздушного стрелка перчатку-крагу, пащупал пульс.

— Жив, — сказал он. — Пока жив. Тяжелая контузия. Видно, где-то совсем рядом разорвался снаряд...

Всеволод был совсем плох. Из его носа, рта, ушей стекали алые струйки крови.

Когда я забрался в кабину, то всюду увидел кровь. Бурые пятна расплозились по полу, застыли капельками на холодной стали турели, на створках металлических ворот, отделяющих кабину стрелка от хвостовой части фюзеляжа. Я почему-то подумал, что если меня тоже ранят, то трудно будет разобрать, где чья кровь.

Клевцов опробовал мотор, вырулил на взлетную полосу, прибавил обороты. Штурмовик встрепенулся, как расстреноженный боевой конь, набрал силу и помчался вперед, подскакивая на обледенелых кочках. Еще мгновение, и машина, оторвав от земли свое гладкое тело, взмыла вверх — догонять группу, которую ведущий комэск Кучумов выстраивал пеленгом над аэродромом.

«Только бы не опозориться в первом же вылете, только б не подпустить «мессершмитт!» — больше ни о чем я и не думал.левой рукой вцепился в ручку турели, правым плечом прижал к щеке тело крупнокалиберного пулемета. Но почему так режет глаза? Потоки воздуха, завихряясь, врывались под фонарь, поднимали всякий сор с пола кабины, швырялись в лицо, выбивая из глаз слезу. Я не мог различить ни земли, ни неба. А вдруг появятся «мессера»? Как их углядеть, как в них стрелять? А ведь в Фергане в летной школе ничего похожего не было, я летал совершенно спокойно. Да что там, были другие ветры, другие скорости? И вдруг меня осенило: тогда же я летал в очках! Тьфу, черт возьми, так очки у меня на лбу, вот растяпа! Расскажешь ребятам — засмеют...

Впрочем, я догадался опустить очки, когда уже ударили зенитки.

Сначала снаряды рвались левее. Но вот белые клочковатые шапки появились правее, выше, выглянули из-под хвоста самолета. Со всех сторон к нам подступала сплошная стена расколотого и расплавленного металла. Казалось просто чудом, что в небе еще оставалось непораженное пространство, где можно было продолжать полет. А я ничем не мог помочь летчику, мой пулемет молчал, стрелять было не по кому.

Пытаясь сбить с толку зенитчиков, спутать их расчеты, Клевцов то проваливал машину вниз, то ставил на хвост, то сваливал набок. Лейтенант тяжело и прерывисто дышал, я слышал неясные хриплые звуки в наушниках шлемофона. Потом донесся сухой треск, наверное, он сглотнул слюну.

— Заходим на цель! — услышал я голос лейтенанта. Меня крепко прижало к ремню, руки, ноги, голова па-

лились чугуном. Я подумал, что если сейчас появятся истребители, то невозможно будет повернуть турель.

Истребители не заставили себя долго ждать. Шесть тупорылых незнакомцев мирно прошли стороною, не обращая на нас никакого внимания. «Наверное, «лавочкины», — решил я. Истребители скрылись за грозовой тучей, но тут же я увидел их снова. Набрав высоту, они начали стремительно приближаться. В перекрестие оптического прицела я поймал ближний истребитель. Стрелять? А вдруг свой? Что делать? На раздумья — секунды!

В небе раскрылась красная ракета. Ее выпустил стрелок соседнего «ила» Николай Календа, тот самый, который притащил меня в полк. Еще на земле он обещал подать мне сигнал, как только появится враг. Значит, это вовсе не «лавочкины», а «фокке-вульфы». Я выпустил длинную очередь. Фашист не испугался, не отвернул. Я заметил, что на плоскостях «фоккера» замигал красный огонек, и понял, что он стреляет в меня из своих пушек и пулеметов.

...А по полевым почтам меня искала мама. А я молчал. И что скажешь? Поймет она меня или осудит? Да кто я теперь есть на самом деле? Патриот? Доброволец? Или, быть может, дезертир, как меня, паверное, числят в моем БАО?

Все вышло случайно, вроде бы само собой. Под Белой Церковью наш БАО обеспечивал боевую работу штурмового авиаполка из корпуса генерала Н. П. Каманина. У «илов» была горячая пора: они летали по несколько раз громить фашистскую группировку, окруженную под Корсунь-Шевченковским. На аэродроме я видел летчиков, вернувшихся только что из боя. Я искренне завидовал им: они делали настоящее дело. А у меня тянулись унылые тыловые будни: сидение за зенитным пулеметом у кромки летного поля, строевые занятия с нестроевым охранным взводом, от которых меня так и не освободили, хождение в караул...

Как-то под вечер в караульном помещении появился наш начальник штаба лейтенант Сомов, с ним два незнакомых человека, потом оказалось, что один из них адъютант командира штурмового авиаполка, а другой — воздушный стрелок по фамилии Календа.

— Примите арестованного, товарищ караульный начальник, — сказал мне Сомов. — За драку в столовой сержант Календа от самого командира полка получил пять

суток строгой гауптвахты. А поскольку в полку таковой не имеется, его прислали к нам.

У нас тоже не было никакой гауптвахты, я не смог припомнить случая, чтобы в БАО кого-нибудь сажали под арест.

— Где же держать арестованного? — спросил я.

Адъютант невесело вздохнул:

— Командиру полка и горя мало. Сказал — посадить, и все. А тут выкручивайся как знаешь! Не отменять же приказ майора, не вести же сержанта назад!

— Он может сидеть прямо тут, в караульном помещении, — сообразил лейтенант Сомов. — Куда, в самом деле, его девать?

— А это выход! — обрадовался адъютант. — Отберите у него пояс, товарищ начальник караула. И пусть сидит здесь, под вашим наблюдением.

Сержант Календа, слушавший весь этот разговор с чувством брезгливой скуки, будто речь шла вовсе не о нем, подал наконец голос:

— Я-то здесь при чем? Приказ командира — закон для подчиненного. Аксенов говорит: «Календа, тащи сюда этого жулика начпрода». Я притащил. Потом мой летчик говорит: «Хватит, отпусти!» Я отпустил.

— А пихать начпрода коленкой под задницу тебе тоже Аксенов приказал? — спросил адъютант с ехидцей. — А писать ему на лысине всякие гадости химическим карандашом тебя тоже летчик надоумил?

Вот оно в чем дело! От кого-то я уже слышал, что летчики побили нашего начпрода, толстяка Беклемашева. Унижение заносчивого интенданта, мнившего себя самой значительной фигурой во всем БАО, вызвало во мне чувство злорадства. Редко евший в ту пору досыта, я ненавидел всех, вкушавших от чужих порций и норм: продавцов военторга, кладовщиков, заведующих столовыми, прочих продовольственных начальников. Я посмотрел на Календу с уважением. Адъютант перехватил мой взгляд, насторожился.

— Чтоб никаких поблажек! — предупредил он. — Никакого панибратства! На прогулку — под ружьем! За нуждой — тоже под ружьем. А появятся тут всякие дружки-приятели — гнать вшаей!

Адъютант, сопровождаемый Сомовым, удалился, весьма довольный, что, славив проказника Календу на мое попечение, выполнил приказ командира полка.

— Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня! —

крикнул вслед офицерам Календа и разочарованно махнул рукой. — Ведь и вы не отворите, гражданин караульный начальник; полагаю, что на весь срок своего заворничества называть вас товарищем не имею права.

Голос Календы, звонкий, высокий, почти женский, никак не вязался со всем его обликом. А был он могуч, крижист, широк в плечах, еще шире в бедрах, огромная голова сидела на очень короткой шее, нос картошкой, толстые губы, узкие глаза с хитрецей.

Щуплый Чекурский, мой постоянный разводящий, из дальнего угла наблюдавший за явлением сердитых гостей в караульное помещение, теперь осмелел. Он осторожно подошел к верзиле Календе и, глядя на него снизу вверх, спросил с напускной важностью:

— Не могли бы вы, сержант, проинформировать, что, собственно, произошло в столовой? Сейчас вы находитесь под нашим наблюдением, и караул должен быть в курсе дела. Между тем болтают разное.

— Болтают, — подтвердил воздушный стрелок, грузно опускаясь на табурет. Даже теперь, сидящий, он был на голову выше Чекурского. — Сам адъютант командира полка при вас заявил, что я хотел на лысине вашего толстяка срамное слово написать. А откуда он знает, что я хотел написать, если я ничего не написал? Что он, мои мысли читать научился? Не отрицаю, дал я начпроду пять пинков под задницу. За то, что он прятал от летчиков колбасу и сухофрукты. Причем, заметьте, имел на то прямое указание своего командира лейтенанта Аксенова. Но сердце, друзья, не камень, и мое в том числе. Когда начпрод стал пищать и извиняться, жалко мне его стало, черта старого. Вот я и решил нарисовать на его макушке волосы, поскольку он оказался совсем лысым.

Календа засмеялся, подошел к печке, распахнул куртку. Мы увидели на гимнастерке три ордена и медаль «За отвагу».

— О, какой вы заслуженный! — воскликнул Чекурский. — Расскажите что-нибудь о боевых полетах, поделитесь впечатлениями.

— Поделиться можно, отчего ж не поделиться? — молвил Календа со значительностью. — Есть вот такая авиационная присказка. Встречает на войне «як» «ила» и спрашивает: «Скажи, «ил», почему ты такой горбатый?» (А вы, наверно, заметили, что кабины летчика и стрелка нашего штурмовика возвышаются над фюзеляжем, действительно напоминают горб.) «Оттого, дорогой товарищ, —



отвечает «ил» «яку», — горб у меня вырос, что мне всех тяжелее в бою приходится». В общем, друзья мои, — продолжал Календа, — на «иле» летать, что со львом играть: и весело, и страшно. Так обстоят дела, если рассматривать вопрос в общем виде. Ну, а подробности для вас, аэродромно-наземной службы, будут неинтересны и, боюсь, малопонятны.

— Почему вы так думаете? — обиделся Чекурский. — Я часто хожу стартером, разрешаю вам взлет и посадку. А наш караульный начальник сам летчик, училище окончал...

Чекурский, сам того не ведая, высыпал горсть соли на мою незаживающую рану. Я все время искал случая поговорить со знающим человеком, как вернуться в боевую авиацию. А тут такая возможность!

Календа с пониманием выслушал мою историю.

— Вот пишу-пишу, а документов никаких. Подал штук тридцать рапортов, а толку?

— Толку и не будет, пока не бросишь эту писанину, — заключил Календа. — Какие сейчас документы! Война! Надо прийти в штаб нашего полка и попроситься.

— Так просто? — усомнился я. — А возьмут?

— Почему не возьмут? В бой хочешь лететь, не в начпроды просишься. Вот в начпроды устроить не могу: знакомств маловато, да и отношения испорчены. В летчики — тоже, потому как сам стрелок.

Я промолчал.

— Как это не возьмут? — повторил он. — Стрелков всегда не хватает. Стрелков гибнет в два раза больше, чем летчиков.

Календа сложил руки замком на затылке, потянулся до хруста в суставах и так широко зевнул, что казалось, у него заклинит скулы. Он перекрестил рот и продолжал:

— Спросишь, почему больше? Истребители всегда атакуют с хвоста, стало быть, весь огонь принимает на себя стрелок. Зенитки, правда, могут попасть в кого угодно. Но если убивают стрелка, то летчик долетает до аэродрома. Ну а если в воздухе убьют летчика, то что делать стрелку? А делать ему нечего, кроме как погибать за компанию со своим командиром.

Календа начал вспоминать всякие страшные истории и все поглядывал на меня с усмешкой, не испугаюсь ли я идти в стрелки. Но я уже принял решение...

Где-то я читал, что народник Сергей Нечаев, распропагандировав своего часового, убежал вместе с ним из кре-

пости. Кто кого в данном случае распропагандировал, я — Календу или он — меня, сказать трудно. На четвертый день знакомства караульный начальник и арестант бежали с гауптвахты. Впрочем, это сказано слишком громко. Я вполне официально сдал вахту менявшему меня старшине Зеленому, а вот Календу своей властью отпустил на день раньше. Сделать это было не очень сложно: в документах он не значился, а когда ему выходить, Зеленый не знал.

Деревня, где расквартировался полк, находилась километрах в шести от аэродрома. Казалось, она мало пострадала от оккупации. Над белыми домиками поднимался белый дымок, у рубленого колодца толпились женщины с ведрами, мальчишки лепили снежную бабу, по улице на санях проезжал однорукий возница. У приземистой перквушки Календа остановился.

— Видишь большой дом с голубыми наличниками? Это правление колхоза. Сейчас там штаб. Иди и доложи начальству. Командир полка у нас майор. К вечеру, после полетов, он всегда в штабе. Не ошибешься.

Я обомлел.

— Разве ты не со мной?

Как-то само собою предполагалось, что он приведет меня в штаб, представит. Иначе я б никогда не решился.

— Мне никак нельзя, — сказал Календа. — Я ведь не досидел на гауптвахте. Нарвусь на майора, а он у нас свиреп. И тебе хуже будет.

Я стоял в нерешительности: как поступить? Может, лучше вернуться, пока не поздно? Видя мои терзания, Календа подтолкнул меня плечом.

— В авиации нет обратного хода, это тебе не гужевой транспорт. Какой же из тебя стрелок, из боязливого? Ступай, ступай, все будет как надо. Знаю, что говорю. А потом зайди к нам, в общежитие стрелков. Четвертый дом от штаба, рядом с керосиновой лавкой.

В здании штаба жарко топились печи. В конце коридора я без труда отыскал обитую войлоком дверь, на которой все еще висела табличка с фамилией председателя колхоза. Пройдя пустую прихожую, заглянул в кабинет. На бывшем председательском месте, за большим письменным столом, сидел одетый с иголочки майор, в синем парадном кителе с золотыми погонами; на новенькой фуражке сиял авиационный «кרב». У приставного столика разместились, покуривая, капитан и старший лейтенант. Рядом с блистательным майором они явно проигрывали,

погоны у них были защитного цвета, гимнастерки хлопчатобумажные, на головах обычные пилотки с красноармейскими звездочками.

В углу у развернутого полкового Знамени стоял часовой в ватных штанах, заправленных в унты. Сначала мне показалось, что это девушка, из мотористок или оружейниц, но, приглядевшись, убедился, что это все-таки парень, с тонкими, почти девичьими чертами лица, румяными щеками и копной льняных волос, выбивающейся из-под шапки-ушанки. Рядом со Знаменем стояли два стеклянных шкафа, набитых сельскохозяйственными брошюрами.

Я стоял на пороге. Занятые оживленной беседой, летчики не обратили на меня никакого внимания. Впрочем, говорил один майор, два других офицера согласно кивали. Очевидно, шел разбор полетов.

— Видели ли вы с земли, как летает Волкогонов? — кипятился майор, отчаянно жестикулируя. — Вся группа здесь. — Он поднял руки над головою и плавно двинул ладони вперед, желая изобразить, как слетанно идет вся группа. — А где Волкогонов? Вон он где! — Майор отвел правую руку до предела назад, за стул, на котором сидел. — И тащится, и тащится... А тут «фоккера» выскакивают со стороны солнца. — Руки майора снова взметнулись вверх. С проворством мима он изображал воздушный бой. Вокруг зазевавшегося Волкогонова «фоккеры» выделяли всякие фортели — виражи, иммельманы, бочки, боевые развороты, — уж очень забавно все это у майора получалось. Мне даже показалось, что майор в своей солидной должности командира полка выглядел несколько игривым и восторженным.

Так, наверное, казалось и всем присутствующим в штабе. Капитан, прикрыв ладонью рот, прятал улыбку, а старший лейтенант, отворотясь от майора, перемигивался с часовым, стоявшим у Знамени. Но занятый своим делом майор ничего этого не видал.

Воздушный бой, как и следовало ожидать, закончился тем, что Волкогонова сбили, майор утомился и смолк. Воспользовавшись паузой, я щелкнул каблуками, приложил руку к виску.

— Товарищ майор, разрешите к вам обратиться!

Майор поднял бровь.

— Ко мне? Разрешаю.

— Прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы!

— В мое распоряжение, для прохождения службы?— удивился майор. — А кто вы, собственно, будете? Санструктор, фельдшер, медбрат?

— Почему вы думаете, что я медбрат?

Майор развел руками. С минуту мы растерянно глядели друг на друга. На выручку пришел капитан.

— Объясните толком майору, откуда вы взялись, кто вас прислал.

— Меня прислал воздушный стрелок сержант Календа. Он рекомендовал...

Взрыв хохота потряс кабинет.

— Рекомендация такого человека очень много значит, — отхохотавшись, сказал капитан.

— Это очень солидная фигура, — подтвердил старший лейтенант. — Так зачем же Календа направил вас к товарищу майору?

В двух словах я объяснил, кто такой, и сказал, что хотел бы летать воздушным стрелком. Майор, почему-то смутившийся при моем обращении, быстро пришел в себя, к нему вернулась прежняя лихость.

— А с воздушной стрельбой знакомы?—спросил он.— Ах да, ведь вы работали на счетверенных «кольтах». Так вот ответьте, какое надо брать упреждение, если «Фокке-Вульф-190» заходит на вас под ракурсом две четверти?

Никак не ожидал, что мне сразу будут устраивать экзамен. Да кто? Сам командир полка! Но что делать?

— Если бы я стрелял с земли, то брал бы упреждение в два корпуса истребителя. Но при воздушной стрельбе необходимо еще учитывать скорость собственного самолета. Мне трудно сейчас сказать, но я обещаю быстро выучить таблицы. Стреляю я хорошо.

Майор одобрительно кивнул.

— Позвольте еще вопросик. Какая разница между «Хейнкелем-111 Н» и «харрикейном»?

Проверяет на сообразительность или хочет сбить с толку?

— Разница большая, — ответил я, ожидая подвоха.— «Хейнкель-111 Н» — немецкий бомбардировщик с экипажем в четыре человека. А «харрикейн» — одноместный английский истребитель. Слышал, что «харрикейны» воюют где-то на севере. На нашем фронте их не встречал.

Майор откинулся на спинку стула, сказал капитану!

— А что, Кучумов, смотрите, конечно, но парень мне определенно нравится. Окончил летную школу. Фронт-

вик. Зенитчик с большим опытом. В вашей эскадрилье ведь не хватает стрелков. Возьмете?

— Пожалуй, возьму, — согласился командир эскадрильи. — Только вам, сержант, сначала нужно зайти в строевой отдел к лейтенанту Фролову. Завтра с утра. Сегодня уже поздно.

— А со здоровьем как? Надеюсь, у вас все в порядке? — спросил майор и тут же меня немало озадачил: — Прямо из строевого отдела загляните ко мне. Я вас лично осмотрю. Вопросы есть?

— Зайти к вам? — Я замаялся. — А как быть с моим БАО?

— Понятно, — улыбнулся капитан Кучумов. — Командировочного предписания у вас, как я понимаю, нет. Ну, ничего, завтра на аэродроме я поговорю с командиром вашего БАО. Не думаю, чтоб у него были возражения.

В общежитии стрелков меня заждался Календа.

— Ну как? — нетерпеливо спросил он. — Берут?

— Вроде бы да. Но знаешь...

Больше я не успел ничего сказать. Пришел тот самый парень, который стоял в штабе у Знамени. Календа решил представить нас друг другу.

— Вот Костя Вдовушкин — наш флагманский стрелок, летает с комэском. А это...

— Уже знаком, — усмехнулся Костя. — Присутствовал, так сказать, при явлении Христа всему штабному народу. Обхохотался до колик в животе. Терпежу нет, надо выскакивать на улицу, да как оставишь пост у Знамени! Да и потом разыгрывается такая забавная комедия, пропустить жалко.

— Что-нибудь делал не так? — насторожился я, чувствуя, что и у меня самого осталось какое-то странное впечатление от разговора в штабе.

На Вдовушкина опять напал приступ смеха. Он лег на стол, схватившись за края.

— Да ответь ты, Костя, человеческим языком! — крикнул Календа. — Что он там отмочил? Я ведь привел его в полк и за него отвечаю.

— Представляешь, Николай, — начал Вдовушкин, все еще давясь от смеха, — влетает он в штаб, там сидят два комэска — наш Кучумов и Зарубин. А с ними доктор Штейн, объясняющий им всякие сложности воздушного боя. В своих майорских погонах. Так вот он и начинает проситься, чтобы доктор принял его воздушным стрелком. Ну а Штейну что делать? Не признаваться же не-

известному сержанту, что он вовсе не командир полка, а полковой доктор. Вот Штейн и стал чудить. На полном серьезе подбрасывает вопросы о воздушной стрельбе, а тот отвечает. Просто умрешь от смеха...

— Так это был доктор! — дошло до меня наконец. — Чего же ваш доктор носит летную форму?

— Вот носит, — сказал Календа, приходя в веселое расположение духа. — Как-то перелетал с аэродрома на аэродром в самолете, за ними погнался «мессершмитт». Правда, больше летать он не просится, но асом себя возомнил. Получает определенное удовольствие, когда такие простаки, как ты, принимают его за летчика...

Костя и Николай стали наперебой рассказывать мне были и небыли про бравого полкового врача. Но мне было не до анекдотов.

— Что загорюнился? — спросил Календа.

— Как не загорюнишься! Опростоволосился, осрамился. Теперь не возьмут...

— Да что ты! — воскликнул Вдовушкин. — Акции твои растут и дадут немалый дивиденд. Шутку у нас в полку любят. Удачный розыгрыш почитается за высшую доблесть. Вот увидишь, вся эта перепутаница только пойдет тебе на пользу.

И действительно, наутро безо всяких проволочек я был зачислен воздушным стрелком во 2-ю эскадрилью. Более того, еще не сделав ни одного вылета, я стал весьма популярной личностью в полку. Даже много месяцев спустя, когда в какой-либо связи называлась моя фамилия, кто-нибудь обязательно добавлял: «А, это тот самый, у которого доктор Штейн принимал экзамены по воздушной стрельбе!»

Ну а сам доктор ходил чуть ли не в героях! Еще бы! Такой классический розыгрыш! Правда, передо мною он испытывал некоторую неловкость. Поэтому и осматривал меня всего три минуты. Я очень боялся, что он заметит на моей ноге незакрывающуюся рану, я не мог стоять на носках, приседать. Но Штейн велел раздеться лишь по пояс, послушал сердце, пощупал пульс. Попросил высунуть язык и сказать «а». Все это я исполнил с огромным усердием, Штейн остался доволен. Напомнив, что он ходатайствовал за меня перед комэском Кучумовым, майор медицинской службы хлопнул по спине своей пухлой ладошкой и сказал:

— Хочешь летать, иди и летай!

И я начал летать.

На первых порах приходилось трудно, в отличие от всех своих новых товарищей в школе воздушных стрелков я не обучался, а летать в задней кабине штурмовика — это ведь тоже целая наука. Учился в бою, присматривался к другим. Особенно помогал мне Коля Календа, он считал меня своим крестником. После того первого вылета подошел ко мне.

— Поглядывал я на тебя в воздухе. Вертишь ты головой, как кукольный Петрушка на ярмарочном представлении. Неужели голова не заболела? Не надо бояться, что фашист сразу к тебе подлетит. Ведь истребитель не муха, которая может внезапно сесть тебе на нос. Не торопясь посмотри в одну сторону, в другую, пошарь глазом вверх, вниз. А будешь вертеться — в глазах одно мельтешенье, ничего не увидишь, не разберешь.

Или вот встретил меня на самолетной стоянке, спросил:

— Не забыл прихватить в полет отвертку, тросик?

— Это зачем?

— Может и пригодиться. Бывает, оборвется в патроннике кусок гильзы, как стрелять? А ты подденешь отверткой шляпку гильзы — и порядок! Иногда случается опережение, из магазина подается не один патрон, а сразу два. Затвор не закрывается. Что делать? Только не паниковать. Взял тросик, накинул петелькой на второй патрон, дернул — и стреляй дальше.

Календа — самый опытный стрелок в эскадрилье, летает уже полтора года. Да и по возрасту старше остальных — ему двадцать пять. В армии — с тридцать девяти. Начинать воевать в пехоте. Под Одессой, тяжело раненный, попал в плен к румынам. Когда чуть поджили раны, бежал из лагеря в партизанский отряд. От партизан перемахнул через фронт и угодил в штрафную роту. Там отличился, получил свой первый орден. Словом, много лиха повидал Календа на войне. Изо всех переделок он вынес массу всяких историй, но, что удивительно, только веселых. А рассказывать он большой мастер. Слушая его, ребята смеются, но понимают, где он говорит правду, а где привирает. И только один Исмаил Насретдинов, маленький рябой татарчонок из-под Белебея, принимает все за чистую монету. Уж очень он привязан к Календе и, надо сказать, влюблен в него, как красная девица.

Впрочем, Николая нельзя не любить, для всех он безусловный авторитет, а вот старшим среди стрелков ко-

мэск Александр Кучумов пазначил Костю Вдовушкина. Почему комэск выделил тихоню Костю, а не бравого Календу, сказать, в общем-то, можно. Костя обратил на себя внимание командира эскадрильи своей старательностью, дисциплинированностью, исполнительностью.

Ростом Вдовушкин меньше всех в эскадрилье. Он бреется раз в три недели, борода его состоит пока из пяти волосинок. Константин носит тридцать восьмой размер сапог — самый маленький в полку. Весь он какой-то мягкий, домашний, женственный, не зря я его тогда в штабе принял за девчонку. И вообще он мало похож на военного человека. В его разговоре, как полагает Календа, проскальзывают буржуазные обороты речи: «Я бы хотел просить тебя о любезности», «Если тебя не обременит, то...».

— Костя, а ты когда-нибудь дрался с ребятами? — спросил его однажды Календа.

— А из-за чего, собственно, драться? — удивился Костя.

— Мало ли из-за чего. Из-за девчонок, например, или по пьяной лавочке.

Вдовушкин покраснел, замахал руками, словно его пытались уличить в чем-то предосудительном.

— Конечно, не дрался. Разве я какой-нибудь хулиган?

Тем не менее тихоня Вдовушкин сбил в бою «Мессершмитт-110» и получил орден Славы.

— Вот тебе и профессорский сынок! — сказал после того вылета Николай Календа.

Отец у Кости действительно профессор. В каждом письме он присылает сыну какие-то математические задачки. Когда приходит почта, Константин обкладывает бумажками и просиживает чуть ли не до утра. Проснувшись, мы спрашиваем:

— Ну как, решил?

— Конечно! Только пришлось мозгами как следует пошевелить! Вечером перепишу ответы пабело и пошлю отцу.

— Странная у вас переписка, — удивляется Борис Афанасьев. — Ни «здравствуй», ни «до свиданья», как у людей, а все какие-то палочки, черточки, закорючки. Представляю, сколько вы со своим папаней доставляете хлопот военной цензуре, ведь так просто пропустить письма они не могут: а вдруг шпионство? Им там, несчастным, тоже ваши задачки решать приходится!



Борис Афанасьев — тоже один из ветеранов эскадрильи, здоровый, под стать Календе, детина, приветливый, добродушный. Из алтайского села. Всем хвалятся, что работал бригадиром, мне же по секрету признался, что был рядовым колхозником.

Остальные стрелки нашей эскадрильи — Федя Варгашкин, Василий Бесфамильный — новички, пришли в полк двумя месяцами раньше меня.

За окном еще висит густая темень, когда мы выбираем умываться к колодцу. Борис Афанасьев и Николай Календа обливаются ледяной водой, обнажившись по пояс, другие моются в рубашках, а на Вдовушкине даже свитер. Потом мы облачаемся в меховые летные комбинезоны, надеваем унты из собачьих шкур, засовываем за пояса шлемофоны и отправляемся в столовую — бывшую деревенскую чайную. К концу завтрака подкатывает грузовик ЗИС-5, он возит летный состав на аэродром. Командир полка майор Косевич садится рядом с шофером, комэски и штабное начальство занимают свои привилегированные места в кузове поближе к кабине, а все остальные трясутся сзади в ужасной тесноте, хватаясь друг за друга, чтоб не свалиться за борт.

Командный пункт полка расположен в землянке, возвышающейся небольшим холмиком у последних деревьев сосновой рощицы. За землянкой — снежная пелена полевого аэродрома. Неподалеку от КП автомашина-радиостанция. Двери ее приоткрыты.

— «Зерно», «Зерно», я — «Колос». Прием, прием! — в который уж раз кричит звонкий девичий голос.

До вылета еще далеко, но на аэродроме давно кипит напряженная работа, которая всегда в эти часы придает ему сходство с большим растревоженным муравейником. Массивные катки утюжат взлетную полосу, от капонира к капониру ползут стартеры, бензозаправщики, грузовики с баллонами кислорода и боеприпасами. Механики гоняют моторы, оружейники подвешивают эрэсы, поднимают в бомболюки бомбы, укладывают в патронные ящики пулеметные ленты.

На командном пункте летчики склонились над раскрытыми планшетами. На картах они прокладывают маршрут, обводят красными кружочками цель, куда сегодня должны лечь бомбы.

Пока летчики заняты этим делом, стрелки свободны. Мы углубляемся в рощицу и ложимся прямо в снег. В меховой одежде это не страшно. Солнце уже выглянуло

из-за горизонта. Неподалеку от нас механики, одетые легче, запаливают промасленную ветошь, разводят большую костер, греют руки. Им, бедным, приходится несладко: с утра до позднего вечера на морозе копаться в моторе, обжигаящем холодом, ползая под брюхом самолета...

— Ну как, Николай, полетел ты в кругосветное путешествие или нет? — спрашивает Календу Исмаил Насретдинов.

Позавчера за ужином Календа начал рассказывать очередную историю, будто случившуюся с ним еще в школе. Купил он билет Осоавиахима у своего пионервожатого, картинка на билете показалась ему очень красивой, и приклеил он бумажку отцовским столярным клеем над столиком, где делал уроки. А потом вдруг обнаружилось, что на этот самый билет выпало кругосветное путешествие на самолете. Только вот незадача: а как его предъявить, если он со стены не отдирается? Пришлось выпиливать со стены кусок бревна и тащить его в сберегательную кассу.

— Что же было дальше? — не терпится Исмаилу Насретдинову. Он трогает Календу за рукав.— Расскажи, Николай!

Но Календа еще не придумал продолжения, просьба Исмаила застала его врасплох. Николай морщит лоб, в его голове рождаются новые сюжетные хитросплетения. И вот, пожалуйста, готово!

— В сберкассе, конечно, убеждаются, что билет у меня именно тот, который выиграл,— сочиняет он. — Приехал я с этим самым бревном в Москву, ну и мук я там, братцы, принял! Уж и выигрышу своему не рад. Хожу я в столице по всяким высоким начальникам, а за мной следом это самое бревно носильщики носят. Везут наконец меня на аэродром, самолет готов, мотор запущен. Увидел летчик бревно, брать отказывается. «Тяжесть,— говорит,— такая у нас не предусмотрена, придется нам несколько ящиков шоколада сгрузить да мешок пряников». Тут в самый последний момент появляется моя мамаша. Отпускать меня передумала, а я уже в самолете сидел. «Нечего,— говорит,— тебе по миру шататься, сиди лучше дома, географию учи, в школе скажи, что у тебя по географии двойка...»

Мы все дружно смеемся.

— Ну а что было дальше? — не унимается любознательный Исмаил.

Однако узнать, какое окончательное решение приняла Колькина мама, не удалось. На КП взвилась красная ракета. Кончилась Календина сказка, началась суровая фронтовая быль...

Через минуту мы стоим в строю у командного пункта в затылок своим летчикам. Штурман полка капитан Румянцев выходит из командирской землянки. В руках у него большая доска из плексигласа. На ней графически изображено построение нашей группы. Штурман полка объясняет задание, дает летчикам несколько коротких указаний и обращается специально к стрелкам:

— Держите ухо востро, товарищи мушкетеры! Сегодня в воздухе будет жарко. Фашисты подбросили по нашу честь несколько свежих истребительных эскадрилий...

Мушкетерами в нашем полку кто-то начал называть воздушных стрелков. Имя это за ними давно закрепилось, стало почти что официальным. Летчик может вполне серьезно доложить комэску: «У меня заболел мушкетер. Дайте мне в полет другого мушкетера». Наверное, первый, кто у нас ввел в оборот это словечко, вложил в него известный иронический смысл. Забавно, конечно, представить себе Исмаила Насретдинова, Бориса Афанасьева или даже Календу со шпагой, в пестром плаще королевского мушкетера из роты капитана де Тревилля. Но теперь никто из стрелков не возражает, когда его называют мушкетером. Ведь мушкетеры, как писал Александр Дюма, это бесстрашные люди, искусные воины, вступающие в единоборство с могущественным врагом, благородные рыцари, всегда готовые отдать жизнь ради спасения товарища.

Ну а воздушные стрелки разве не такие?!

Стрелок сидит спиной по ходу самолета, задом к событиям, как шутит Календа, летчика не видит. Между ними — одетый в бронеплиту бензобак. Командир экипажа держит связь с командиром группы. Поэтому отвлекать летчика разговорами нельзя. Стрелок может вызвать его по самолетно-переговорному устройству только в самых необходимых случаях.

Летчик ведет машину по карте, а стрелок порой и не представляет, где он находится в данный момент. Стрелок может не сообразить, почему самолет вдруг камнем падает вниз, что тут — ловкий противозенитный маневр или... вражеский снаряд уже пробил мотор, и это головокругительное снижение будет последним в его жизни.

На размышление стрелку отведено всего три секунды. Через три секунды будет уже невозможно выпрыгнуть из гибнущей машины: прижмет. С одним стрелком приключился такой курьезный случай. Ему показалось, что машина уже не выйдет из пике, и он сиганул с парашютом. А летчик только на аэродроме обнаружил, что в задней кабине никого нет. Незадачливый член экипажа явился лишь на третьи сутки и выпущен был много раз рассказывать о своих похождениях под иронические реплики друзей.

Но чаще всего летчик и стрелок побеждают или погибают вместе. Стрелок — щит летчика, щит грозного штурмовика, который фашисты прозвали «дас шварцетод». В переводе на русский язык это звучит не менее выразительно: «черная смерть». Смерть фашистам несет летчик. Он стреляет из пушек и пулеметов, бросает бомбы, выпускает реактивные снаряды. Стрелок же не имеет права стрелять по наземным целям, хотя иногда так и подмывает дать очередь по артиллерийскому расчету или по поднимающейся в атаку цепи. Первейшая заповедь стрелка — охранять свой штурмовик от фашистских истребителей.

Вот почему стрелку нет времени смотреть на землю. Из-за облака, которое сейчас закрыло солнце, выскакивают четыре истребителя. Чьи? Вот это и должен распознать воздушный стрелок. А распознать не так-то просто. Все время вспоминаю свой первый вылет, когда Коля Календа, выпустив красную ракету, разъяснил мне, кто есть кто. Конечно, на наших самолетах красные звезды, у фашистов — свастика на хвосте и кресты на плоскостях. Но свастику и кресты можно разглядеть лишь тогда, когда твою машину уже прошьет вражеская очередь. Стрелок обязан опознавать самолеты издали — по силуэтам. Это целое искусство, и оно приходит с опытом. Дело в том, что «Мессершмитт-109» похож на «яковлева», а тупорылый «Фокке-Вульф-190» — на «лавоочкина». Отличия совсем небольшие и неискушенному человеку могут не броситься в глаза. У «мессера» фюзеляж чуть длиннее, кроме того, у него не убирается хвостовое колесо — дутик. Но это заметно, лишь когда истребитель идет под углом. А когда он ложится в атаку под ракурсом ноль четвертей и ты видишь только овал капота и узкую линию плоскостей, как быть? Кровью сбитых летчиков и стрелков написан непреложный закон: стрелять! Свой истребитель в атаку не зайдет и в хвост не при-

строится. К тому же он знает, что, если подойдет слишком близко, стрелок откроет огонь.

Четверка самолетов, показавшаяся из облака, приближается, и теперь уже ясно, что это «мессершмитты». Правая рука стрелка лежит на спусковом крючке, левая — на рукоятки турели. Он смотрит на приближающегося врага сквозь зеркало оптического прицела, стремясь предугадать каждое его движение. Горе экипажу, если фашисту удастся обмануть бдительность стрелка и выскочить вдруг под хвост его самолета. Прежде чем остановить сердце машины — мотор и разорвать ее легкие — бензобак, огненная трасса пройдет через тело стрелка. Но горе и врагу, если тот зазевается и попадет в сетку прицела крупнокалиберного пулемета: он камнем рухнет вниз, оставляя в небе вонючий дым.

Стрелка не так-то легко провести. Под каким бы курсом ни начинал атаку неприятельский истребитель, на его пути встает пулеметная трасса. Фашист ложится в вираж, намереваясь снова зайти в атаку. Но стрелок начеку, он не позволяет фашисту приблизиться без риска быть сбитым. А штурмовик продолжает лететь по заданному курсу. И летчик командует стрелку:

— Так стрелять!

...Я по-прежнему летаю с лейтенантом Иваном Клевцовым. Он командир экипажа, я его стрелок. Приходится летать и с другими летчиками, но это при всяких непредвиденных обстоятельствах, каких в общем-то бывает немало. А когда он и я в строю, мы летаем вместе. Вместе с лейтенантом Клевцовым летали в корсунь-шевченковский котел, штурмовали позиции гитлеровцев под Бродами, доколачивали крупную группировку врага, окруженную под Каменец-Подольским.

Клевцов — мой одноклассник. Пока я отлучался в пехоту, лежал по госпиталям, киснул в БАО, он окончил летное училище и вот уже почти год в нашем полку. Родом он с Кубани. Высокий голубоглазый длинноголовый блондин. Всегда спокоен, уравновешен, невозмутим. Лишнего слова не вытянешь. Даже в самые критические минуты воздушного боя не теряет самообладания. Легко и надежно летать с ним.

Вот дан вылет, и мы с Клевцовым спешим к машине. «Ил», на котором мы летаем, приметен издали. Механик самолета, третий член нашего экипажа, Александр Хлебутин, бывший студент архитектурного института, нарисовал на стабилизаторе дикобраза, который стоит

на задних лапах и, прищурив глаз, смотрит в длинную подзорную трубу.

Полгода назад на всех машинах по примеру нашего «ила» были изображены какие-то диковинные звери: тигрообразные слоны, хищные кролики, всякие странные существа, похожие на вымерших динозавров. Но чаще всего встречались изображения лошадей. Были тут и скакуны, и битюги, и пони, и жеребята, и даже шахматные кони, пожирающие ферзей. Все это было исполнено весьма примитивно и напоминало рисунки, оставленные на стенах доисторических пещер первобытным человеком.

Прилетел как-то генерал из штаба армии, прошелся по стоянке. Изобразительное творчество наших механиков привело генерала в уныние. Он грозно спросил у командира полка:

— Чем вы командуете, майор, авиационной частью или конюшней? Затереть всех этих кобыл и мерин, да немедленно!

Однако, дойдя до нашей машины, генерал остановился, отошел назад, прищурился, заложил руки за спину.

— Вот это да! — Генерал даже прищелкнул языком, разглядывая хлебутинского дикобраза. — Рисунок хорош, да и мысль в нем есть, и это главное: вперед гляди зорко и хвост надежно прикрой иглами. Первая заповедь штурмовика!

Таким образом, из всех полковых зверей сохранился лишь один хлебутинский дикобраз. Правда, Саша шепнул мне по секрету, что никакого тайного смысла, который открылся генералу, в рисунок он не вкладывал, нарисовал просто так, и все. Тем не менее все ходят и нам завидуют. Но Саша сохраняет монополию и, не смотря на просьбы, на других машинах ничего не рисует.

Теперь, заметив нас, Хлебутин появляется из-под брюха самолета и докладывает Клевцову:

— Товарищ лейтенант, машина к полету готова! — И, обернувшись ко мне, тихонько добавляет: — Вчера опять без ужина. В лонжероне пробоина, в щитках-закрылках пуля, триммер-флетнер совсем почти полетел. И когда вы только перестанете привозить дыры?

Лейтенант расслышал слова Александра, улыбнулся:

— Тогда уж, наверное, когда война копчится. Вот так, товарищ механик. А на ужин надо ходить регулярно. Без ужина нельзя.

Мы с летчиком надеваем парашюты и неуклюже,

точно медведи, забираемся в кабины. Проверяю пулемет, выпускаю короткую очередь,— все в порядке. Тем временем Саша ложится животом на стабилизатор, хватаясь руками за обшивку. За поясом у него торчат плоскогубцы, отвертка, ключи; механик должен сопровождать машину до взлетной полосы. Клевцов дает газ, и за хвостом самолета рождается вихрь, который поднимает над землей снежную пыль, крутит обрывки ветоши, клочки бумаги. Саша ежится и прячет голову в комбинезон. На повороте он соскакивает и колотит сапогом по хвостовому колесу, помогая машине развернуться, затем снова прыгает на стабилизатор. Говорят, был случай, когда летчик так и взлетел с механиком на хвосте. Механик полагал, что летчик еще рулит к старту, а летчик надеялся, что механик уже отстал. Словом, последствия такого воздушного аттракциона предугадать нетрудно.

У взлетной полосы Хлебутин соскакивает со стабилизатора, и мы машем друг другу руками.

И вот уже взлетная полоса кажется величиною с полотенце. На нее, словно мухи, выползают машины следующей эскадрильи. Еще некоторое время видны аэродромные строения, но вот уже и они скрываются из глаз. Под нами стелется сверкающая ослепительной белой равнина. Островками проплывают деревеньки. Мутно-желтыми жилками прочерчены дороги. На них заметное оживление. К фронту тянутся тягачи с пушками, танки, автомашины.

С соседней площадки подходят шесть «яков» — наше прикрытие. Постепенно пустеют дороги. Скоро линия фронта, могут появиться вражеские истребители. Но пока рвутся зенитки. Серые облачка все ближе, ближе... Многие воздушные стрелки предпочитают воздушный бой зенитному обстрелу. В бою стрелок чувствует себя активно действующей фигурой, он ведет открытое сражение с врагом, исход которого зависит от его умения, выдержки, храбрости. А тут ты живая мишень, делать тебе нечего, сиди и жди, когда в тебя попадут...

Впрочем, не обходится и без истребителей. Наши «яки» первыми замечают опасность.

— «Горбатые», подтянитесь! — передает командир звена «яковлевых» нашему ведущему. Когда «илы» идут плотным строем, их удобнее защищать.

А «мессера» уже заходят в атаку. Шесть сверху, четыре крадутся низом. Шесть «мессеров» намерены связать наши истребители боем, а четыре — воспользовать-

ся этим и расстрелять в упор беззащитных штурмовиков...

И так, с разными вариантами, каждый день...

Всякий раз, когда мы, возвращаясь с задания, переходим линию фронта и в воздухе все спокойно, Клевцов переключает самолетно-переговорное устройство на меня и начинает петь. Наверное, хочет успокоить меня после нервотрепки воздушного боя: «Видишь, все у нас в порядке, все позади, живы-здоровы, идем домой, настроение хорошее». Поет командир всегда одну и ту же песню:

С неба полуденного жара — не подступи.  
Конная Буденного раскинулась в степи.  
Не сынки у маменек в помещицьем дому —  
Выросли мы в пламени, в пороховом дыму...

Поет лейтенант неторопливо, повторяя каждый куплет столько раз, чтоб хватило до аэродрома. Поет только в воздухе, на земле я никогда не слышал, чтобы Клевцов пел. Вполне возможно, что Клевцов, распевая марш Буденного по случаю благополучного вылета, старался соблюсти определенный ритуал, который, по его мнению, обеспечивает успех в будущем. Как и многие в авиации, лейтенант отдавал дань приметам. И в самом деле, трудно в авиации не стать суеверным, уж очень много всяких невероятных случаев знала боевая практика штурмовиков. Вот, например, здесь, на Украине, зенитки сбили у нас три машины, и каждый раз снаряд попадал в штурмовик, летящий третьим с краю. Что это — судьба, рок? Будто кто заколдовал эту проклятую цифру «3»! Верь или не верь приметам, но летчики всегда волновались, когда им выпадало лететь третьими в группе.

Согласно авиационным обычаям, у Ивана Клевцова был талисман: старые, промасленные шерстяные перчатки. Много раз старшина эскадрильи Борис Петров чуть ли не силой заставлял его получить новые, но лейтенант отказывался наотрез:

— В них я пачал воевать, в них и закончу.— И чтоб отвести от себя всякие подозрения в суеверии, добавлял: — В этих перчатках мне очень удобно.

В свободное между вылетами время он только тем и занимался, что штопал перчатки: зашивал одну дыру и тут же обнаруживал новую. Это был нескончаемый процесс.

И надо сказать, что старые перчатки в бою своего заботливого хозяина пока еще не подводили. Особенно от-



личился мой командир при штурмовке Львовского аэродрома. Летом сорок четвертого года на нем базировалось сто пятьдесят вражеских бомбардировщиков, которые серьезно мешали нашим наземным войскам развить широкое наступление. Днем к аэродрому не подойти, он был прикрыт плотным зенитным огнем, в небе постоянно висели фашистские истребители. У командира нашего корпуса генерала Каманина возникла идея штурмовать аэродром ночью.

Это был дерзкий замысел, ведь «ил» к ночным полетам не приспособлен, ночью штурмовик слеп. Группа вылетела перед рассветом, подошла ко Львову в предутренней мгле и застгла врага врасплох. Клевцов одним из первых спикировал на стоянку и поджег двухмоторный истребитель-бомбардировщик «Мессершмитт-110». Пока зенитчики очухались, дело было сделано: внизу горели самолеты, зарево огня полыхало над складами и нефтехранилищами. Аэродром был выведен из строя.

Когда мы уходили на бреющем, мимо, чуть не протаранив нас, промчался метеором какой-то ошалелый «мессер». Не успел я повернуть турель, как он исчез, точно призрак.

— Почему не стрелял? — спросил меня Клевцов на аэродроме, как только мы сбросили с себя парашюты.

— Все случилось внезапно, не ожидал...

— Чего же ты, интересно, ожидаешь? Что тебе в воздухе пришлют пару пива? Уж коли ты воздушный стрелок, так будь готов каждую секунду к встрече с «мессером»...

— Виноват, Иван Васильевич...

— Конечно, виноват. Мог отличиться, сбить «мессершмитт». А прошляпил. Учти на будущее. Хотя вряд ли сыщется второй идиот, который подставит тебе свои бока с таким блеском. Другой бы стрелок на твоём месте не прозевал...

Другой на моем месте... Конечно, лейтенант, я уверен, имел в виду Севку Макарова, своего прежнего стрелка. Неужели командир все еще считает, что я не дорос до Севки? Меня это угнетало, я ведь старался как мог. Правда, Клевцов вслух никогда нас не сравнивал. А вот Всеволода вспоминал постоянно.

— Что-то уж очень непонятное случилось с Севкой, — все повторял он. — Никаких ран у него не нашли. Доктор Штейн определил контузию. Но если бы рядом разорвался снаряд, то осколки должны были оставить на

обшивке свои следы, а их нет. Да и я ничего не почувствовал.

Клевцов несколько раз писал в госпиталь, справлялся о здоровье Макарова. Ему отвечали палатные сестры: «Ваш товарищ не слышит, не говорит, ничего не понимает».

(Исцеление Макарова произошло уже после войны и совершенно неожиданно. Стоматолог, проводивший осмотр всех раненых, разжал непослушные челюсти пациента и через свое зеркальце увидел в нёбе плохо затянувшийся шрам. Рентген обнаружил пулю. Это был редкий, просто невероятный случай. Пуля, пущенная наугад каким-то фашистским пехотинцем по пикирующему штурмовику, попала на взлете в открытый рот стрелка, когда он что-то говорил летчику по самолетно-переговорному устройству.

Всеволоду сделали несложную операцию, вытащили пулю, и он постепенно стал слышать и говорить. А когда к нему вернулась память, то сразу же прислал письмо в полк.)

Между тем у лейтенанта Ивана Клевцова дело шло к сотому вылету. Сотый вылет — это событие в жизни летчика, в жизни всего полка. Уж если человек сто раз слетал на штурмовку, значит, побывал он во всяких передрягах, отстреливался от идущих в лоб «мессеров», горел, выпрыгивал с парашютом, пробирался на аэродром с вынужденной посадки, был ранен, похоронил немало друзей-товарищей...

Все это повидал и пережил лейтенант Клевцов. И снова летал в бой.

— Когда же будем праздновать мы сотый вылет? — спрашивал я у своего командира.

— Не знаю, должно быть, скоро, — улыбался лейтенант. — Сам я никаких кондуитов не веду. В штабе лучше меня знают.

И вот дождались! Еще выруливая со взлетной площадки к капониру, мы заметили, что у входа в летную землянку вывешен большой плакат.

— Значит, свершилось? — догадываясь, в чем дело, спросил я.

Мы уже сбрасывали парашюты.

— Выходит, что так, — ответил юбиляр.

На красном полотнище, трепыхавшемся на ветру, было написано: «Слава бесстрашному воздушному бойцу, летчику лейтенанту Ивану Клевцову, совершившему сто успешных боевых вылетов!»

У землянки нас ждали. Сам командир полка подошел, поздравил Клевцова, пожелал успехов. Сообщил приятную новость: лейтенанта представили к третьему ордену Красного Знамени.

По дороге с аэродрома Клевцов мне шепнул:

— Сегодня в столовую не ходи. Поужинаем у меня. Надо же за сотый вылет пропустить сто граммов. Да еще сто на будущее, чтоб дожить до двухсотого! Как ты насчет этого? — Он щелкнул себя пальцем по горлу.

— Ты же знаешь, Иван Васильевич, я могу за компанию выпить, а могу за компанию и не пить.

Сам Клевцов не очень тяготел к выпивкам, а случилось застолье, так он участвовал только в первом тосте, пил с видимым удовольствием любую меру, какую нальют: рюмку, граненый стакан или алюминиевую кружку. И все. Больше его не уговоришь, какие бы цветистые и дорогие тосты ни предлагались. «Во всем себя надо сдерживать, особенно в таком деле, как выпивка, — говорил Клевцов. — Беда даже не во второй стопке, а в третьей и четвертой, которые очень легко бегут в упряжке с первой. У меня и отец так пил: хлопнет одну — и баста!»

— Так приходи ровно в семь, — повторил свое приглашение Клевцов. — Домаха с утра старается, готовит всякие вкусности.

Домаха, или, как ее ласково называл Иван, Домашенька, очень соответствовала своему имени. Вся она была какая-то уютная, домашняя, светилась радостью, излучала тепло. Маленькая, быстрая, сдобная, как колобок. Лет Домахе было около тридцати, в ее отношении к моему командиру сквозило что-то такое трогательно-заботливое, покровительственное, материнское, будто он нуждался, а может быть, и в самом деле нуждался, в ее постоянных заботах и помощи.

Познакомился и сошелся с Домахой Клевцов еще в Белой Церкви. И с тех пор она неотступно следовала за полком. То ли он действительно хотел от нее избавиться, то ли пытался убедиться в прочности ее чувств, но он никогда не предупреждал ее заранее, что мы перелетаем. Внешне это напоминало игру в казаки-разбойники: Иван прятался, Домаха его искала. Просто в один прекрасный

день Иван, как обычно, уезжал на аэродром и к ужину не возвращался. Тогда Домаха бежала к соседям, где стояли другие летчики, и в конце концов узнавала, что все самолеты поднялись в воздух и улетели. А куда? Кто ей скажет?

Домаха пускалась в поиски. При этом ничуть не обижалась на Ивана, наоборот, искала ему оправдания.

— Даже ничего не успел сказать мне, мой соколик, что улетает. И самому ему, конечно, ничего не сказали раньше. Знаете, как у военных: пришел приказ, тут же садись и лети!

На новом месте Клевцов начинал вести образцовый образ жизни: переселялся в летное общежитие, ходил в столовую, с отбоя ложился, с подъема вставал. И вообще свою дальнейшую судьбу вручал воле аллаха. А аллах, как считал наш стрелок Исмаил Насретдинов, всемогущ, справедлив и великодушен, он всегда соединяет любящие сердца. Через несколько дней Домаха возникала на новом аэродроме как из-под земли. В руках по корзинке. Из одной выглядывала бутылка самогона, заткнутая кукурузным початком, в другой кудахтали курица.

Рад ли был ее появлению Клевцов или нет, сказать трудно. Скорее всего, он все принимал как должное.

— Тебе бы, Домашенька, штурманом полка у нас служить, — говорил Клевцов. — Просто позавидуешь, как ты умеешь точно выйти по курсу.

— Какой там курс! — отмахивалась счастливая Домаха. — На четырех аэродромах уже побывала. Везде чужие полки стоят, смотрю, люди все незнакомые. Вот и спрашивала встречных-поперечных, не видел ли кто, где самолеты летают...

Под вечер я привел себя в образцовый порядок и отправился к командиру праздновать его сотый вылет. На пороге просторной крестьянской хаты встречала Домаха.

— Заходите, заходите. Ванечка ждет. Все почти в сборе.

На Домахе вышитая украинская кофта, синяя юбка выше колен, черевички.

Сопровождаемый великолепной Домахой, я прошел в комнату. Гости за стол еще не садились, курили у открытого окна. Аксенов, летчик Календы и лучший друг Клевцова, возбужденно говорил:

— Сотый вылет — это, ребяташки, не шутка. Если бы существовал некий общевойсковой эквивалент, по которому можно было бы сравнить труд огнемечника с трудом

сапера или вычислить, кому соответствует в противотанковой артиллерии боцман с противолодочного морского охотника, то этот эквивалент показал бы, что сто раз слетать на штурмовку все равно что на земле сто раз в атаку сходить. Много ли таких отыщется в пехоте, в танковых войсках? А ведь каждый вылет не просто атака, это бой в окружении, из которого еще надо вырваться, вернуться к своим...

— А сто вылетов обеспечить разве просто? — подал голос наш механик Саша Хлебутин. — Если обратиться к общевойсковому эквиваленту лейтенанта Аксенова, то это все равно что на оборонном заводе сто смен отстоять. Да и каких смен! Круглосуточных! В дождь, в снег, в буран. Под открытым небом. В крошечной ночной мгле, на ощупь...

— Да будет вам о делах! Будет! — зашумела Домаха, доставая из русской печи пироги с грибами. — На аэродроме небось все о женщинах разговоры разговариваете, а соберетесь отдохнуть вечером, так только от вас и слышишь: «фоккера» да «мессера», и еще вылеты. Присаживайтесь скорее к столу. Вот огурчики, капуста, сельце. Угощай дорогих гостей, Ванечка!

— А что, Домаха говорит дело, — постучал ножом по тарелке хозяин-юбиляр. — Отведайте поначалу грибочки, очень сблизжает. И ты, Домашенька, садись с нами, прикуси рюмочку...

Сближают не только грибочки, засоленные Домахой. Нельзя оторваться от ее картофельных лежней, гречаников, вергунов.

— Кушайте, пейте! — все потчевала Домаха.

С такой доброй хозяйшккой вечер пролетел незаметно. На дорогу Домаха каждому завернула пироги.

— Приходите в следующую пятницу. Теперь уже я приглашаю, а не Иван. У меня именины. Жду вас...

Свой праздник Домаха встречала одна. Без нас и без своего Ванечки. А может, и не встречала совсем, потому что ей опять надо было пускаться на розыски исчезнувшего полка. И вообще, в последнее время она едва успевала за нами: война стремительно уходила на запад. И наконец, на аэродроме близ польского города Холм Иван уже не дождался своей Домахи. В Романе под Яссами он прохаживался по кромке летного поля и все поглядывал вдаль, не мелькнет ли вдруг вышитая украинская блузка. В Дебрецене подолгу стоял за воротами нашего

авиационного городка... Увы, ни польской, ни румынской, ни венгерской границы Домахе пересечь не удалось...

Теперь Иван Клевцов жил вместе со всеми в общегитии, ходил в столовую и грустил. В летной землянке по-прежнему штопал свои дырявые перчатки, молчал. И лишь на аэродроме Карачонда он впервые заговорил со мной о Домахе:

— Какая прекрасная женщина, моя Домашенька! Плохо мне без нее. После войны обязательно поеду в Белую Церковь, найду ее и женюсь!

Засыпанный декабрьскими снегами Карачонд был нашим третьим аэродромом в Венгрии. После разгрома фашистской группировки в Южной Польше каманинский штурмовой авиакорпус был переброшен с 1-го на 2-й Украинский фронт. В Трансильванских Альпах мы начали взаимодействовать с гвардейским кубанским кавалерийским корпусом генерала Плиева. Поддерживая с воздуха конные полки, штурмовики вырвались на Венгерскую равнину и в три прыжка оказались у самого Будапешта.

Мы поселились в длинном крестьянском доме, со многими дворовыми постройками, на окраине Карачонда, у железнодорожного переезда. За переездом на утрамбованном катками кукурузном поле начинался аэродром. Накануне там приземлились штурмовики, заправились и сразу же полетели в бой. А утром опять работа...

До рассвета еще далеко, а мы облачились в теплые комбинезоны и выбежали во двор. Наши хозяйка поднялись еще раньше и расчищали от снега дорожку у калитки. Хозяйке, наверное, еще не было и пятидесяти, но молоденьким летчикам она казалась старухой.

Хозяйка поглядела на шлемофоны, покрывавшие наши головы, и тревожно спросила:

— Будапешт бум?

— Да, мама, пойдем на Будапешт, — сказал комэск Александр Кучумов.

— Я все надеялся, что обойдется без этого, — заметил хозяин, пожилой крестьянин, гораздо старше своей жены, в высокой бараньей шапке и яловых сапогах выше колен.

— Вы хорошо говорите по-русски, — удивился Иван Клевцов.

Старик показал пустой рукав:

— Под Перемышлем меня подобрала ваши санитары. Четыре года провел у вас в плену.

На глазах хозяйки появились слезы, она принялась что-то быстро шептать.

— Молитва, — пояснил хозяин. — Просит бога, чтоб он сохранил вас для ваших матерей.

Хозяйка поцеловала маленького Исмаила Насретдинова и начала вслух пересчитывать летчиков, загибая пальцы:

— Едь, кеттю, каром, недь, ёт, хат, хет, ньолц, килец, тиз...

Старик опять пояснил:

— Просит бога, чтобы вы, все десять, вернулись домой...

Был последний декабрьский день сорок четвертого года. От отрогов Матр до самого Будапешта повис густой, молочный туман. Чтобы не столкнуться в условиях плохой видимости, пошли всего двумя парами. Иногда из тумана, как из небытия, показывался идущий за нами штурмовик, в котором летели Аксенов и Календа. И снова пропадал из виду. Наконец внизу я заметил серые глыбы городских кварталов.

В Будапеште, который медленно выплывал из-под крыла самолета, осталось мало мирных жителей. Те, кто успел, разбежались по всей стране, когда гребень войны стал подкатываться к стенам венгерской столицы. А в их домах поселились солдаты. Двести тысяч солдат. Остановились трамваи. Закрылись магазины. Некому стало ходить в кино, читать газеты. Город спешно готовился к обороне. Колокольни церквей превратили в наблюдательные пункты. На крышах институтов и школ расположились зенитные установки. Из окон квартир высунулись пулеметные стволы. На уличных перекрестках солдаты закапывали танки, в парках и скверах рыли окопы полного профиля, натягивали проволочные заграждения, разбрасывали мины. Подвалы тяжелых каменных домов превращались в блиндажи.

Многие из этих солдат еще не были в деле. Их пригнали совсем недавно из сел и хуторов, обмундировали, дали оружие. Сейчас, увидев четверку штурмовиков, солдаты в ужасе забились в землю, уткнулись лицами в мерзлую грязь. Но они, ожидающие неминуемой смерти, так и не услышали нарастающего воя авиационных бомб. Из бомболюков штурмовиков, из оцетинившихся пулеметами задних кабин, точно голуби, выпорхнули белые стаи.

Искрясь и кувыркаясь в блеклых лучах зимнего солнца, листовки закрывали город, притаившийся внизу.

Перед вылетом я попросил у Саши Хлебутина нож, чтобы разрезать пачки. Механик улынулся:

— Ничего тебе резать не нужно. Бросай как есть.

Тогда я подумал, что Хлебутин смеется. А сейчас с удивлением смотрел, как тоненькие листочки, попав в струю вихря, обретали неведомую силу. Они легко разрывали трижды перекрученный шпагат и, словно боясь, что их поймают и снова свяжут одну к одной, быстро разбежались по всему небу.

Листовки опускались все ниже, ниже, уже путались в электропроводах, застревали на антеннах, ложились на бока опрокинутых трамваев. Они были напечатаны на немецком и венгерском языках: «Вы окружены со всех сторон. Сопротивление бессмысленно. Сдавайтесь!»

Не прочитав листовок, город поспешил дать ответ — заговорили сотни зенитных батарей: с нами решили не церемониться. А ведь мы были, по существу, парламентарями. Я подумал, что во все времена, и тысячу лет назад, никто не поднимал руку на парламентаря. И когда настоящий королевский мушкетер подходил с белым флагом к воротам осажденной неприятельской крепости, в него не стреляли, не бросали копья, не лили сверху горящую смолу, потому что никто не может, не имеет права убивать того, кто предлагает мир и жизнь другим...

Зенитный огонь становился все неистовей, разрывы подползали все ближе, осколки со звоном вшивались в обшивку, оставляя рваный след. Сейчас судьбу восьмерых летчиков решали мгновения. Надо было как можно скорее достичь переднего края, выйти из зоны обстрела. Но пока штурмовики шли еще над городскими кварталами. Били скорострельные «эрликоны». Небо прочерчивали пулеметные трассы. Пехота палила из винтовок и автоматов. Мы были просто живой мишенью, по которой стрелял каждый, кто хотел.

Вспомнились слова Клевцова, которые он обронил перед вылетом:

— Киев проходили за шесть минут, казалось, больше города и не встретим. А над Будапештом лететь десять минут. Десять минут подставлять бока под орудия и оружие всех калибров!

Десять минут! Это же целая вечность, когда на секунды идет счет. «Скорее, скорее!» — стучала кровь в висках. «Скорее, скорее!» — разрывалось сердце...



И вот в наушниках шлемофона раздался щелчок, я услышал голос командира:

С неба полуденного жара — не подступи.  
Конная Буденного...

Неужели все? Оглядел небо. Вдалеке таяли облачка разрывов, восходящий поток играл стайкой листовок и нес их через весь город. Крепкие крылья штурмовиков мчали нас домой, к теплу аэродромных землянок.

На земле я сразу же спросил Клевцова:

— «Конная Буденного» уже была. Значит, на сегодня все. Не полетим?

— Не полетим. Мы предъявили ультиматум. Им дали время подумать.

— Но ведь они в нас стреляли!

— Слово за фашистским командованием. Подождем до утра.

А наутро — общее построение. Митинг. Командир полка майор Косевич обратился к нам с речью. Фашистские главари отказались сложить оружие. Совершенно неслыханное злодейство: убиты советские парламентарии офицеры Остапенко и Штеймец, которые ехали под белым флагом.

— Получен приказ: брать Будапешт штурмом, иного выхода нет, — сказал Косевич. — Будут нелегкие бои, будут потери. Но мы выполним свой долг: Будапешт возьмем штурмом!

К моему удивлению, слово попросил Клевцов. Уже готовый к вылету, он косолапистой походкой вышел из строя, сдернул шлемофон.

— В дни решающего штурма фашистского бастиона хочу лететь в бой большевиком. Прошу принять меня в партию! — Лейтенант очень волновался, подбирая слова. И закончил: — Доверие родной Коммунистической партии оправдаю!

Следом за Клевцовым Аксенов и четверо других летчиков попросили принять их в партию.

Объявили вылет. Первый боевой вылет на Будапешт!

...И снова расплавленное небо над городом. И снова по советским штурмовикам ударили остервенелые зенитки. Если бы не этот несущий смерть шквал, можно было бы сказать, что небо сейчас необычайно красиво. В этот повогодний день лучшей иллюминации и не придумаешь. словно пушистые хлопучки из ваты, что украшают детские елки, развешены облачка тридцатисемимиллиметро-

вок. Качаются и медленно плывут, причудливо меняя форму, смолисто-черные разрывы тяжелых снарядов калибра сто пять миллиметров. В траншеях, на крышах домов мигают розовые вспышки зенитных пулеметов, и трассы судорожно мечутся по небу, напоминая точки и тире, выскакивающие на ленте телеграфного аппарата...

За хвостом самолета вдруг возникла стальная болванка. Какую-то секунду она стояла на одном месте, затем начала проваливаться вниз, набирать скорость, и вот уже невидима для глаз. Сообразил, что это послал нам свой «привет» танк, закопанный на улицах города.

Но танки в тот первый вылет нас не интересовали. Был дан приказ не обращать внимания на скопления пехоты. Не трогать доты. Не бить по пулеметным гнездам. Штурмовать только зенитные батареи, весь огонь по ним! Даже воздушным стрелкам, в отступление от всех правил, разрешено стрелять по земле.

— Заходим в атаку! — крикнул мне командир.

Обычно штурмовики стараются обходить зенитные установки, не лезть без нужды на рожон. Теперь же надо идти прямо на дула зениток. Начиналась дуэль «воздух — земля», где бесспорное преимущество у «земли». Зенитчики хорошо укрыты, им проще целиться, наконец, в самый опасный момент они могут бросить свои орудия и разбежаться...

Клевцов свалил машину на левое крыло, и она стремительно полетела вниз. Резкий толчок — это с пилонов, установленных под плоскостями, сорвались реактивные снаряды. Тут же летчик ударил из пушек и пулеметов, мимо кабины осиным роем полетели гильзы и звенья, которые отсекались прямо в воздух. Но и зенитчики пристрелялись. Мы шли в сплошных всплесках разрывов. Огненный шар возник и рассыпался совсем рядом. Больно обожгло руку...

Я не сразу уловил связь, предположил, что невзначай ударился локтем о турель. Но вдруг заметил, что на рукаве комбинезона проступают бурые пятна, и только тогда сообразил, что ранен. Сжал пальцы, разжал, подвигал в локте, все вроде нормально. Ерунда, осколочек, должно быть, совсем крохотный, кость не задета, и говорить никому не буду, обойдется. Тут же шальная пуля ударила в бронеплиту бензобака, вырвала клоч с плеча комбинезона и вылетела в бушующее небо.

— Жив? — услышал я голос командира.

— Жив! — что было мочи крикнул я.

Машина с ревом уже выходила из пике, и я увидел, что зенитчики, решившие, что опасность миновала, выползали из щелей. Было очень нелегко повернуть вниз ствол пулемета и нажать спусковой крючок. Зенитчики отпрянули назад в укрытие, но три или четыре фигурки остались на месте. Попал или просто перепугал? Успел еще раз поймать в перекрестие вражескую батарею. Фигурки оставались недвижимыми. Может, все-таки попал!

На аэродроме мы даже не успели добраться до землянки, покурить. Оружейники добавили пулеметных и пушечных лент, загрузили прямо навалом мелкие бомбы в бомбоотсеки, и мы полетели снова. Задание: уничтожить зенитные батареи, прикрывавшие ипподром, где стали садиться транспортные самолеты с боеприпасами и продовольствием для осажденного гарнизона.

Мы выскочили к ипподрому, когда там только что приземлились два «Юнкерса-52». Удача! Под убийственным зенитным огнем зашли в атаку. Все ближе земля, все плотнее вокруг нас пляска разрывов. Но что-то замешкался мой командир. Молчали пушки и пулеметы, и вообще никто из летчиков не сбросил бомб. И тут я понял, зачем же потребовалась ложная атака. Под нами во все стороны разбегалась разномастная толпа. Фашисты согнали сюда на работы гражданскую публику, и летчики давали возможность людям спастись. Зато вторая атака была яростной. Запылали «юнкерсы», умолкли навсегда фашистские батареи, воронки перепахали посадочную полосу.

На закате эскадрилья опять появилась над городом. Зенитный огонь заметно стал реже. Расправившись с зепитками, штурмовые полки нашего корпуса ударили по вражеской обороне. Даже на высоте тысяча метров стал ощущаться запах гари. Огненные клубы дыма поднимались вверх, смешиваясь с облаками. Горели нефтехранилища, склады, дымили эшелопы на станциях.

Для штурмовиков самым трудным был первый день. У пехоты и последующие ничуть не легче. Нам с воздуха было видно, что на многие километры вокруг города снег стал черным от копоти и порохового дыма. Четыре с половиной тысячи долговременных узлов сопротивления создали фашисты. Бой уходит под землю, в подвалы, в бункера, которые тянутся на многие километры. По узким улицам трудно пройти нашим танкам, негде развернуться тяжелым орудиям, самоходным артиллерийским установкам. Вся тяжесть боев ложится на пехоту.

Ей хорошо помогают «илы». Они ходят, можно сказать, прямо по головам фашистов. Цели суживаются донельзя. Надо разбить закопанный на углу танк, окоп переднего края, флигель, откуда ведет огонь противотанковая пушка. Но здание напротив уже захвачено нашими солдатами. Малейшая неточность летчика может стоить жизни бойцам...

А еще через неделю небо над Будапештом напоминало хорошо обжитую автомобильную дорогу. Широко растянувшись, возвращаются с задания штурмовики. Высоко над ними проходят «бостоны». Левее летят шесть «юнкерсов» в сопровождении четверки «мессершмиттов». На их хвостах не свастика, а разноцветный круг. Нас предупредили, что это румынские самолеты; Румыния объявила войну своей недавней союзнице.

Наступление в Будапеште шло успешно. Фашисты отходили на правый берег Дуная, стараясь укрыться в старой крепости Буда. А левобережный Пешт был почти уже весь в наших руках. И тогда на улицах появлялись жители: женщины, дети, старики. В самом пекле боев они просидели в подвалах много дней, усталые, голодные, перепуганные до смерти. И вот теперь кашевары советских стрелковых рот кормили будапештцев щами да кашей, а солдаты снимали с себя телогрейки и отдавали детям. И люди, впервые за долгие недели наевшись досыта, уходили из города, где не было ни тепла, ни света и где все еще громыхал бой.

Волна беженцев, потянувшаяся из Будапешта по всем дорогам на восток, докатилась и до нашего Карачонда. Утром, когда мы собирались на аэродром, в нашу комнату постучалась женщина. С ней были девочки-близнецы лет девяти. Из заплечного мешка женщина тут же извлекла маленькую гармонику, а девочки в такт музыке стали очень ловко ходить на руках и кувыркаться. Наверное, это были профессиональные циркачи.

Мы с недоумением и грустью смотрели на представление. У матери было желтое, измученное лицо, девочки выглядели страшными и худющими. Календа подошел к женщине, положил свою огромную ладонь на игрушечную гармонику. Женщина вздрогнула.

— Не надо, мамаша, концерт мы посмотрим как-нибудь в другой раз. — Он кивнул нам: — Займите гостей. Я мигом.

Николай усадил все семейство у печки, схватил с вешалки кожаную куртку и убежал. Женщина обняла де-

вочек и быстро заговорила. Потом спохватилась, что мы ее не понимаем, стала повторять!

— Будапешт, Будапешт...

— Ясно, что вы из Будапешта, — вздохнул Борис Афанасьев. — Несладко вам пришлось...

Вернулся из столовой Николай, торопился, пыхтел, как паровоз. Он притащил булку белого хлеба, полную масленку и противень с пельменями.

— Кушайте, мамаша, кушайте, детки!

Гости с жадностью набросились на еду. Впрочем, мама положила в рот только два пельменя и чуть-чуть отщипнула от булки. Очевидно, боялась, что не хватит детям. Но еды было много. Поев, девочки заснули тут же, за столом. Мы положили их на нары, накрыли одеялом.

А вскоре в доме появился еще один гость. Вернее, не гость, молодой хозяин. Ночью нас разбудил женский крик:

— Ференц, Ференц мой вернулся!

На веранде стоял молодой человек, необычайно заросший, с растрескавшимися на морозе губами, впалыми щеками и потухшими глазами.

— Жив! — все повторяла мать. — Какое счастье ты дал нам, господь!

Ноги у венгерки подкосились, она медленно опустилась на порог. Выбежавший хозяин поднял жену и бросился обнимать сына, у которого из-под рваного гражданского пальто высывались коричневые военные бриджи.

Следующим вечером наши хозяева, дядюшка Ласло и тетюшка Жужа, пригласили всех нас в гости отметить возвращение сына.

— Ну вот и отвоевался мой гонвед, — посапывал трубкой, говорил старый венгр, сидевший во главе праздничного стола. — Когда твоего отца тридцать лет назад русские брали в плен, он мог поднять только одну руку, другой у него уже не было. Ну, не сердись, сынок, ты поступил правильно. На кой черт класть свою голову за немцев? Пусть кладут свои, они теперь недорого стоят...

Ференц побрился, помылся, облачился в свой гражданский костюм и выглядел вполне симпатичным молодым человеком наших лет. Между ним и Николаем Календой — младшая дочь хозяев, шестнадцатилетняя Пирюшка. Теперь Пирюшка нас не боялась. Она смотрела любящими глазами на брата, шутила с Николаем. Теперь не боялась. А в первый же день нашего появления в этом доме случилась такая история. Мы уже собирались

спать, когда Костя Вдовушкин приложил палец к губам, прислушался и сказал:

— Друзья, а на чердаке кто-то ходит!

— Наверное, домовой! — отшутился Борис Афанасьев.

— Тебе все смешки, а там небось фашист спрятался. Фуганет гранатой, будешь знать, — насторожился Насретдинов.

На чердаке опять послышались шаги. Календа и Насретдинов выскочили во двор, подставили лестницу к слуховому окну, полезли наверх. В комнате хозяев вспыхнул и потух свет. Вернулись ребята, ведя за руку девочку, вот эту Пиронку. Ее лицо было блее мела, она дрожала как осиновый лист. Тут же влетел старик. Он простер вперед свою единственную руку, застонал:

— Делайте со мной, что хотите, но не трогайте мое дитя!

Теперь дядюшке Ласло очень неприятно вспоминать, как он прятал Пиронику. А девочка очень быстро подружилась со всеми нами, особенно с Календой. Календа обучал ее играть на цыганских картах, а иногда брал гитару и пел для нее нашу любимую песню:

...За вечный мир в последний бой  
Летит стальная эскадрилья...

Он и сейчас собирался петь, но комэск Кучумов скрепил руки над головою — авиационный сигнал: «Мотор выключить!»

— Что ж, поблагодарим дорогих хозяев за угощение и дадим им возможность побыть одним. А нам завтра лететь.

— Будапешт бум? — тревожно спросила тетушка Жужка.

— Нет, полетим дальше, — ответил комэск.

Теперь полки генерала Каманина летали к Шопрону и Секешфехервару, откуда немцы, собрав ударный кулак, перешли в контрнаступление. Стремясь остановить наши войска на дальних подступах к Вене, они ввели в бой свежие танковые и мотомеханизированные дивизии, перебросили с других участков авиационные соединения. На берегах голубых венгерских озер Балатона и Веленце закипало многодневное кровопролитное сражение. Бои велись на разных этажах. Внизу горели танки. Над головою пехоты проносились стреляющие штурмовики.

Выше их то и дело снлетались клубки бьющихся истребителей...

Каждый вылет на Балатон — это неизбежный воздушный бой. Он длится иногда меньше минуты. Но всегда кажется, что первую пулеметную очередь от последней разделяет целая вечность. Быть может, оттого, что в огненной круговерти секунду прожить труднее, чем иной год. Небо становится вдруг необычайно узким, и во всей бескрайней голубизне видишь только силуэты приближающихся вражеских машин.

Кабина стрелка открыта, она продувается всеми встречными и попутными ветрами. Стрелок, сидящий на широком ремне, летает в тоненьких перчатках. Правда, за поясом или из наклонного кармана торчат теплые краги. Но надевать их можно только на земле. В толстых меховых перчатках нельзя работать с пулеметом: нажимать спусковой крючок, действовать отверткой, трюстиком, гильзоизвлекателем.

Руки стрелка лежат на обжигающе холодной стали. Они немеют сразу же после вылета. Их никак не согреть своим дыханием. Нет, кажется, такой силы, которая могла бы согнуть в суставах застывшие пальцы. Но вот появляются фашистские истребители. И сам уже не замечаешь, что пальцы двигаются с необычайным проворством. Наверное, кровь, горячая, закипающая от близости смертельной схватки, отливает от сердца, возвращая тепло и жизнь онемевшим суставам.

Но теперь другая беда. Когда фашист близко, не хватает воли оторвать указательный и средний пальцы правой руки от спускового крючка пулемета. Истребитель идет прямо на тебя, и нервы не позволяют прекратить огонь. Но оторвать пальцы от спускового крючка просто необходимо. Стрелок обязан это сделать. Он должен вести огонь короткими очередями, иначе весь боезапас вылетит через ствол скорострельного УБТ — универсального Березина турельного — в первую же минуту воздушной схватки.

Новичок может выпустить все пули одной очередью. Но опытный стрелок никогда так не поступит, это исключено. Ведь неизвестно, сколько атак предпримут фашисты, да и потом, отбившись от этой своры, штурмовики могут повстречать еще и другие истребители врага.

— Отпускай спусковой крючок еще до того, как услышишь свою очередь, — учил меня на первых порах Ни-

колай Календа. — Вот тогда-то патронов у тебя наверняка хватит.

Однажды только находчивость помогла Исмаилу Насретдинову спасти машину, жизнь летчика и свою. Он расстрелял все патроны, когда «мессершмитт» зашел в четвертую атаку. Что делать? Исмаил выхватил ракетницу и выпустил красную ракету. Фашист с перепугу принял след ракетницы за пулеметную трассу и, не рискуя подойти ближе, отвернул. После этого случая стрелки стали особенно беречь патроны. К тому же комэск Кучумов начал проверять патронные ящики стрелков, и тех, у кого оставалось слишком мало патронов, ждали неприятности.

А мы продолжали летать на запад от Будапешта. Били фашистские танки под Эстергомом, расстреливали транспорты на Дунае, отбивались от «фоккеров» в небе над Балатоном. Прилетали в горящих кабинах, привозили дыры на плоскостях. А вечером хозяйка большого крестьянского дома у железнодорожного переезда пересчитывала своих крылатых постояльцев:

— Едь, кеттю, харом, недь... киленц, тиз.

Все десять были на месте. Тетушка Жужа облегченно вздохнула и уходила в свою комнату.

...А потом наступил тот черный день. Как ни силюсь, не могу восстановить дату, он остался в моей памяти без числа. Конечно, далеко отсюда, в мирных городах, он глядел на мир определенной цифрой с листков отрывных календарей, приколотых к стенке больших городских квартир, он был обозначен на первых полосах газет, на рекламных тумбах театров, оповещавших, какой спектакль будут сегодня ставить. А для нас это был обычный день войны, так похожий и так непохожий на день минувший и день грядущий...

Ранним весенним утром мы полетели на Балатон. Ласковые, причудливо-игривые облака застилали горизонт. Я подумал, что очень приятно видеть такие облака из окон просыпающегося мирного города, когда гудят заводские гудки и дети собираются в школу. Но здесь, в военном небе, эти пробуждающие в сердце лирику золотистые облака могут скрывать смертельную опасность.

Так оно и было. Еще группа не достигла Секешфехервара, как из облаков вывалились «фокке-вульфы». Насчитал десять вражеских машин, а может, их было еще больше. Наша группа была первой, которая сегодня пошла к Балатону и которую здесь караулили фашисты.



«Фоккеры» бросились в атаку. Путь им преградили «яки», верные друзья штурмовиков. Все смешалось в один движущийся жужжащий улей. Небо прочертили красно-зеленые трассы. Из самой гущи улья выпал пылающий факел. Пелена облачной дымки и длинные огненные языки, лизавшие поверженный самолет, мешали разобрать, кто это: фашист или наш. Упала на озеро еще одна машина, взметнув столб водяных брызг.

«Фоккеры», сковав боем наше прикрытие, отрывали его все дальше от группы. И вот четверка новых «фоккеров», выскочившая из другого облака, прорвалась к штурмовикам. Один из фашистов быстро зашел в хвост крайней машины, где летели Аксенов и Календа. Николай открыл огонь, но момент был упущен. Гитлеровец бросил машину вверх и завис над группой. Чувствовалось, что это бывалый летчик. Он летел над нами, сбавив скорость и сильно накренив самолет. Наши пулеметы его не доставали, но и нам он не был страшен. Календа высунул кулак из кабины и грозил фашисту. Тот, в свою очередь, показывал язык. «Фоккер», который болтался над нами, не просто лихач. В любую минуту он мог развернуться и стрелять. Пока он отвлекал наше внимание, другие «фоккеры» готовили атаку. Стрелки открыли огонь. «Фоккеры» не отвернули.

Ах вот почему так упорно лезли на нас фашисты: группа была уже над целью! Мне некогда было взглянуть, что под нами. Все внимание — на «фоккеров». Летчики, не становясь в круг, сбросили бомбы с горизонтального полета и повернули назад. За нами неотступно следовал клубок бьющихся истребителей. Увидел только четверку «яков». А их было шесть... Враг не прекращал атак. Продержаться бы еще немного, скоро линия фронта, над нашей территорией фашисты не такие уж любители вести воздушный бой...

Летчик, болтавшийся над нашей группой, сделал крутой разворот и спикировал на крайнюю машину. Я закурил губы: фашиста моим пулеметом не взять, он в мертвой зоне. Не мог стрелять в него и Календа. Быть беде! «Фоккер» открыл огонь изо всех своих пулеметов и пушек. Сплошная огненная доска прошла ниже крайнего «ила». Фашист медленно начал выбирать ручку, не прекращая огня. Зловещая доска подбиралась все ближе к обреченному штурмовику. И вот она, пронзив машину, ушла вверх. Из мотора штурмовика вырвалось пламя. Наверное, Аксенов ранен или убит; штурмовик потерял уп-

равление, задрал нос, завалился набок. Из кабины стрелка повалил черный дым. Языки пламени, вспыхнув на обшивке, поползли к бензобаку. Если Календа сейчас не выпрыгнет, то...

А «фоккер» подошел вплотную к смертельно раненой машине и расстреливал ее в упор. С отчаяния я дал очередь из пулемета, знал, что фашист от меня далеко, на таком расстоянии в него не попасть. А «фоккер» по-прежнему шел за гибнущей машиной, которой оставалось жить лишь несколько мгновений. Упиваясь легкой победой, фашист злорадствовал, торжествовал. Он никак не хотел оставлять свою жертву. «Фоккер» уже приблизился настолько, что казалось, вот-вот срубит хвостовое оперение своим винтом. Что же с Николаем? Если не выпрыгнул, то, значит, убит. И вдруг из охваченной пламенем задней кабины вырвалась короткая трасса. Сомнений быть не могло: стрелял Календа. «Фоккер» кинул носом и на глазах рассыпался на куски. На том месте, где только что болтался фашист, остались какие-то щепки и тряпки, словно здесь, в небе, опрокинули мусорную корзину.

Увидел ли Календа результат своей работы? Успел? Крылья падающего штурмовика зацепили верхушки молодого перелеска. Оранжевый взрыв разбросал десятки стволов...

Клевцов подрулил к стоянке, убрал газ. Я спрыгнул на землю, сбросил парашют. Но что с командиром? Я снова забрался на плоскость, отодвинул фонарь передней кабины. Лейтенант согнулся, уперся лбом в приборную доску. Я стукнул кулаком по плексигласу, командир медленно поднял голову, я увидел глаза, полные слез...

На аэродроме уже знали о гибели Аксенова и Календы. Из штаба полка принесли фотографии. Мы с Костей Вдовушкиным сели выпускать боевой листок. Костя начал писать текст крупными печатными буквами, я приклеил фотографии, обвел их траурной черной рамкой. Как поверить, что ребята, с которыми час назад ехали на аэродром и вместе садились в самолеты, теперь живут только на этих снимках! Лейтенант Аксенов снят без головного убора, при орденах, снимок делался для документов, когда его представляли к третьему ордену Красного Знамени. Календа глядел со снимка своим обычным насмешливым взглядом, словно хотел сказать свое любимое присловье: «На «иле» летать, что со львом играть: и весело, и страшно». В ушах звучали слова Ни-

колая, когда под Дебреценом в воздушном бою был убит молодой стрелок Вася Куйдин: «Не его была очередь». «А чья?» — спросил Исмаил. «Не знаю. Наверное, того, кто отлетал побольше».

Подошел Саша Хлебутин. В руках у него банка с краской и кисть.

— Клевцов велел стереть моего дикобраза и во всю длину фюзеляжа написать: «Мстим за наших боевых друзей Дмитрия Аксенова и Николая Календу».

Эти слова на нашем штурмовике горели до самого последнего дня войны...

И вот в первый раз мы возвращались в свое общежитие без Колькиной улыбки. Ноги шли плохо, Борька Афанасьев молча качал головой, Костя Вдовушкин тер глаза, на душе моей скреблись кошки, Исмаил Насретдинов всхлипывал и не стыдился слез...

На веранде дома нас встретила хозяйка тетушка Жужа. Как всегда, она принялась украдкой пересчитывать своих жильцов:

— Едь, кеттю, харом, недь, ёт, хат, хет, ньолц, килец...

А где же «тиз»? Где десятый?

Женщина тревожно оглядела нас: кого же нет? Господи, нет Кольки-гитариста. Где он?

— Уехал домой, — сказал Костя Вдовушкин, отводя глаза. И добавил по-венгерски: — Хаза, хаза.

Тетушка Жужа отрицательно покачала головой. Она вошла с нами в комнату, вытащила из-под нар Колькин деревянный сундучок, вопросительно посмотрела на Костю. Вдовушкин обнял ее за плечи.

— Да, мамаша, вы правы, тот, кто уезжает домой, не забывает своего чемоданчика...

Длинный тяжелый вечер тянулся медленно, казалось, ему не будет конца. У железной печурки Костя сушил свой промокший комбинезон. Исмаил Насретдинов вслух вспоминал веселые Колькины сказки. Другие молчали. Поздно легли спать. Но мне не спалось. Место на нарах между мной и Костей ужасало своей пустотой. Еще прошлой ночью я чувствовал на своем затылке горячее Колькино дыхание. У него были тяжелые коленки, и оп, переворачиваясь во сне, будил меня увесистым пинком. И вот никто не дышал мне в самое ухо и не дрался коленками. Я думал о Николае. Я вспоминал его не только веселым, но и печальным, задумчивым. Таким он был, когда говорил о своей матери. Кроме Николая, у нее ни-

кого не осталось. Колиного отца расстреляли фашисты, когда взяли Харьков во второй раз. Старший брат Виктор погиб еще раньше — в финскую войну. Ушел добровольцем со второго курса института в комсомольский лыжный батальон. Провоевал всю войну. В первую ночь после заключения перемирия решили боевого охранения не выставлять; радостные, возбужденные, заснули в лесной землянке. Под утро шюцкоровцы внезапно напали на лыжников и перерезали всех до одного.

— Эх, мама моя, многострадалица! — как-то вырвалось у Николая. — Она не переживет, если со мною что случится...

И вот случилось. Новички в этом бою уцелели, а самый опытный стрелок погиб... Я думал о непредсказуемости человеческих судеб на войне. Не раз на моих глазах падали объятые пламенем штурмовики, разбивались товарищи, с кем вот так же спал на нарах, касаясь плечом плеча. Как ни старался, я так и не мог проследить никакой логики в том страшном и непонятном порядке, по которому смерть выхватывала свои жертвы. Конечно, храбрые и умелые имели больше шансов вернуться на аэродром. Как-то наша эскадрилья застигла на дороге вражескую танковую колонну. Расстреливая фашистов в упор, ведущий прижал группу к самой земле и ушел из-под обстрела зенитных батарей: зенитки не могут прицельно стрелять по низко летящим целям. Но зато по штурмовикам со всех сторон стреляли фашистские солдаты, не успевшие разбежаться. Очень страшно видеть, когда в тебя целятся столько стволов, чувствовать, как пули синим роem впиваются в тело самолета. У молодого летчика Борзенкова не выдержали нервы, он потянул штурвал на себя, взмыл вверх, и тут же его нашел зенитный снаряд...

И вместе с тем сколько нелепостей, сколько необъяснимых трагедий случалось на войне! В бою гибли прославленные асы, а экипажи, только что начавшие летать, благополучно выбирались из-под огня. Стрелок Алексей Зуев был ранен в голову, долго лежал в госпиталях, его признали не годным к дальнейшей службе. Алексея провозжали ребята: «Не горюй, домой едешь! А доживем ли мы до этой минуты?»

Алексей, совершивший сто десять вылетов, уцелевший в десятках жарких схваток, разбился на тихоходном транспортном самолете, в глубоком тылу, при ясной по-

годе, не долетев пассажиром восьмидесяти километров до родного Орска...

Нет, невозможно искать какой-нибудь закономерности в смерти, смерть всегда нелогична, нелепа, необъяснима... Я ворочался на опустевших нарах и все шептал:

— Колька, Колька!..

Утром у нашего дома появились незнакомые ребята с чемоданчиками и вещмешками, у одного за спиной на ремне, точно карабин, висела гитара. Оказалось, в эскадрилью прибыло пополнение — новые стрелки старшина Иван Тищенко, сержант Василий Козлов, ефрейтор Александр Бауков.

— Из школы воздушных стрелков? — осведомился Костя, пожимая руки новичкам.

— Нет, мы из госпиталей, — ответил старшина Тищенко.

— Значит, уже обстрелянные?

— Выходит, так. И обстрелянные, и простреленные.

— У нас экипаж вчера погиб, — печально сказал Исмаил.

Новички уже слышали об этом в штабе. Василий Козлов взял в руки гитару, провел по струнам.

— Что тут скажешь! — молвил он. — Лучше я вам спою по настроению. Нового ничего не знаю, спою старую аэроклубовскую, курсантскую.

И он запел низким душевным голосом:

Там, где пехота не пройдет,  
Где бронепоезд не промчится,  
Угрюмый танк не проползет,  
Там пролетит стальная птица...

Как будто бы чувствовал, что эту песню любил Календа...

— Значит, у нас в эскадрилье по-прежнему есть свой гитарист, — сказал Костя Вдовушкин. — Ну, вы, друзья, отдыхайте с дороги, располагайтесь, места на нарах есть.

Назавтра новички поехали с нами на аэродром, представились комэску Кучумову. И комэск сказал им так же, как когда-то мне:

— Вообще-то вам не вредно посидеть пяток деньков на земле, пообвыкнуться. Да вот мушкетеров маловато, хоть в другой эскадрилье бери напрокат. Что ж, по пятьдесят вылетов у вас уже есть. Это и стаж, и опыт. Готовьтесь в полет...

На дворе буйствовала весна. Она обсыпала сады Качаронда белым яблоневым пухом, наполнила воздух пря-

ными запахами. А война продолжалась. Над Веспремом зенитки сбивали наш штурмовик. Стрелок Леня Каркавин выпрыгнул с парашютом, но угодил прямо на позиции вражеской батареи. А летчик Борисов даже не успел покинуть самолет. Сгорел в воздухе Коля Перевалов. Теперь, чтобы пересчитать своих постояльцев, тетушке Жуже хватило бы пальцев на одной руке.

А бои шли уже на подступах к Вене, очень тяжелые бои на земле и в воздухе. Австрийскую столицу фашисты поклялись защищать любой ценой.

И наступил опять черный день. День без числа...

Утром аэроразведка донесла, что у дунайских причалов под Веной скопилось много барж, судов: фашисты эвакуируют склады, технику. И мы вылетели по боевой тревоге. Зашли за истребителями, их аэродром рядом. По взлетной полосе разбежались две пары «яков», свечой взмыли вверх и заняли свое обычное место — сзади и выше штурмовиков. Один из «яков» прошел над нашей группой и трижды покачал крыльями. Значит, нас будет сопровождать звено Бориса Столповского, он всегда подавал нам такой условный знак. И мы знали: если с нами летит звено Столповского, значит, истребители будут защищать нас до последнего вдоха. Сам командир звена на наших глазах сбил шесть стервятников. А видели-то мы своего телохранителя всего только раз: за какой-то надобностью оказался он у нас на аэродроме. Белобрысый, подтянутый, среднего роста, грудь колесом. Подошел к нам в столовой и не то в шутку, не то всерьез сказал:

— Прошу вас, господа мушкетеры, стрелять с понятием, куда просят. Ничего я, друзья мои, не боюсь, ни «фоккеров», ни «мессершмиттов», ни даже зенитного огня. А вот стрелков с «горбатых» опасаясь. Поэтому и подаю вам всегда с самого начала знак: дескать, не стреляйте, свой! Хорошо помню, как еще в сорок третьем один молодец из вашего мушкетерства пальнул по машине моего кореша Мишки Трускача. Едва Мишка до аэродрома дотянул...

Показался затянутый легкой сероватой дымкой Дунай. И тут же за хвостом раскололись зенитки. Машина вздрогнула, точно напуганная птица, и снова, как мне показалось, обрела уверенность полета. Дунай исчез, но тут же показался с другой стороны. Увидел двух «фоккеров». Если их всего два, за нами не увяжутся. Доложил Клевцову:

— Два «фоккера» слева от нас. Ведут себя спокойно.

Услышал в ответ ровный голос командира:

— Понял. Гляди в оба!

Скоро цель. Я понял это потому, что летчик Богданов, шедший слева от комэска, нырнул под группу, прошел под нею и появился рядом с крайней правой машиной. Тем самым он дал возможность ведущему начать атаку первым. Комэск тут же зашел в пике. За ним, точно в пропасть, один за другим стали проваливаться штурмовики.

Наш черед! Что-то лопнуло под самым сердцем, меня отбросило назад, прижало к плите бензобака. Земля исчезла, открылся кусок безоблачного неба. На мгновение в этот голубой коридор залетела четверка наших истребителей и тут же ушла за пределы видимости. Клевцов открыл огонь...

Но вот тяжелые, точно из ртути, шарики откатились от горла и рассыпались в животе звенящими колокольчиками. Я увидел реку. С горящих судов фашисты спускали шлюпки. Эскадрилья сделала еще один заход. Когда отходили от цели, Дунай был чист — ни буксиров, ни шлюпок, ни барж...

Вдалеке по-прежнему ходила пара «фоккеров», та самая, которую мы уже встречали. Судя по всему, заманивали наших «яковлевых». Но ребята Столповского не отступали от нас ни на шаг.

Просигналил летчику:

— Ходит пара «фоккеров».

— Понял. Гляди в оба. Сейчас все может начаться. И началось!

Сообщил Клевцову:

— Появилась еще пара «фоккеров». Третья... Четвертая...

Насчитал в воздухе уже четырнадцать вражеских машин. Болтали, будто для прикрытия Вены Гитлер перебросил с центральных направлений много истребительных эскадрилий. Наверное, они самые. Шесть «фоккеров» атаковали наши «яки». Начались бешеные гонки с выбыванием. Упал «фоккер», за ним второй. Третий, оставшаяся за собой дымящийся шлейф, вышел из боя. Но и наших истребителей осталось только два. Вдвоем против одиннадцати! Силы слишком неравны...

«Фоккеры» прорвались к штурмовикам, с ходу атаковали крайнюю машину. В ней новички — летчик Титов и стрелок Тищенко. Точно споткнувшись, объятый пламенем штурмовик замер на месте, потом медленно пере-

вернулся на спину и вдруг резко пошел вправо, стремительно сближаясь с «илом», в котором летели летчик Квасников и стрелок Насретдинов. Но Квасников, зажатый между бьющимся в предсмертных судорогах соседом и остальной группой, уже ничего не мог поделать. Сейчас столкнутся два самолета! Надеюсь на чудо, закрыл глаза. А когда открыл, увидел два горящих факела у самой земли. Взрыв, еще взрыв... Титов — Тищенко, Квасников — Насретдинов...

Теперь «фоккеры» решили разорвать наш поредевший строй, разогнать группу, чтобы расклевать «горбатов» по одному. Кинулись на машину комэска. Что ж, нам открылись неплохие мишени. Когда враг нападает на крайнюю машину, от него отбивается лишь крайний стрелок. Сейчас же открыли перекрестный огонь все мушкетеры. Задымил «фоккер», за ним второй. Третьего, настигнув сзади, сбил Столповский. Он остался у нас единственным защитником...

Восемь оставшихся гитлеровцев набросились на «горбатов» со всех сторон. Один нырнул под хвост нашего «ила», летевшего теперь крайним. Я его не видел, потерял, не мог достать пулеметом. Понимал, что он, спрятавшись в мертвой зоне, сейчас приладится и распорет нам брюхо своей огненной доской...

Клевцов, как мог, удирал от истребителей, он еще не знал, что под хвостом сидел «фоккер». Машина крепилась, с одного борта открывалась земля, с другого — небо.

Я вскочил с ремня, больно ударился головой о фонарь. Я ощущал каким-то шестым чувством, что «фоккер», уже праздновавший победу, водит своим тупым рылом, ловит нас в прицел.

Был только один выход. Нет, даже не выход, был один шанс уцелеть из тысячи проигрышных шансов. Стрелять сквозь фюзеляж своей машины. Стрелять по направлению, наугад. Если трасса, которую фашист совсем не ждет, пройдет вблизи, он наверняка испугается, струсит, может отвернуть. Фашист не поймет, почему штурмовик, загнанный в угол, способен огрызаться, неизвестно откуда ведет огонь. Плечом поднял тело пулемета, ствол почти уперся в обшивку; надо стрелять, ничего не видя, сквозь свой самолет. Внизу слева проходят тяги рулей поворота и глубины. Тросики совсем тоненькие, оборвешь их собственной пулей — штурмовик камнем рухнет вниз. Стрелок-самоубийца не только лишит



жизни себя, он убьет и своего командира. Но надо было решаться. Иначе нажмет на свои гашетки фашист. Он мог бы уже нажать, но, как боксер, загнавший обессиленного соперника к канатам, не торопясь выбирает, куда удобнее нанести один решающий, нокаутирующий удар. Мысленно я уже сто раз нажимал на спусковой крючок, а пулемет по-прежнему молчал. Почему-то вспомнилось, как Колька Календа играл в очко и на зависть всей эскадрилье выигрывал. Когда он получал от банкмета туза, то всегда прикупал карту вслепую. А потом потихонечку открывал карту, ласково поглаживая ее по рубашке, точно приглашая явиться девятку или десятку. И, затаив дыхание, приговаривал: «Четыре сбоку, ваших нет!»

Вот и мне надо было тащить карту вслепую, только уж слишком много стояло на кону. Если я увижу сбоку от нашей машины два креста, то, значит, фашист не выдержал, отвернул...

Да, воздушный бой длится меньше минуты, иногда тридцать — сорок секунд. И казалось, ни о чем не думал, кроме как только отбиться от нападающего врага. А на самом деле, в голове, обгоняя друг друга, пронеслись целый рой мыслей. Они словно записывались на идущую с бешеной скоростью ленту магнитофона, которая потом, уже на земле, раскручивается значительно медленнее. И тогда поражаешься, как много передумал за эти короткие секунды...

— Командир, держи штурвал крепче! — крикнул я так громко, что он мог бы меня услышать без СПУ.

Алое пламя огоньками папироски вспыхивало и гасло на серой обшивке. Я стрелял, я уже не мог оторвать пальцы. От рваной пробоины во все стороны расползались вьющиеся змейки. Но мы держались в воздухе, летели, значит, пули мои не ушли влево, не перебили тросы рулей. Но где же «фоккер»? Я не видел его хищных крыльев с желтыми крестами. Не заметил огненной трассы? Или заметил, но все понял и не поддался на мою хитрость?

Сквозь тело штурмовика ушла вторая очередь. Пробоина стала больше, трещины шире. Дальше стрелять нельзя, разломлю фюзеляж. Я ждал. Мучительно долго тянулись секунды. Те самые, которые длиннее иных годов. Посмотрел вниз. За тенью нашего «ила» по земле, накрывая то перелески, то озерца, неотступно скользила

чужая тень. И вдруг эта другая тень резко шарахнулась в сторону, и я увидел кресты на плоскостях перепугавшегося «фокке-вульфа»...

## ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ, ЗАПИСЬ ПОСЛЕДНЯЯ...

«Снят с военного учета. Вручены орден Отечественной войны I степени и медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне». Май 1985 г.»

С войны меня встречала мама...

Из окна поезда, замедлявшего бег, я увидел ее беленький платочек в крапинку. Мама стояла на том же самом месте, под большими круглыми часами, как и четыре года назад. Словно и не уходила с вокзала, а все ждала, ждала...

Я спрыгнул с подножки, опустился на колени, поцеловал асфальт.

— Бог с тобою! — испугалась мама. — Ведь грязно!

Она не знала о нашем уговоре с Яшкой Ревичем и Люськой Сукневым.

Порывистый осенний ветер трепал большой кусок кумача, на котором мелом были написаны слова приветия всем возвратившимся из армии. Пока я был единственным пассажиром, который сошел с ташкентского поезда с заплечным солдатским вещмешком. Волна демобилизованных, захлестнувшая все дороги России, еще не докапывалась до нашего маленького города.

Из полка я уехал самым первым. Наш доктор Борис Штейн, два года назад в Белой Церкви принявший у меня экзамены на воздушного стрелка, теперь, когда мы перелетели из-под Братиславы, изгнал меня из армии окончательно и бесповоротно. На летно-подъемной медкомиссии, где я впервые открылся ему в лучшем виде, безо всяких условностей, майор Штейн схватился за голову:

— Кто же тебе позволил летать с таким ранением? Это же нестроевая статья!

И тут я наконец окончательно понял, что автоматная очередь, настигшая меня на Плехановской улице Воронежа, тогда же наглухо перечеркнула мне путь к штурвалу самолета. А все последующее: переписка с майором Пигалевым из штаба округа, многочисленные рапорты, бег-

ство с Календой из БАО в штурмовой полк, — было отчаянной попыткой ухватиться за крылья несбыточной, ускользающей мечты.

Заметив, что я воспринял заключение медкомиссии как тяжкий приговор, обжалованию не подлежащий, доктор сделал мне знак подождать за дверью. В перерыве он вышел ко мне и сказал:

— Надеюсь, ты на меня не в обиде. Видишь ли, если б я даже пропустил тебя по здоровью, то тебе было бы только хуже: в летную школу ты все равно опоздал. Время, упущенное на войне, трудно наверстать в мирные дни. Посмотри, кто сейчас командует звеньями, эскадрильями, авиаполками: прославленные асы, Герои, дважды Герои. Когда б ты смог сравняться с ними умением, мастерством? А век летчика, сам знаешь, недолог — на все у тебя в запасе каких-нибудь пять лет.

Доктор Штейн был прав: в авиации мне делать было нечего...

Я мечтал о встрече с Ашхабадом все эти четыре года, тысячу раз, закрыв глаза, видел, как иду домой, нет, не иду, лечу, обнимая всех прохожих... За эти годы мальчишка из Ашхабада повидал блестящие европейские столицы: Бухарест, Будапешт, Вену, Прагу. Но я бы отдал все прелести этих громадин за то, чтобы просто увидать Ашхабад. И вот этот день наступил! Мы с мамой прошли через пустующий зал ожидания и оказались на привокзальной площади. Конечно же, я был переполнен счастьем. Но почему-то, тесня его, в душу заползало какое-то незнакомое чувство неопределенности и тревоги: ну а что мне делать дальше?

Мокнувшая под осенним дождем улица Кемине выглядела печальной и безлюдной. Все было проще и обыденней, чем я представлял. Из подворотен высовывали свои морды лающие собаки. Мы проходили мимо домов, где жили друзья моего детства, я спрашивал у мамы: «Что слышно о Витьке, появился ли Игорь, заходил ли Андрей?» Мама отвечала: «Виктора убили, Игорь пропал без вести, Андрей еще не появлялся».

Наша маленькая комнатуха показалась мне совсем крохотной. Я присел на наш знаменитый сундук, развязал вещмешок. Гостинцев маме я привез с войны не очень много: домашний халат и шарфик, купленные в военторге на оккупационные пёngo \*, да сухой паек, кото-

---

\* Денжная единица в хортистской Венгрии.

рый получил в продпункте куйбышевского вокзала и сбег для нашего праздничного ужина.

Набежали соседи, поохали, повздыхали, поздравили маму и ушли, по-моему, разочарованные. Им, наверно, казалось, что я должен был вернуться если не генералом, то, во всяком случае, полковником.

В окно я увидел, что по двору идет отец.

— Вы помирились? — спросил я с надеждой. — Он к нам вернулся?

— Нет, — ответила мама. — Теперь об этом не может быть и речи, я подняла детей одна. Но я передала ему, чтоб зашел. Не могла же я лишиться его радости увидеть сына, вернувшегося с войны.

Я просидел с родителями весь вечер. Я рассказывал о том, где был, что видел. И все ловил себя на мысли: как было бы хорошо, если бы все эти трудные годы отец был с мамой! Мне бы и моему брату Борису, командиру саперного батальона, было бы воевать спокойнее...

Утром я сразу же помчался в школу, там преподавала математику моя одноклассница Клава Колесова. С ней я переписывался всю войну, она была нашим почтовым ящиком, через нее мы держали связь, от нее узнавали друг о друге.

Клава так обрадовалась, что даже не пошла на урок.

— А как же твои ученики? — спросил я.

— Они у меня хорошие. Дала им задачки, будут решать без меня.

Клава не пошла и на второй урок, мы сидели с ней в пустой учительской и все говорили, говорили. Вспомнили Вовку Куклина, Рубена Каспарова, Виталия Сурьина, Артема Саркисова, погибших на войне. Расспрашивать про девчонок было легче, почти все они так же, как и Клава, успели окончить институты, теперь работали в разных местах.

Я смотрел на Клаву и думал: а почему она ничего не говорит о Зое, может быть, хочет, чтоб я спросил о ней сам?

— А как Зоя? — выдавил я из себя наконец. — Когда же она думает возвращаться?

Клава отвернулась к окну.

— Видишь ли, я с ней теперь не дружу, я ее презираю. А вообще, она в Ашхабаде. Приехала еще в конце сорок первого.

— Как в конце сорок первого? Ты же мне недавно писала, что она не вернулась!

— Для тебя она не вернулась, — сказала Клава и положила руку мне на плечо.

Мне показалось, что под хвостом нашего штурмовика все еще сидит тот проклятый «фоккер» со своей огненной пушечно-пулеметной доской.

— Она замужем?

Клава молча кивнула.

Я почувствовал, что мой пулемет заклинило, что я беспомощен, безоружен и ничего не могу поделать с «фокке-вульфом», который вот-вот превратит меня в пылающий факел.

— А ты говорила Зое, что я спрашивал о ней в каждом письме?

— Говорила. Но она запретила о ней писать. Но горевать тебе о ней не стоит. Зойка очень боялась, что не успеет выйти замуж; выскочила за эвакуированного доцента, человека обеспеченного, пожилого, которому вовсе не угрожал фронт...

— А обо мне она хотя бы думала?

— Она говорила, что тебя хочет пожалеть. Зачем, дескать, зря волновать человека, а вдруг его убьют...

— А вдруг не убьют? Как видишь, не убили.

Клава взяла мою руку, прижалась к ней щекой.

— Не печалься, все к лучшему. Она плохой человек. Когда ее увижу, что передать?

— Передай, что у нее очень доброе сердце, ведь она проявила обо мне такую трогательную заботу. А лучше ничего не передавай; если зайдет разговор, просто скажи, что я все знаю.

Я вернулся домой туча тучей. Всю неделю сидел дома, никуда не выходил, ни с кем не хотел встречаться. Мама чувствовала, что со мной происходит что-то неладное. Несколько раз она пыталась затеять разговор, что я думаю делать дальше. А я и сам не знал.

Как-то я заглянул на завод к Чекурскому. Мой бывший разводящий вернулся еще год назад по болезни и теперь работал заместителем директора завода по кадрам. Очень обрадовался, увидев меня. Спрашивал, чем он может мне помочь. Окна его кабинета выходили на улицу, где была установлена большая доска объявлений: заводу требовались формовщики, официантки в столовую, комендант общежития, воспитательницы детсада, кассиры. В командирах минометных расчетов и в воздушных стрелках завод не нуждался. А никакого другого дела я не знал.

— Могу устроить вас начальником караула, — пошутил Чекурский, вспомнив Джусалы.

— Если только вы опять пойдете ко мне разводящим, — засмеялся я.

Когда я получал паспорт, милицейский офицер стал соблазнять меня идеей пойти в милицию.

— Сохраним вам звание, дадим форму, будете получать паек...

Я вежливо отказался.

Мама считала, что мне надо поступать в институт. Учиться в здешних педе, меде и сельхозе мне не хотелось, а подавать заявление в вузы других городов я опоздал, занятия шли уже три месяца.

— Ну как ты решил? — все волновалась мама.

— Пока никак, — отвечал я.

На раздумья у меня было еще время, демобилизованный имел право в течение месяца не устраиваться на работу, отдыхать.

Судьбе, однако, было угодно распорядиться по-своему. Ко мне домой явился молодой человек лет восемнадцати, представился корреспондентом газеты «Комсомолец Туркменистана». Я удивился этому странному визиту.

— Чем, собственно, обязан?

Парень сказал, что газета готовит целую страницу писем вернувшихся фронтовиков.

— В военкомате я просматривал документы, — сказал мой гость. — Узнал, что вы летали на Будапешт, на Вену. Это интересно. Хотим, чтоб вы написали нам статью.

Я сказал, что никогда в газеты не писал и даже не знаю, как это делается.

— А вам и писать ничего не надо, — успокоил меня корреспондент. — Вы мне расскажете, я напишу и дам вам на утверждение.

Он вытащил блокнот.

Парень меня насилдовал часа полтора. Мама, видя, что я уже изнемогаю, пригласила нас пить чай. За столом я вспоминал всякие забавные истории, парень смеялся, но ничего уже не записывал.

Мы расстались почти друзьями.

Наутро, как мы условились, я пришел в редакцию. Парень уже написал мою статью. Он усадил меня за стол, а сам примостился в углу на стульчике, нетерпеливо поглядывая в мою сторону.

— Ну как, понравилось? — спросил он, когда я закончил чтение.

— Честно говоря, не очень. Есть неточности. Вот, например, я вам рассказывал, что уже после войны крестьянин-словак, у которого мы квартировали, пригласил нас на охоту и мы подстрелили зайца. А тут сказано, что мы палили по зайцам, облетывая на штурмовике берега Дуная.

Корреспондент облегченно вздохнул:

— Я думал, что-нибудь серьезное. Ну, а это вполне допустимый домысел, как мы говорим в редакции, оживляж.

— Ничего себе оживляж! Иностранцы военнослужащие летают над чужой страной на боевом самолете и из боевого оружия стреляют по земле. Кстати, берега Дуная вовсе не похожи на пустынные Каракумы. Там на каждом шагу люди. Или вот вы пишете, что, увертываясь от зениток, штурмовики делали «мертвую петлю». Вы знаете, такого не мог бы придумать даже небезызвестный барон...

Разгорячившись, я не заметил, что в комнату вошел маленький, кругленький человек и прислушивается к нашему разговору. Это был редактор газеты Яков Ильич Рогачевский.

— А попробуйте написать сами, — предложил мне редактор. — Рассказываете вы очень интересно, у вас должно получиться.

Я пододвинул к себе стопку бумаги, взял ручку...

С этого дня у меня началась иная жизнь, которая выходит за рамки чеканных строк моего военного билета...

*И вот, вызванный по повестке, я иду в военкомат и думаю: а кто же я такой все-таки есть? За моими плечами четыре года войны и сорок лет работы в журналистике. Разные, как будто бы совсем не стыкующиеся вещи. Но я твердо знаю, что без первых четырех не могло быть и последующих сорока. Среди моих учителей-наставников были не только всеобщие известные журналисты Лев Филатов, Семен Нариньяни, Дмитрий Горюнов, Давид Заславский. Среди них были инструктор летной школы Василий Ростовщиков, командир минометной роты Хаким Хаттагов, комэск Александр Кучумов. Они, конечно, не могли обучить меня искусству вождения пером по*

бумаге, хотя грамотешка была у них, думаю, ничуть не хуже, чем у того придумщика из ашхабадской молодежной газеты. Они научили меня главному, основному, стержнеобразующему, о чем я постарался рассказать здесь, в этих моих записках.

Они, мои дорогие учителя, армейские товарищи и командиры, все эти сорок лет были со мною рядом, мои наставники, советчики, критики. Когда я садился писать очередной фельетон, то думал: «А как бы поступили на моем месте мои однополчане Степан Нетреба и Николай Календа, сгоревшие в небе над Балатонфюредом? Смирлись бы они с черствостью, с бездушием, с произволом?» Я сравнивал: разве мои друзья Виктор Шаповалов и Яков Ревич, похороненные в черной воронежской земле, могли бы накричать на вдову, присвоить государственные деньги, получить квартиру вне очереди, отгеснив многодетную мать? Они отдали молодые жизни за счастье людей, и мне были ненавистны те, кто пытался оскорбить их память грубостью, хамством, несправедливостью...

Я захожу в не очень просторный зал военкомата, здесь уже много людей, приглашенных, как и я, сюда в последний раз. Печальны их лица, нелегко, я знаю, у них на душе...

Я достаю свой военный билет, и перед моим умственным взором продолжает раскручиваться нескончаемая лента воспоминаний. Я вижу, как наяву, охваченную огнем пожарища рощу. Фигурную под Воронежем, мне видятся предрассветные зори над полевым аэродромом, взлетающая красная ракета, я слышу команду «По самолетам!». Я чувствую запахи эмалита и грозненского авиационного бензина, — запахи моей молодости. В ушах — голоса ребят, не вернувшихся с войны: Володи Куклина, Рубена Каспарова, Артема Саркисова. Я вспоминаю моего командира экипажа лейтенанта Клевцова, дорогого моего Ивана Васильевича, который разбился спустя год после Победы в тренировочном полете... И если мне становится трудно, случаются какие-то мелкие неприятности, дразги, я вспоминаю себя двадцатилетнего, стреляющего сквозь тело своей машины в подкрадывающегося «фокке-вульфа»...

Печатаю по-военному шаг, я подошел к столу, покрытому кумачовой скатертью. Военком, молодой еще подполковник, родившийся, как я прикинул, уже после войны, принял от меня военный билет, пожал руку и поблагодарил за верную армейскую службу. Стараясь держаться



*молодцом, я набрал в легкие воздуха и по старой привычке хотел было отчеканить: «Служу Советскому Союзу!» Но тут же вспомнил, что с этой минуты уже не служу. И ответил, как сугубо теперь штатское лицо:*

*— Спасибо тебе, военкомат! Спасибо тебе, армия! Спасибо тебе, фронт!*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая, запись первая . . . . .	6
Глава вторая, запись вторая . . . . .	23
Глава третья, запись третья . . . . .	36
Глава четвертая, запись четвертая . . . . .	60
Глава пятая, запись пятая . . . . .	80
Глава шестая, запись шестая . . . . .	100
Глава седьмая, запись седьмая . . . . .	128
Глава восьмая, запись восьмая . . . . .	173
Глава девятая, запись девятая . . . . .	210
Глава десятая, запись десятая . . . . .	231
Глава одиннадцатая, запись одиннадцатая . . . . .	262
Глава последняя, запись последняя . . . . .	310

*Илья Миронович Шатуновский*

**ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ**

Рецензент *Н. И. Родичев*

Художник *Н. К. Кутилов*

Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*

Технический редактор *Т. Г. Пименова*

Корректор *Е. Я. Яровенко*

ИБ № 3727

Сдано в набор 09.09.88. Подписано в печать 8.12.89. Г-20038.  
Формат 84×108/32. Бумага № 2. Гарнитура обычн. новая.  
Печать высокая. Печ. л. 10. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,22,  
Уч.-изд. л. 18,41. Изд. № 4/4513. Зак. 655. Цена 1 р. 40 к.  
Тираж 50.000 экз.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.

1-я типография Воениздата.

103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3.

*К ЧИТАТЕЛЯМ!*

*Свои отзывы о книге шлите по адресу:  
103160, Москва, К-160, Воениздат*







